А. Вертинский

Песни, рассказы, заметки, интервью, письма, воспоминания

За кулисами

Киев — родина нежная,
Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
Наконец, ты вернулась мне!

Я готов целовать твои улицы,
Прижиматься к твоим площадям,
Я уже постарел и ссутулился,
Потерял уже счёт часам —

А твои каштаны дремучие,
Паникадила весны —
Всё цветут, как и прежде, могучие
И всё видят детские сны.

Я иду по родному городу,
Как по кладбищу юных дней —
Каждый камень я помню смолоду,
Каждый куст — вырастал при мне.

Здесь тогда торговали мороженым,
А налево была каланча!
Помоги мне, Господи Боже мой,
Догорает моя свеча!..

Вертинский





А. ВЕРТИНСКИЙ

ЗА КУЛИСАМИ

Раньше всякий, кто надевал маску Пьеро и напевал мои песенки, считался моим подражателем. Теперь я скинул эту маску и перестал быть любителем. У меня слишком много своего собственного, чтобы можно было так легко подражать. Для своих песен я ищу особые слова, особые мотивы, особо их исполняю и вкладываю в исполнение особую игру. Каждая песенка связана с какими-нибудь переживаниями. Но не обязательно, чтобы они немедленно выливались в песню. Обычно они укладываются в каких-то далеких уголках сердца. И лежат там непотревоженными до тех пор, пока огонь творчества не призовет их оттуда.

Александр Вертинский


ПЕЧАЛЬНЫЯ ПѢСНИ
Александра ВЕРТИНСКАГО


Одесское нотоиздательство
„СВОБОДНАЯ ПѢСНЬ"
ПОСЛѢДНІЙ РЕПЕРТУАРЪ
Я сегодня смѣюсь надъ собою
Лиловый негръ
Панихида хрустальная
Аллилуйя
Ваши пальцы пахнутъ ладаном.
Это все, что отъ Васъ осталось
За кулисами
Буйный вѣтеръ
Молитва за Россію
Портретъ Валентины
ВАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХНУТЪ ЛАДАНОМЪ.
Собственность издателя. Перепечатка воспрещается. 29 марта 1911 г.
ИЗДАТЕЛЬ
І. С. ЛИБЕРМАНЪ
Одесса, Кузнечная, 55 Тел. 61-95.

А. Вертинский

ЗА КУЛИСАМИ





СОВЕТСКИЙ ФОНД
КУЛЬТУРЫ

МОСКВА 1991

БИБЛИОТЕКА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

«Гитара и слово»

Редактор Н. Беленькая

Составление и вступительная статья *Ю. Томашевского*

Публикация *Л. Вертинской*

Нотная запись песен
С. Маги

Художники *Г. Сауков, А. Сауков*

Фотографии из личного архива
Л. Вертинской

ISBN5-853-02052-8

«МЫ — ПТИЦЫ РУССКИЕ...»

Может быть, грешно говорить такое, но если бы Александр Вертинский не покинул после гражданской войны Россию, вряд ли бы в наши дни мы знали и помнили это имя. Вряд ли. Ибо невозможно представить, чтобы его уникальное лирическое дарование нашло себе место в громе маршей первых сталинских пятилеток.

Долгое время нам настойчиво вбивали в головы, что, съехав с родной земли и попав на чужбину, всякий талант вянет, скудеет и в конце концов превращается в ничто. Сегодня нам хорошо известно, что это не так. С Вертинским, во всяком случае, было не так. В скитаниях по «чужим навсегда» странам и городам он, как никто другой, сумел выразить святое и горькое «чувство русское тоски» по оставленной Родине, «русскую грусть» изгнанника, который сознает не только свое несчастье, но и свою вину. И хоть знает, что мечта вернуться домой более чем призрачна и зыбка, все же тешит себя надеждой, что его «пусть злая», но как бы там ни было — Мать, —

И простит, и пожалеет
И о вас и обо мне...

Кочуя вдоль на замок закрытых границ своей Родины, Вертинский обратил к ней много взывающих к милосердию горестных и прекрасных строк. Но вот ведь как получилось: сам он оказался больше всех этих строк, вместе взятых, больше всего того, что им было написано. Потому что, говоря за себя, — хотел он того или нет, — он сказал и за тысячи таких же, как он сам, «нищих и блудных» детей России, открыл перед ее недоверчивым ликом истерзанную ностальгией и покаянием душу той части русской эмиграции, что готова была принять самую жестокую участь, лишь бы... «взглянуть на родную страну».

Вертинский стал зеркалом этой души, одним из самых значительных «вкладчиков» в художественную энциклопедию духовной жизни русского зарубежья. Страдания и боль эмиграции, отраженные в слове, наградили Александра Вертинского судьбой...

Уже через несколько лет после отъезда он стал «стучаться к Родине обратно». В белоэмигрантских кругах его называли изменником, кричали, что он «продался красным», что он «большевистский наемник», бойкотировали и пытались срывать его выступления. Но куда бы ни бросала его кочевая распутица — в Турцию или Румынию, Польшу или Германию, Францию или Палестину, США или Китай, — он везде, пренебрегая густевшей над его головой опасностью, продолжал петь свои, как он их сам называл, и н ы е песни, и не переставал рваться, рваться домой.

В 1943 году, вслед за письмом, которое Вертинский отправил на имя наркоминдела СССР В. М. Молотова, разрешение на обратный въезд было, наконец, получено. Вот это письмо:

«...Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжкое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное.

Советские патриоты жертвуют свой упорный, сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения.

Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь — моей Родине.

Я артист. Мне 50 с лишним лет, я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество еще может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен, но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни и были таковыми, то в этом вина не моя, а предреволюционной эпохи затишья, разложения и упадка. Давно уже мои песни стали иными.

Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал, и эти новые песни, как говорят об этом здешние советские люди, уже звучат иначе.

Разрешите мне вернуться домой. Я — советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете Шанхая «Новая жизнь» — пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. У меня жена и мать жены. Я не могу их бросить здесь и поэтому прошу за всех троих.

...Вот и все. Разбивать семью было бы очень тяжело.

Пустите нас домой.

Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу Вам из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае.

Заранее глубоко благодарю Вас.

Надеюсь на Ваш ответ.

Александр Вертинский
Шанхай, 7 марта 1943 г.»

О жизни Вертинского после возвращения на Родину пишут у нас в самых радужных, мажорных тонах. Пишут, что это была его «самая счастливая полоса», что он обрел, наконец, «счастье устойчивой и ясной жизни», что, обновив репертуар, сочинял песни, «полные искренней радости».

И в самом деле: внешне все выглядело именно так. Вопреки распространяемым в 40-50-е годы зарубежной печатью слухам, по которым Вертинский то был расстрелян у первого же пограничного столба, то замучен в подвалах НКВД, то умер голодной смертью, торгуя газетами у стен Моссовета, он жил себе в самом центре столицы (кстати, недалеко от вышеуказанных стен), в хорошей квартире, в любви и согласии с красавицей-женой, родившей ему двух «доченек», получил за участие в фильме «Заговор обреченных» Сталинскую премию, снялся еще в пяти кинокартинах, но главное — колесил и колесил по стране, делая в год 100-150 концертов, и всюду — аншлаг и восторг благодарной публики!

Птица, «что устала петь в чужом краю», без устали и с великой радостью пела свои песни для нас, — «родные сероглазые братья драгоценные мои», и небо над этой вернувшейся в отчие края птицей было высокое и прозрачное, как «голубое стекло»... Такая вот акварельная картинка.

Но так ли уж безоблачно и легко прожил свои последние годы Вертинский? Откроем датированное 1950 годом стихотворение «Отчизна».

...Бреду, слепой от вьюги,
Дрожу в просторах Родины моей,
Еще пытаюсь в творческой потуге
Уже не жечь, а греть сердца людей.

Но заметают звонкие метели
Мои следы, ведущие в мечту,
И гибнут песни, не достигнув цели,
Как птицы, замерзая на лету.
Россия, Родина, страна родная!
Ужели мне навеки суждено
В твоих снегах брести, изнемогая,
Бросая в снег ненужное зерно?..

Ну как? Что-то не очень вяжутся эти скорбные строки со «счастьем устойчивой и ясной жизни», в котором будто бы, возвратившись домой, поэт пребывал с первого и до последнего дня. Определенно не вяжутся. И дабы не возникло сомнение, что «Отчизна» — плод случайно вылившегося на бумагу минутного настроения (а ведь так бывает), приведем еще один документ: написанное Вертинским в 1956 году (за год до смерти) письмо тогдашнему заместителю министра культуры СССР С. В. Кафтанову.

«...Лет через 30-40, я уверен в этом, когда меня и мое «творчество» вытащат из «подвалов забвения» и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романса, как Гурилев, Варламов и Данауров, это письмо, если оно сохранится, будет иметь «значение», и быть может, позабавит радиослушателей какого-нибудь тысяча девятьсот... затертого года!

Почему я пишу его? Почему обращаюсь к Вам? Не знаю. К Вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально.

Но... я не вижу никого, к кому бы я мог обратиться с моими «вопросами», и не верю в человечность, внимательность, чуткость ни одного из ваших «больших» людей, потому что они слишком заняты другими, более важными государственными делами и их секретари никогда не положат на их стол мое письмо и вообще не допустят меня до них...

Где-то там... наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят: «Нет сигнала». Вероятно, его и не будет.

А между тем я есть! И очень «есть»!

Меня любит народ! (Простите мне эту смелость). 13 лет на меня нельзя достать билета!

Я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну. Я пел везде — и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят: «Спасибо, что Вы приехали! Мы отдохнули сегодня на Вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир — мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека! И которого у нас нет (пока)».

Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень «советское», нужно кому-то и, может быть, необходимо. А мне уже 68-й год! Я на закате. Выражаясь языком музыкантов, я иду на «коду». Сколько мне осталось жить? Не знаю, может быть, три-четыре года, может быть, меньше. Не пора ли уже признать? Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок, на поверхности и не дает утонуть?

Все это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего прибавить не может.

Но я русский человек! И советский человек. И я хочу одного — стать советским актером. Для этого я и вернулся на Родину. Ясно, не правда ли? Вот я и хочу задать Вам ряд вопросов:

1. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я?

2. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству?

3. Почему нет моих нот, моих стихов?

4. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу.

В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности. И никто этого не знает. Верьте мне — мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и глубоко равнодушен.

Но странно и неприятно знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей Родине! До сих пор за границей моих пластинок выпускают около миллиона в год, а здесь из-под полы все еще продают меня на базарах «по блату» вместе с вульгарным кабацким певцом Лещенко.

Мне горько все это. Я, собственно, ничего у Вас не прошу. Я просто рассказываю Вам об этом. Потому что Вы — человек! Потому что Вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его...

Как стыдно ходить и просить, и напоминать о себе... А годы идут. Сейчас я еще мастер. Я еще могу! Но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни... и будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любил народ, и не заметили его правители.

Примите мой привет и мое глубокое доверие к Вам как к настоящему советскому человеку и прошу помнить, что это письмо Вас ни к чему не обязывает.

Ваш Александр Вертинский».

Это письмо не просто, как говорится, крик души. Это поступок высокого мужества, на который в ту пору мало кто бы решился. Вертинский ведь хорошо понимал, что его пустили домой не из соображений гуманности. Что это был чисто политический акт, имевший целью замазать глаза зарубежной публике: смотрите, какие мы добрые!

Он прекрасно знал цену своему искусству. И в то же время отчетливо сознавал непрочность, уязвимость своего положения под стражей той самой д о б р о т ы. Он долго молчал. Но... «Мы — птицы русские. Мы петь не можем в клетке». Рискуя быть сломанным, он попытался эту клетку сломать.

...Сегодня она, наконец, сломана. Само Время истончило, переломало ее проржавевшие прутья. И книга, которую читатель держит сейчас в руках, тому подтверждение.

Ю. Томашевский

Александр Вертинский.



ВОСПОМИНАНИЯ



Детство

В годы моего детства мы жили в Киеве на Фундуклеевской улице, в доме Дымко, а потом Лучинского. Улица та поднималась от Крещатика вверх и, дойдя до Пироговской, красиво спускалась вниз к Еврейскому базару.

По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце. Один «Страшный суд» чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день Страшного суда выходили давно умершие грешники с изможденными, неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах, с поломанными скипетрами. А худые и строгие праведники, высохшие, как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, «в бозе почившие» цари — все это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда.

А рядом, около алтаря и наверху в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот «Рождество Христово» — созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара!.. И все это на фоне русских задушевных пейзажей, со стройными елочками и юными подростками-березками.

Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова были просветленными и благостными, тихими и примиренными с жизнью.

Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо! В огромных украинских очах, с длинными темными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска ее своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. Я долго смотрел, испуганно и беспомощно, на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Малишевского. Как пели они, эти мальчики! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские! Как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин!

Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели «Разбойника Благоразумного». Моя детская

душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее и, как мячик, подбрасывали вверх — к самому куполу, к небу! Как радостно и страшно было душе моей, как светло! И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря выходили в белых стихарях тонкие и стройные мальчики чуть постарше меня и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них!
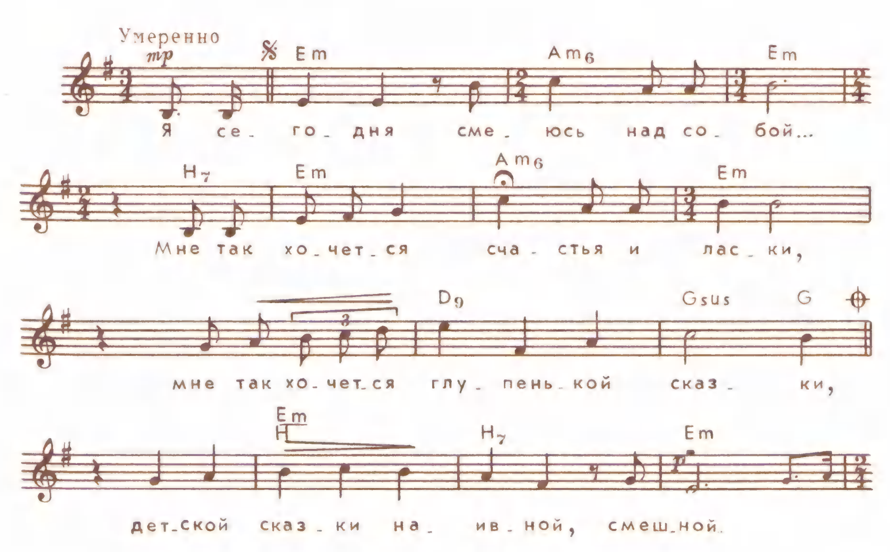
О, как завидовал я этим юным лицедеям!
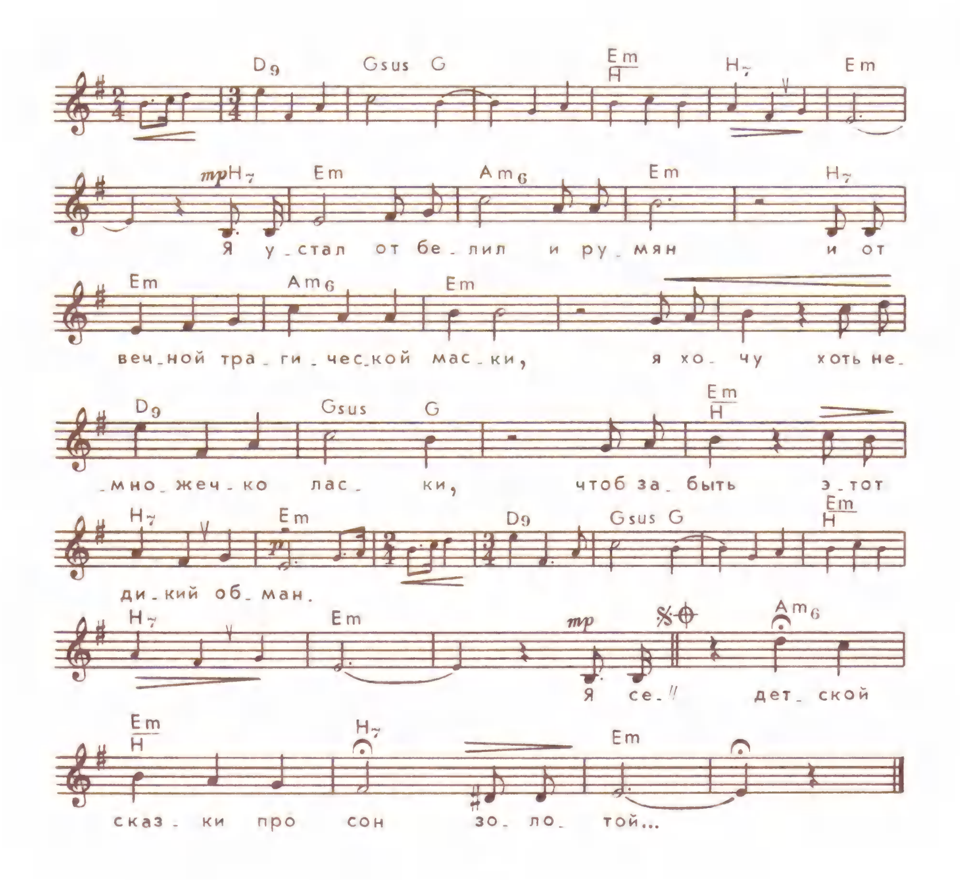
Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ

Я сегодня смеюсь над собой…
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки наивной, смешной.

Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.

Я сегодня смеюсь над собой,
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой…





Мечта не сбылась

По субботам и церковным праздникам в нашей маленькой гимназической церкви пел хор, составленный из учеников. Я почему-то не попал в него, хотя у меня был неплохой дискант и хороший слух. Вероятно, меня не взяли за плохое поведение. А я так мечтал об этом. Каждую субботу и воскресенье мы, гимназисты, выстроенные попарно по классам, стояли навытяжку посреди церкви. На правом клиросе стояло наше начальство и прихожане, а на левом — хор. Спина и плечи немилосердно болели, мы переминались с ноги на ногу и часто бегали в уборную покурить и отдохнуть. Отстоять всю церковную службу было нелегко, а сесть нельзя было, да и негде.

Великим постом хор пел особенно хорошо — как-то по-весеннему звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков…

Непреходящей мечтой моей было стать церковным служкой.

Еще в раннем детстве, ужаленный красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыбалась мне. И вдруг однажды на уроке закона божьего отец Троицкий спросил:

— Кто из вас может выучить наизусть шестипсалмие, чтобы прочесть его завтра в церкви?

Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актера.

— Ну, попробуй!..

Я взял в руки книгу псалмов и с чувством, толком и расстановкой прочел ее единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось.

— Молодец,— похвалил он.— Приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь.

Итак, моя мечта сбывалась! Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь. К утру я знал шестипсалмие назубок. Придя вечером в церковь за два часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы! Ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен.

— Читай без стихаря,— сказал батюшка. Но какой же интерес это представляло для меня? Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал:

— Пусть вам монахи читают!
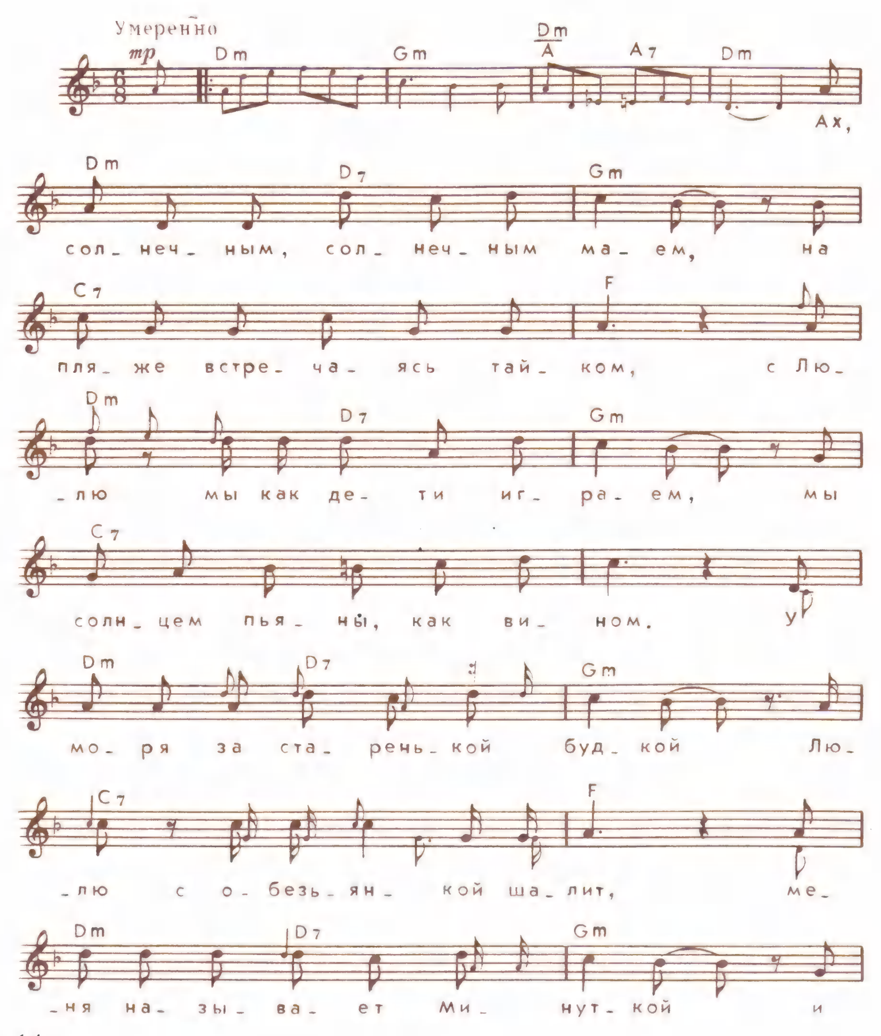
И ушел.
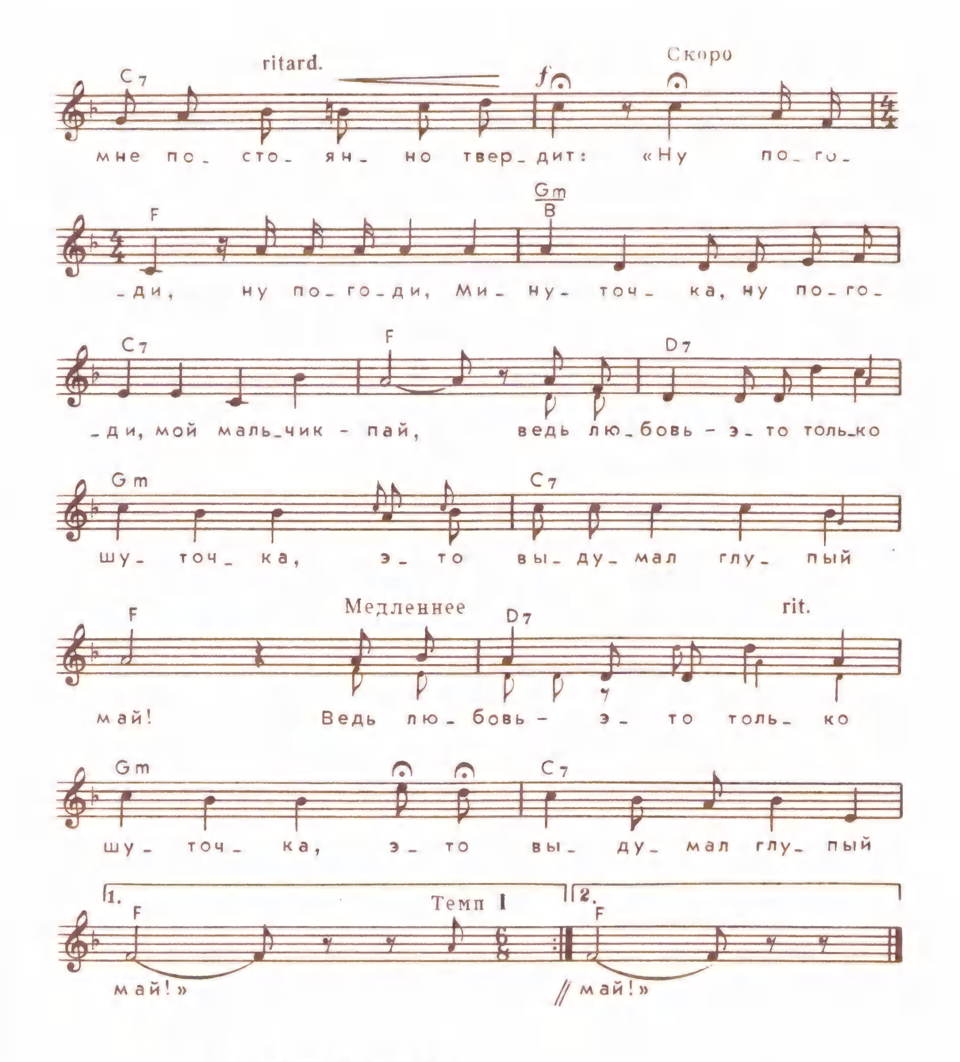
МИНУТОЧКА

Ах, солнечным, солнечным маем,
На пляже встречаясь тайком,
С Люлю мы как дети играем,
Мы солнцем пьяны, как вином.
        У моря за старенькой будкой
        Люлю с обезьянкой шалит,
        Меня называет Минуткой
        И мне постоянно твердит:
«Ну погоди, ну погоди, Минуточка,
Ну погоди, мой мальчик-пай,
Ведь любовь — это только шуточка,
Это выдумал глупый май!»

Мы в августе горе скрываем
И, в парке прощаясь тайком,
С Люлю точно дети рыдаем
Осенним и пасмурным днем.

Я плачу, как глупый ребенок,
И, голосом милым звеня,
Ласкаясь ко мне, как котенок,
Люлю утешает меня:
«Ну погоди, ну не плачь, Минуточка,
Ну не плачь, мой мальчик-пай,
Ведь любовь наша — только шуточка,
Ее выдумал глупый май»!





Актерская колыбель

...На Подоле, несколько в стороне, стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый «Контрактовый зал». Днем в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за десять рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей «актерской колыбелью», если так можно выразиться.

Среди киевской молодежи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть, главным образом, показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы (в долг), сами выклеивали на всех заборах худосочные, маленькие,

жидкие афишки… и играли, играли, играли… Чего мы только не играли! За что не брались! И «Казань» Григория Ге, и «Волки и овцы» Островского, и фарсы вроде «В чужой постели», и даже «Горе от ума»!
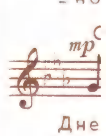


Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто из так называемой «широкой» публики решился бы посещать наши представления, прельстившись этими афишками? Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов?



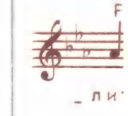
Мы «докладывали» до каждого спектакля. То есть, что значит «мы»? Нам «докладывать» было не из чего. И выручали нас, конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из «актеров» и «актрис», со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывала языком ненасытная корова искусства. Многие из широко известных ныне актеров обязаны этому дому своей карьерой. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский — из Малого театра.





БЕЗНОЖЕНКА
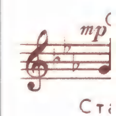
Борису Леопольдовичу Андржеевскому



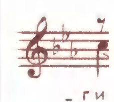
Ночью, на кладбище строгое,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка, малютка безногая,
Пыльной дорогой ползет.



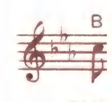
Днем по канавкам валяется,
Что-то тихонько скулит,
Ночью в траву забирается,
Между могилками спит.



Старой, забытой дороженькой,
Между лохматых могил,
Добрый и ласковый Боженька
Нынче во сне приходил.
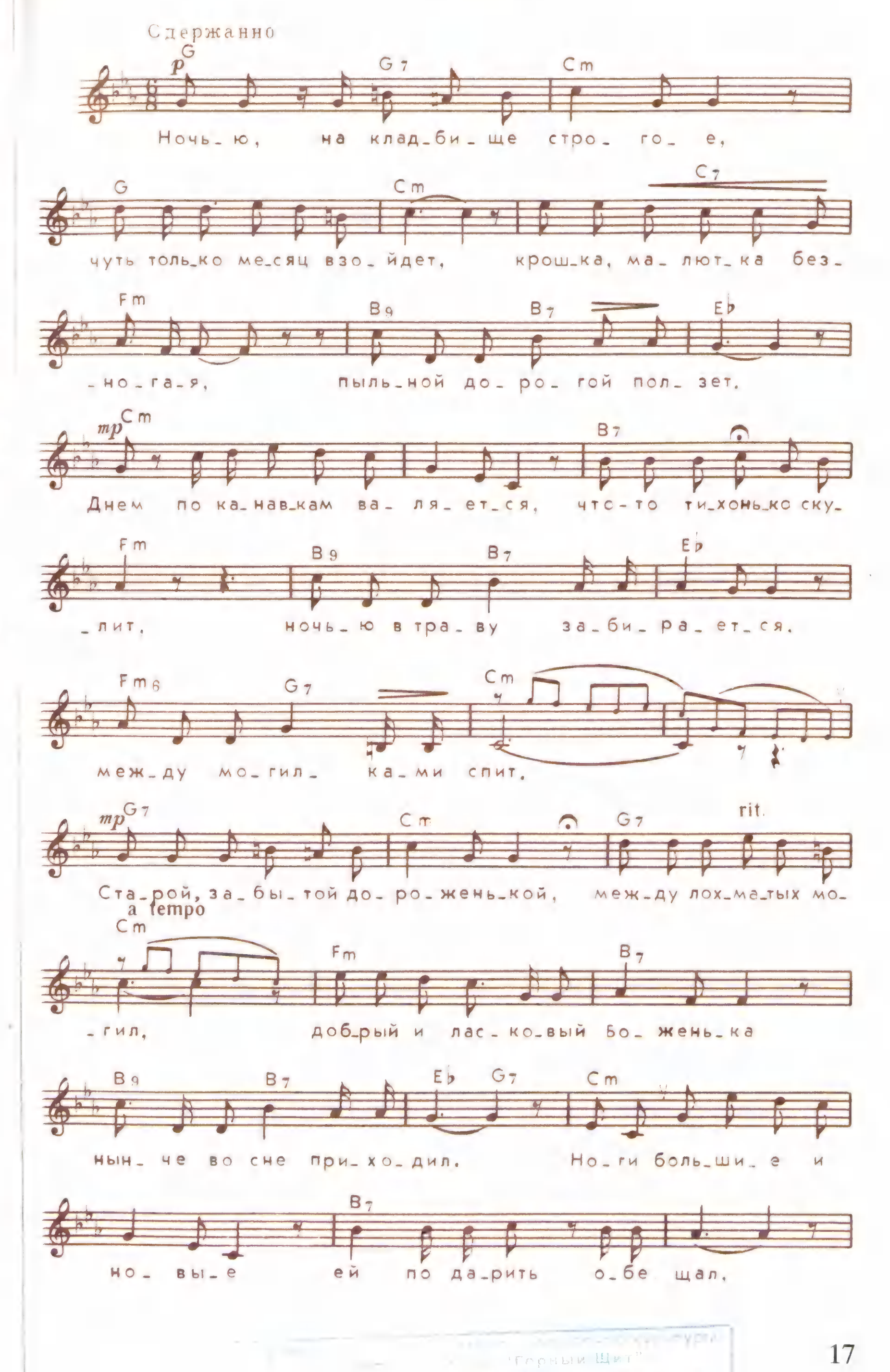


Ноги большие и новые
Ей подарить обещал,
А колокольцы лиловые
Тихо звенели хорал.
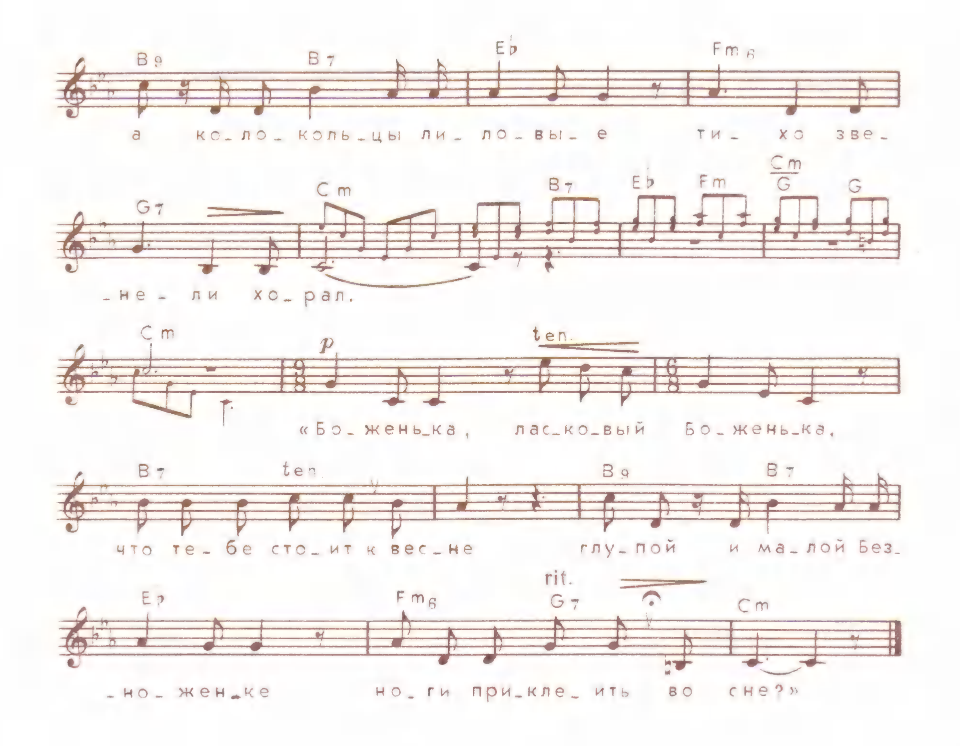


«Боженька, ласковый Боженька,
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой Безноженке
Ноги приклеить во сне?»



3217


Сдержанно
Ночь_ю, на клад_би_ще стро_ го_ е,
чуть толь_ко ме_сяц взо_ йдет, крош_ка, ма_ лют_ка без_
_но_га_я, пыль_ной до_ ро_ гой пол_ зет.
Днем по ка_нав_кам ва_ ля_ ет_ся, что-то ти_хонь_ко ску_
_лит, ночь_ю в тра_ ву за_ би_ ра_ ет_ся.
меж_ду мо_гил_ ка_ми спит.
Ста_рой, за_бы_ той до_ ро_ жень_кой, меж_ду лох_ма_тых мо_
a tempo
rit.
_гил, доб_рый и лас_ ко_вый Бо_ жень_ка
ным_ че во сне при_ хо_ дил. Но_ги боль_ши_ е и
но_ вы_ е ей по да_рить о_бе щал.



На Подоле

Там же, на Подоле, был «Клуб фармацевтов», где по субботам устраивались семейные журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений.

Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности и, если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая «по слуху».

Я вышел. Поклонился. Открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыхание. Я заэкал, замэкал… и ушел при деликатном, но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось мое первое сольное выступление.

Я мечтал о театре — настоящем драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь.

Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток: я не выговаривал буквы «р», и это обстоятельство дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист восьмого класса нашей гимназии Жорж Зенченко. Убежденный второгодник, просидевший в гимназии немало лет, он был уже вполне зрелого возраста. На вид ему можно было дать лет двадцать. Он был высоким, статным и смазливым парнем. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные черные усики. И все горничные и модистки Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый и ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго были жертвами его коммерции. Он продавал нам все, что угодно,— от финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов, папирос и порнографических открыток. На переменках в клозете он широко играл в «орлянку», причем почему-то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно. Его боялись даже учителя. Так вот этот Жорж, каким-то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему же принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были коротки и предельно ясны:

— Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам.

Так говорил он каждому, желавшему поступить в театр. А статисту в то время платили пятьдесят копеек за спектакль! И нас было человек пятьдесят-шестьдесят. А иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, ибо мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме, возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства!..

Как-то великим постóм, когда Соловцовский театр закрывался и актеры разъезжались на гастроли, в «Народном доме» на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили «Мадам Сан-Жен». Путята играл Наполеона. Нужны были статисты. Зенченко между прочим взял и меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамелюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки, у дверей его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово: «Император». Одним из этих мамелюков твердо решил стать я. Ведь это уже была роль! В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать. Сказать, наконец, живое слово со

сцены! А то статистом так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зенченко. За три рубля эту «роль» он дал мне. Деньги были немедленно украдены мной из комода тетушки. Три дня и три ночи я не ел, не пил и на все лады повторял:

— Император!

И вот первая репетиция. Путята приехал на нее, красивый, крепкий, стройный, в какой-то голубой венгерке, в рейтузах, но с опозданием и не в духе.

Четвертый акт. Кабинет Наполеона. Мамелюки стоят, скрестив руки, у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдет.

— Император! — возглашает первый мамелюк.

— Импеятой! — повторяю я вслед за ним.

— Что? Что? — скривив лицо, переспросил Путята.— Это еще что за косноязычный? — накинулся он на помрежа.— Кого вы тут наставили? Убрать немедленно!

И меня убрали.

Так сломалась моя театральная карьера.

В ГОЛУБОЙ ДАЛЕКОЙ СПАЛЕНКЕ

Стихи А. Блока
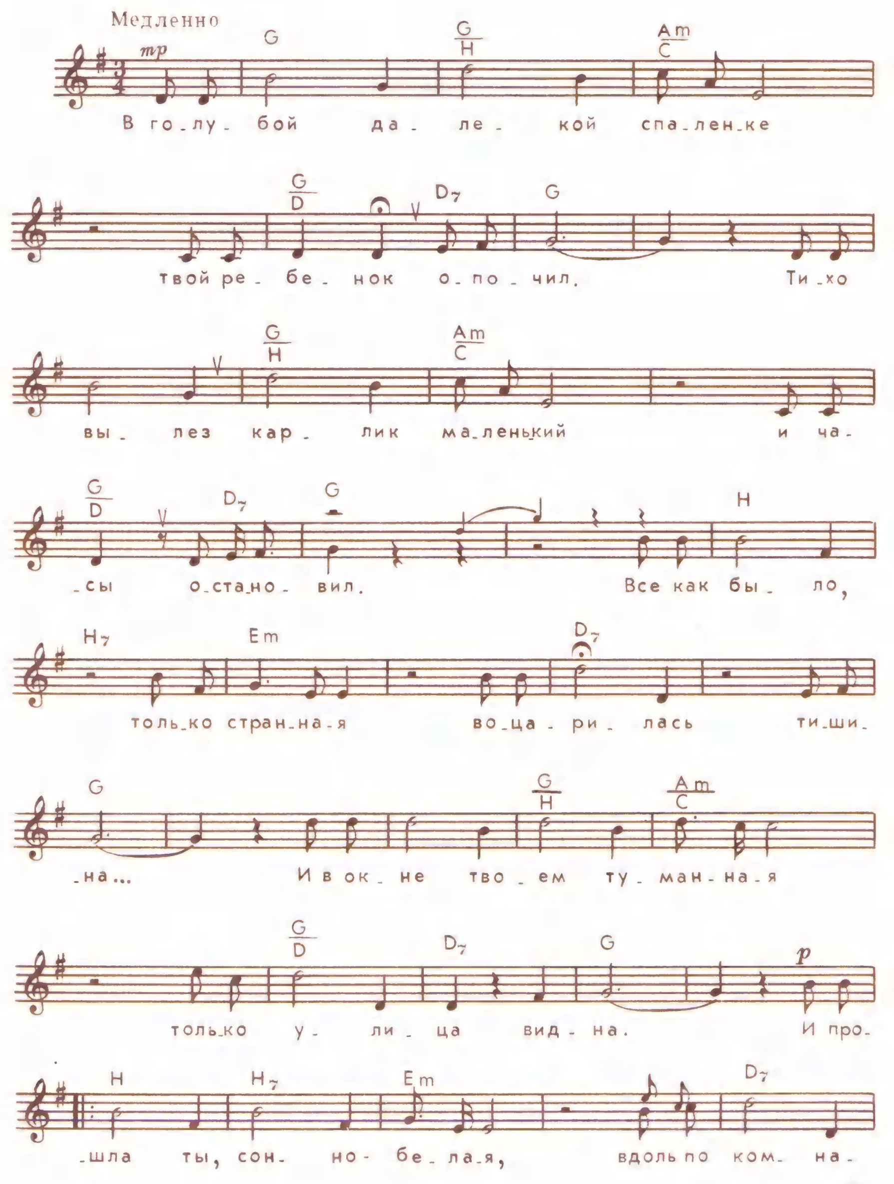
В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.
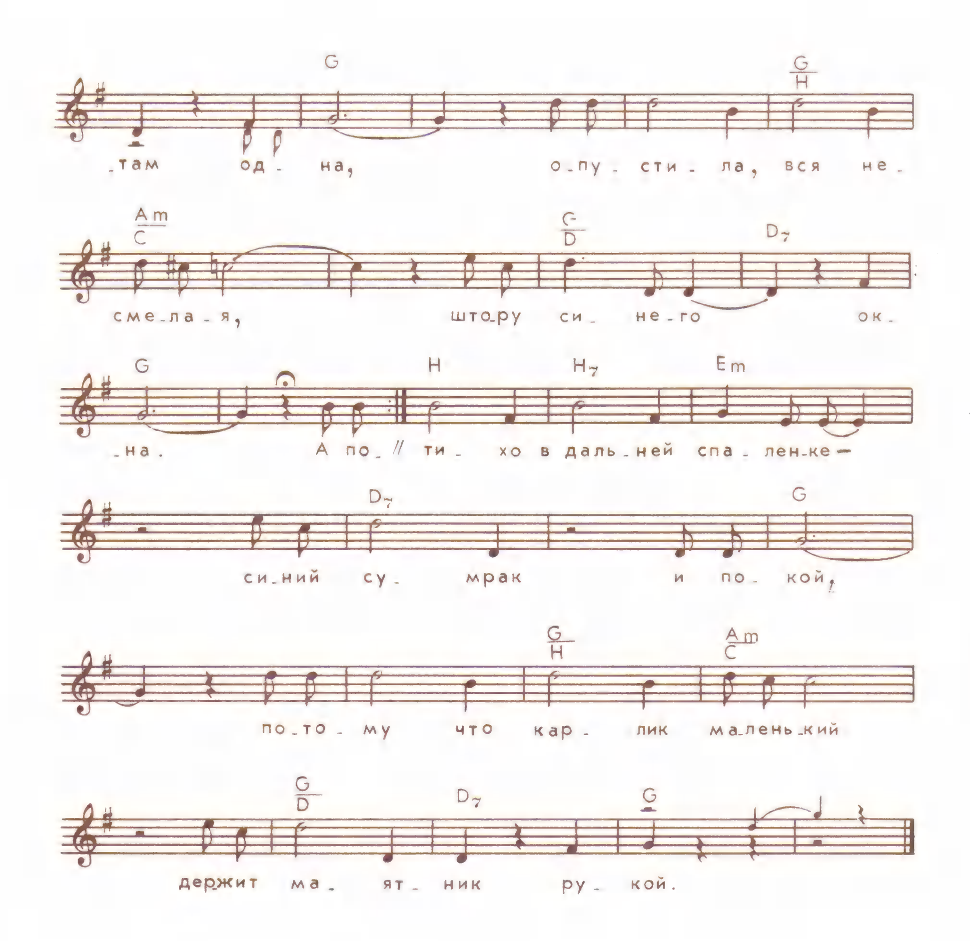
Все как было, только странная
Воцарилась тишина...
И в окне твоем туманная
Только улица видна.

И прошла ты, сонно-белая,
Вдоль по комнатам одна,
Опустила, вся несмелая,
Штору синего окна.

А потом, едва заметная,
Синий полог подняла,
И, как время, беспросветная,
Шевелясь, поникла мгла.

Стало тихо в дальней спаленке —
Синий сумрак и покой,
Потому что карлик маленький
Держит маятник рукой.





Отъезд из Киева

...Заканчивалась моя жизнь в Киеве. Делать мне в этом городе было нечего. Слишком хорошо здесь знали меня и всю мою подноготную, а как вам известно — нет пророков в своем отечестве. Мне надо было куда-нибудь уехать, чтобы сделать карьеру. Но куда же?

В Москву, конечно. В столицу!

БУЙНЫЙ ВЕТЕР
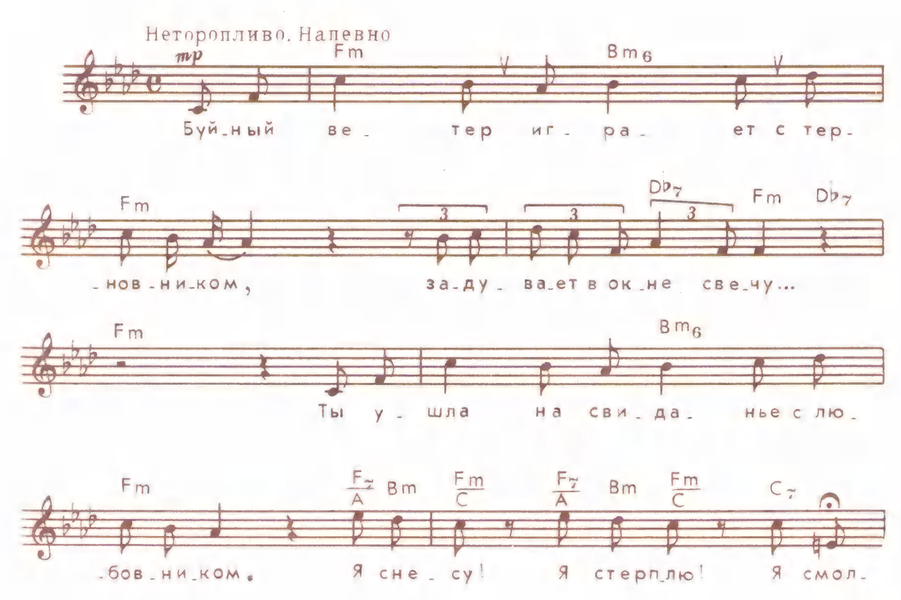
Стихи А. Блока
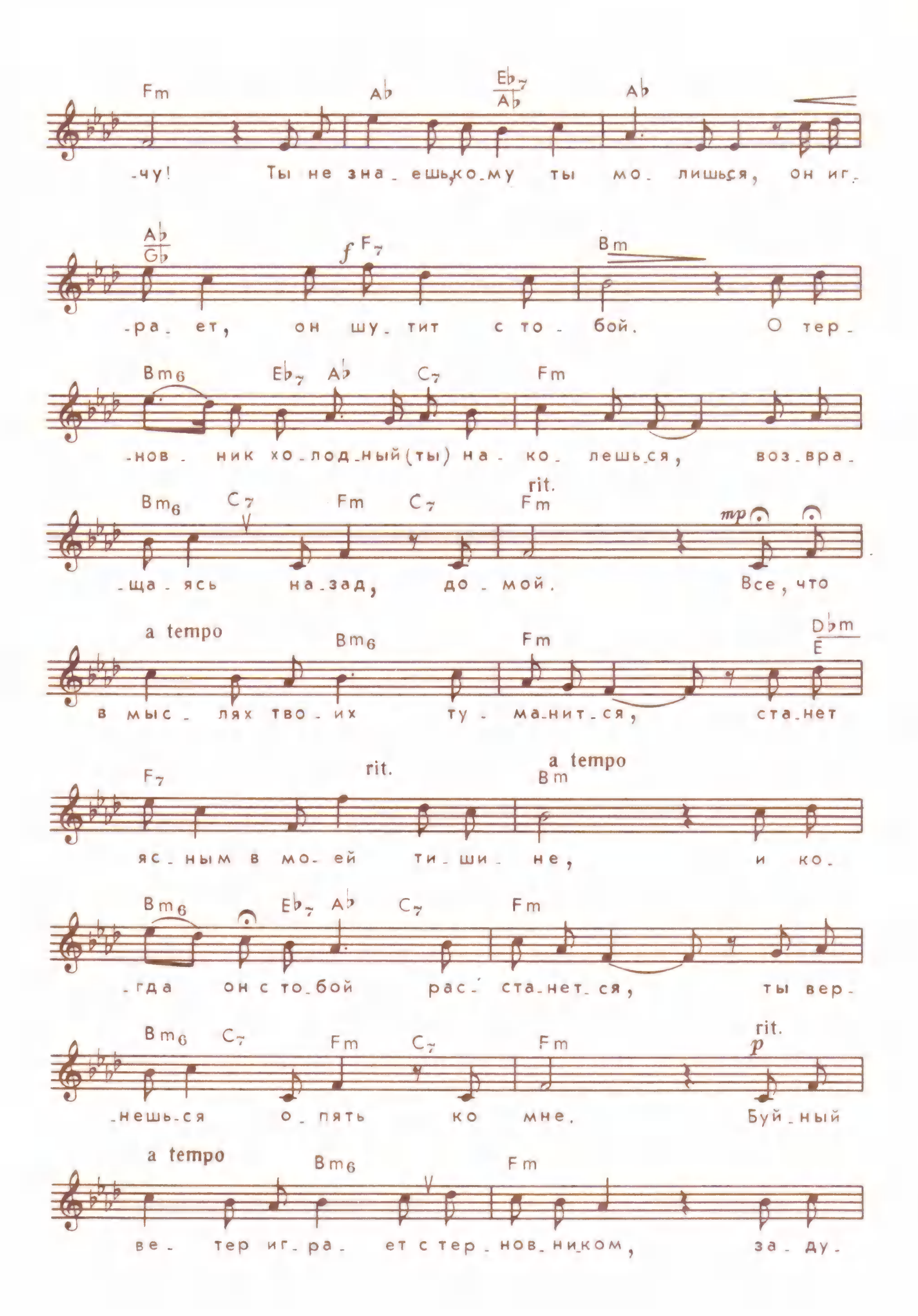
Буйный ветер играет с терновником,
Задувает в окне свечу…
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я снесу! Я стерплю! Я смолчу!

Ты не знаешь, кому ты молишься,
Он играет, он шутит с тобой.
О терновник холодный наколешься,
Возвращаясь назад, домой.
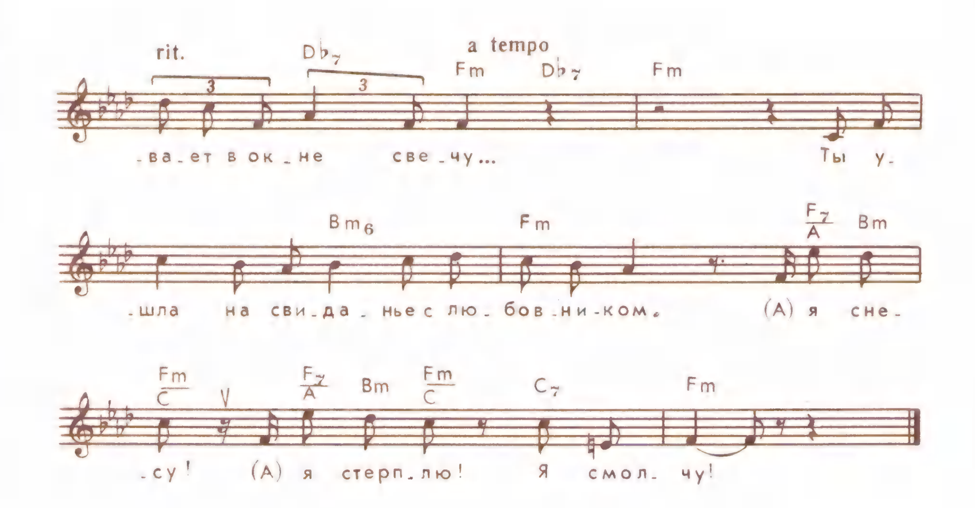
Все, что в мыслях твоих туманится,
Станет ясным в моей тишине,
И когда он с тобой расстанется,
Ты вернешься опять ко мне.

Буйный ветер играет с терновником,
Задувает в окне свечу…
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я снесу! Я стерплю! Я смолчу!





Fm Ab Eb7/Ab Ab
-чу! Ты не зна_ешь, ко_му ты мо_лишь_ся, он иг_
Ab/Gb f F7 Bm
-ра_ет, он шу_тит с то_бой. О тер_
Bm6 Eb7 Ab C7 Fm
-нов_ник хо_лод_ный (ты) на_ко_лешь_ся, воз_вра_
Bm6 C7 Fm C7 rit. Fm mp
-ща_ясь на_зад, до_мой. Все, что
a tempo Bm6 Fm Dbm/E
в мыс_лях тво_их ту_ма_нит_ся, ста_нет
F7 rit. a tempo Bm
яс_ным в мо_ей ти_ши_не, и ко_
Bm6 Eb7 Ab C7 Fm
-гда он с то_бой рас_ста_нет_ся, ты вер_
Bm6 C7 Fm C7 Fm rit. p
-нешь_ся о_пять ко мне. Буй_ный
a tempo Bm6 Fm
ве_тер иг_ра_ет с тер_нов_ни_ком, за_ду_



Киев, 1905 год (предпол.). Справа А. Вертинский

Москва

Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — прием статистов, или сотрудников, как это называлось. Я пошел на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых далеких медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи.

Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь цвет театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артем, Книппер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем-Данченко...

Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы.

— Чьи это стихи? — спрашивали меня. Я называл никому не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художественного театра пожимали плечами и переглядывались.

— А Пушкина вы читаете?

— Нет.

— Почему? Не любите его, что ли?

— Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина!

— Так как же так, любите и не читаете?

Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня.

— Оскар Уайльд говорит, — заявил я, — что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и... немедленно забыть.

Это была неслыханная дерзость. Тем не менее, меня еще долго гоняли по программе и улыбались как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня:

— Вот вы плохо произносите букву «р», что вы думаете делать с этим дефектом?

— Я буду учиться и исправлю его! — отвечал я дрожащим голосом.

— Довольно. Спасибо.

На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня. Все были уверены, что я принят. На другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было.
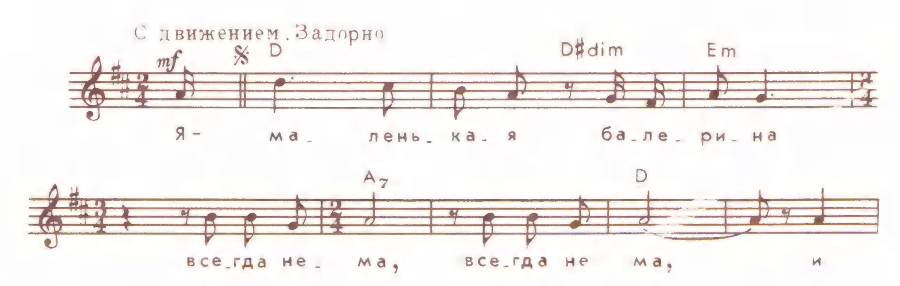
МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА
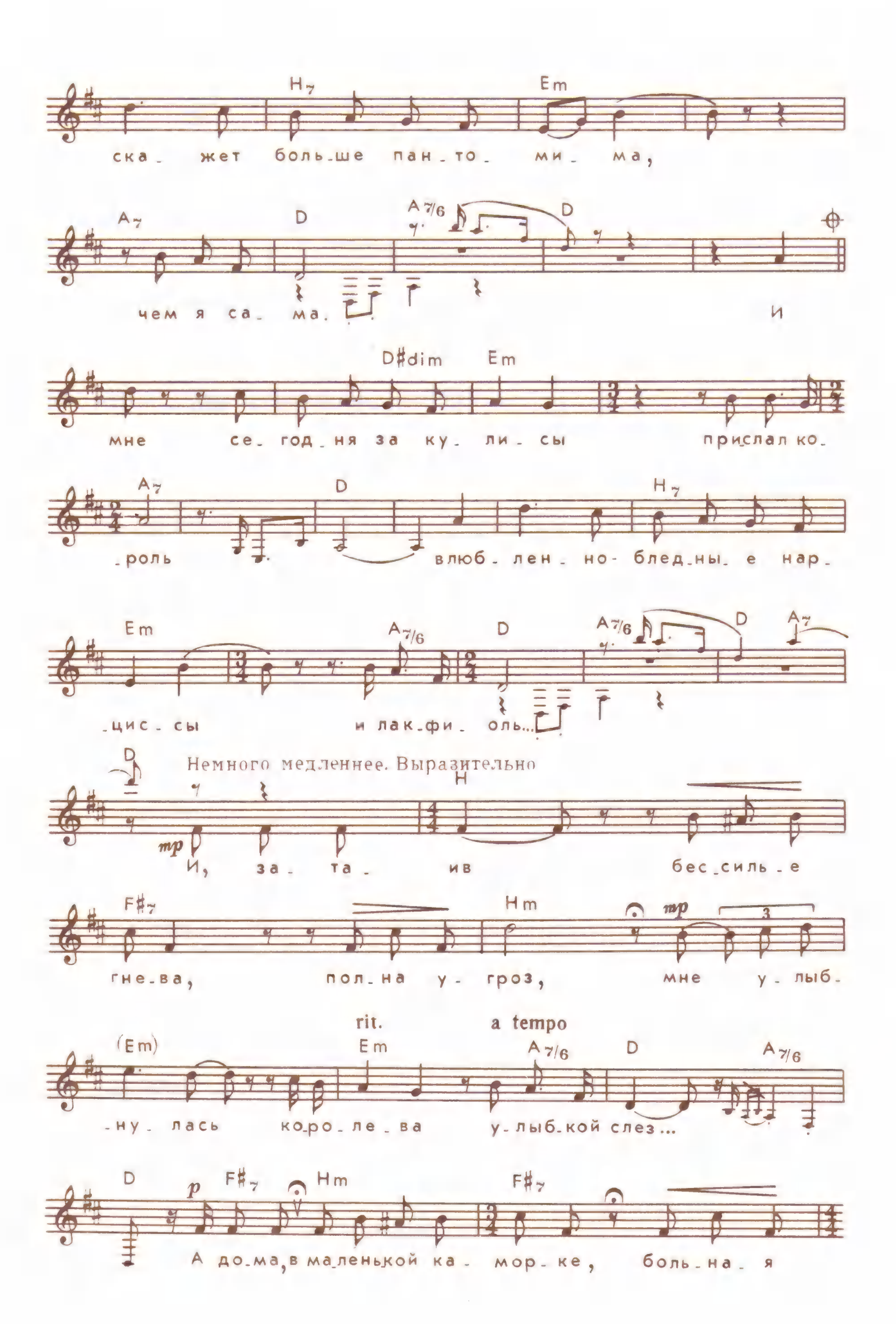
Стихи Н. Грушко и А. Вертинского
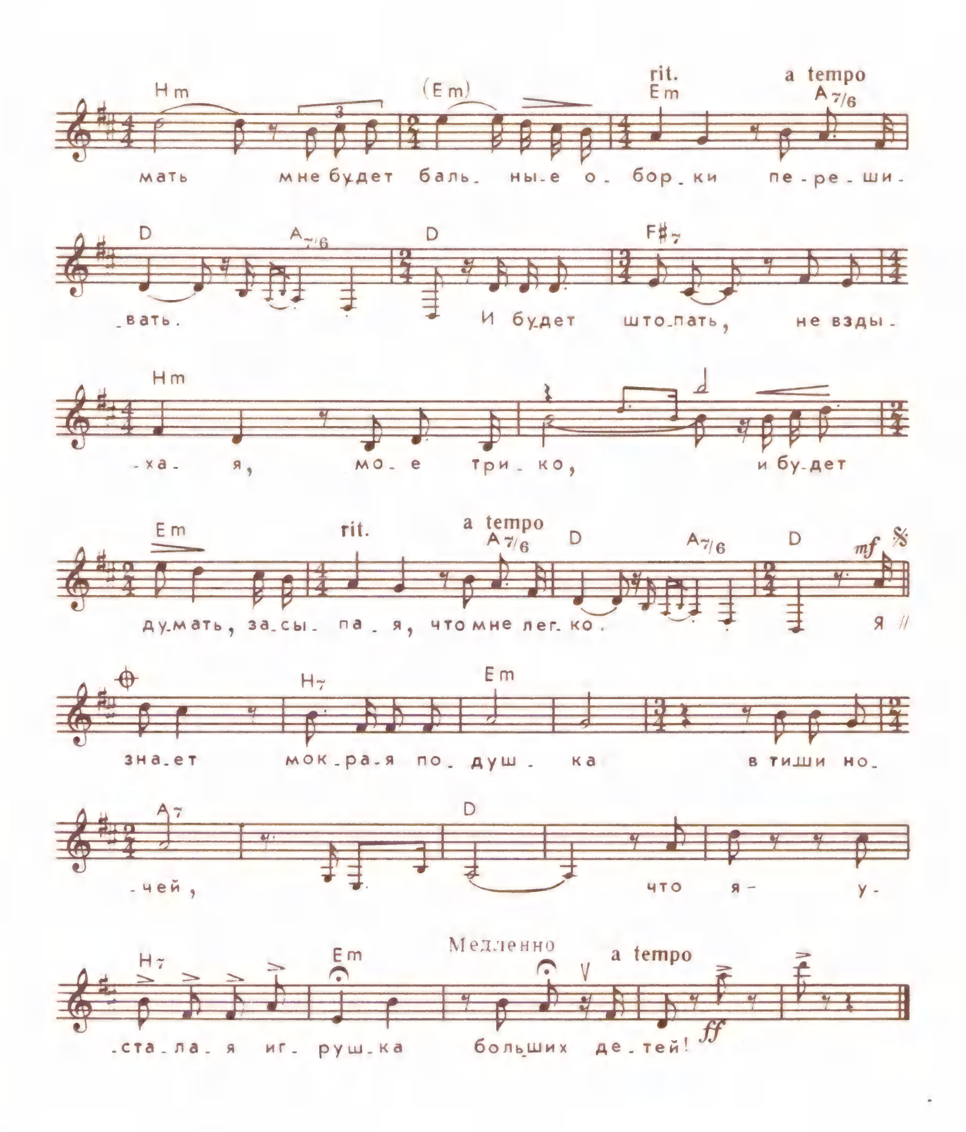
Я — маленькая балерина,
Всегда нема, всегда нема,
И скажет больше пантомима,
Чем я сама.
И мне сегодня за кулисы
Прислал король
Влюбленно-бледные нарциссы
И лакфиоль...

И, затаив бессилье гнева,
Полна угроз,
Мне улыбнулась королева
Улыбкой слез...
А дома, в маленькой каморке,
Больная мать
Мне будет бальные оборки
Перешивать.
И будет штопать, не вздыхая,
Мое трико,
И будет думать, засыпая,
Что мне легко.

Я — маленькая балерина,
Всегда нема, всегда нема,
И скажет больше пантомима,
Чем я сама.
Но знает мокрая подушка
В тиши ночей,
Что я — усталая игрушка
Больших детей!




H7 Em
ска_ жет боль_ше пан_то_ ми_ ма,
A7 D A7/6 D
чем я са_ ма. И
D#dim Em
мне се_год_ня за ку_ ли_сы прислал ко_
A7 D H7
_роль влюб_лен_но- блед_ны_е нар_
Em A7/6 D A7/6 D A7
_цис_сы и лак_фи_ оль...
D
Немного медленнее. Выразительно
H
mp
И, за_ та_ ив бес_силь_е
F#7 Hm
mp
3
гне_ва, пол_на у_ гроз, мне у_лыб_
rit. a tempo
(Em) Em A7/6 D A7/6
_ну_лась ко_ро_ле_ва у_лыб_кой слез...
D F#7 Hm F#7
p
А до_ма, в ма_лень_кой ка_ мор_ке, боль_на_я



Футуристы

Еще до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас — молодых и непризнанных — футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание.

Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице

деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия.

Помню, как-то в Кружке на Дмитровке была лекция академика Овсянико-Куликовского. После лекции были объявлены прения. Мы все, во главе с Маяковским, пришли, когда прения уже начались. Маяковский взял слово:

— Наш уважаемый лектор,— начал он,— господин Лаппо-Данилевский...

Председатель отчаянно зазвонил в колокольчик:

— Не Лаппо-Данилевский, а Овсянико-Куликовский! — строго поправил он.

— Простите,— извинился Маяковский,— но я не могу согласиться с мнением академика Семенова-Тяньшанского. Он сказал, что поэзия...

Снова яростно зазвонил колокольчик. Часть публики негодовала, многие смеялись.

Маяковский перекрыл негодующие крики и смех:

— А поэзия, многоуважаемый господин Новиков-Прибой, это...

Зал буквально взорвался:

— Балаган! Долой! Вон их отсюда!

Но Маяковский не успокоился. Академик был переиначен еще в Муравьева-Апостола, Сухово-Кобылина и, наконец, в Кулика-Овсяновского... Это было последней каплей: трясущегося от возмущения Овсянико-Куликовского унесли в кресле за кулисы.

Диспут был сорван. Что и требовалось доказать!

Конечно, Маяковский был самой яркой и крупной фигурой среди футуристов...
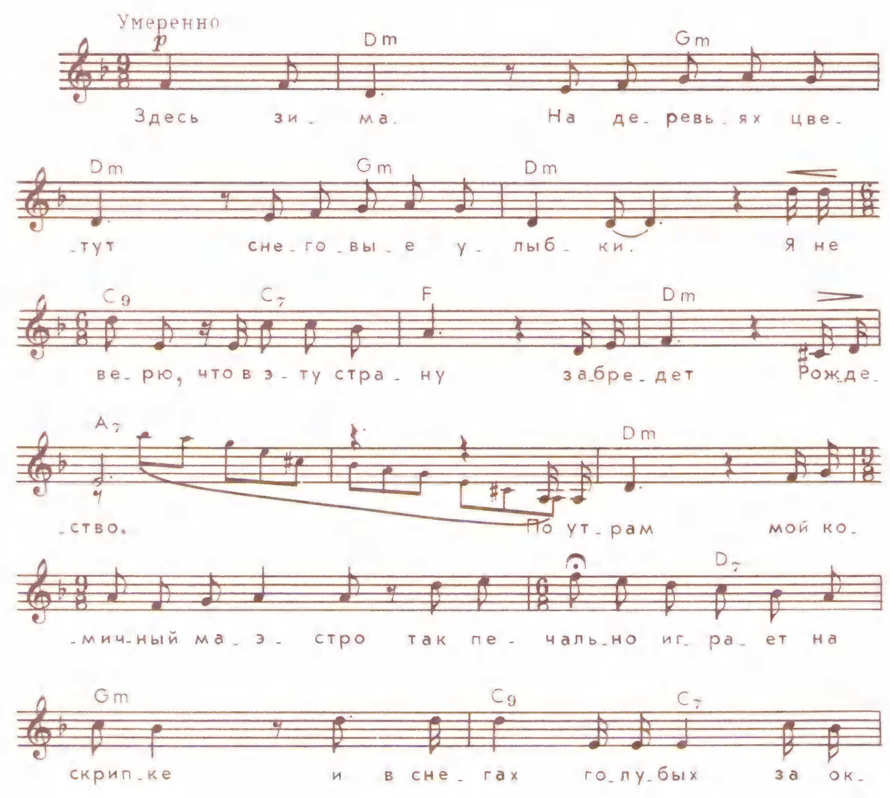
В жизни Маяковский, мне кажется, был нелегкий человек. Он был замкнут, суров, надменен до предела, и выражение его лица с брезгливо выпяченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчеркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в мое время он читал их так. Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден в своих суждениях и оценках.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Здесь зима. На деревьях цветут снеговые улыбки.
Я не верю, что в эту страну забредет Рождество.
По утрам мой комичный маэстро так печально
играет на скрипке
И в снегах голубых за окном мне поет Божество!

Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка,
А теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть
И молиться у старых притворов печально и тонко
Или, может, совсем не молиться, а эти же песенки петь!

Все бывает не так, как мечтаешь под лунные звуки,
Всем понятно, что я никуда не уйду, что сейчас у меня
Есть обиды, долги, есть собака, любовница, муки,
И что все это — так... пустяки... просто дым без огня!



F Dm/A A7

-ном мне по - ет Бо-же - ство!

C/E Gm/D F/C C C7

Мне ко-гда-то хо - те-лось и-меть зо-ло - то - го ре-

F (Gm)

-бен - ка, а те - перь я меч - та - ю у-

C7 F Dm/A

-йти в мо-на - стырь, по - ста-реть и мо-

B F/A C F A7/E Dm

-лить - ся у ста-рых при - тво-ров пе - чаль - но и

D7 Gm C9 C7

тон - ко и - ли, мо-жет, со-всем не мо-

F Gdim A7 rit. Dm

-лить-ся, а э - ти же пе - сен-ки петь!

a tempo C C7

Все бы - ва - ет не так, как меч - та-ешь под лун - ны - е
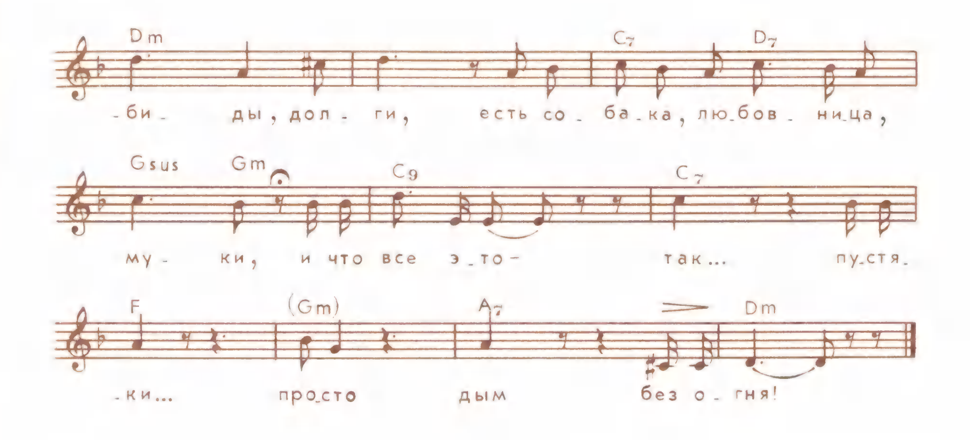
F C C7

зву-ки, всем по - нят - но, что я ни - ку - да не уй-

F Gm F A7/E

-ду, что сей - час у ме - ня есть о-





Театр миниатюр

Как-то я сидел в маленьком садике при Театре миниатюр, который держала Марья Александровна Арцыбушева с мужем Юрием Константиновичем, в Мамоновском переулке по Тверской (где сейчас помещается Театр юного зрителя).

Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня. В театр я ходил к знакомым актерам и часто сидел с ними днем в садике после репетиции. Многие из них жили там же, при театре, наверху, в уборных. Марья Александровна не любила людей, слоняющихся без дела, вроде меня. И потому, когда она замечала такого человека, то всегда думала, как его использовать, приспособив к своему театру. Завидев меня среди своих актеров, она как-то вскользь заметила:

— Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли бы лучше в актеры, ко мне в театр.

— Да, но я же не актер, — возразил я. — Я ничего, собственно, не умею.

— Не умеете, так научитесь.

Я призадумался.

— А сколько я буду получать за это? — деловито спросил я.

Она расхохоталась.

— Получать? Вы что, в своем уме? Спросите лучше, сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас человеком!

Я моментально скис.

Заметив это, Марья Александровна чуть подобрела.

— Ни о каком жалованье не может быть и речи, но... в три часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами.

Сказав это, она повернулась и пошла на репетицию. Что же мне оставалось делать? Я согласился.

Таким образом, моим первым жалованьем в театре были борщ и котлеты.

Делать мне в ее театре было нечего. Шли маленькие одноактные пьески и старинные водевили, вроде «Льва Гурыча Синичкина». Или вдруг Марья Александровна ставила одноактную оперку Пергамента «Княжна Азвяковна» и энергично решала, что главного героя — какого-то Доброго молодца — должен петь я.

— Но я же не умею петь! Я никогда не учился этому, — пробовал я возражать.

— Неважно. Научитесь. Разучивайте роль!

И я пел. Как? Не будем говорить об этом.

В это время на танцевальном горизонте появилась новинка. Последний крик моды. Танго. Марья Александровна, учтя интерес публики к этому танцу, немедленно вызвала из Большого театра балетмейстера Домашева и сговорилась, что за какую-то сумму он поставит танго для ее «девочек».

Домашев поставил танец интересно и, главное, по-новому, с большой дозой секса. Публика пришла в восторг.

Театр ожил. Появились собственные балетоманы — молодые безусые лицеисты и правоведы, покупавшие первый ряд и приезжавшие к балетному отделению. Сборы поднялись.

Мне совершенно нечего было делать в этой программе, и я серьезно задумался над своим положением в театре.

Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Я написал первую пародию «Танго — танец для богов». Потом еще пародию «Фурлана» (это было название нового танца, появившегося вслед за танго). Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником из-за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьет зимние шапки своим детям... Пародия называлась «Теплый грех».

Потребовав себе фрак напрокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Валли и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге...

Однажды в театр пришел журналист, кажется, Сергей Яблоновский из «Русского слова» — самой большой газеты того времени — и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной — критик всех поругивал, обо мне выразился так: «остроумный и жеманный Александр Вертинский».

Этого было достаточно, чтоб я задрал нос и чтоб все наши актеры меня возненавидели моментально.

Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера. А иногда даже писали обо мне. Марье Александровне пришлось дать мне наконец жалованье — двадцать пять рублей в месяц, что при борще и котлетах уже являлось каким-то базисом, на котором можно было разворачиваться.
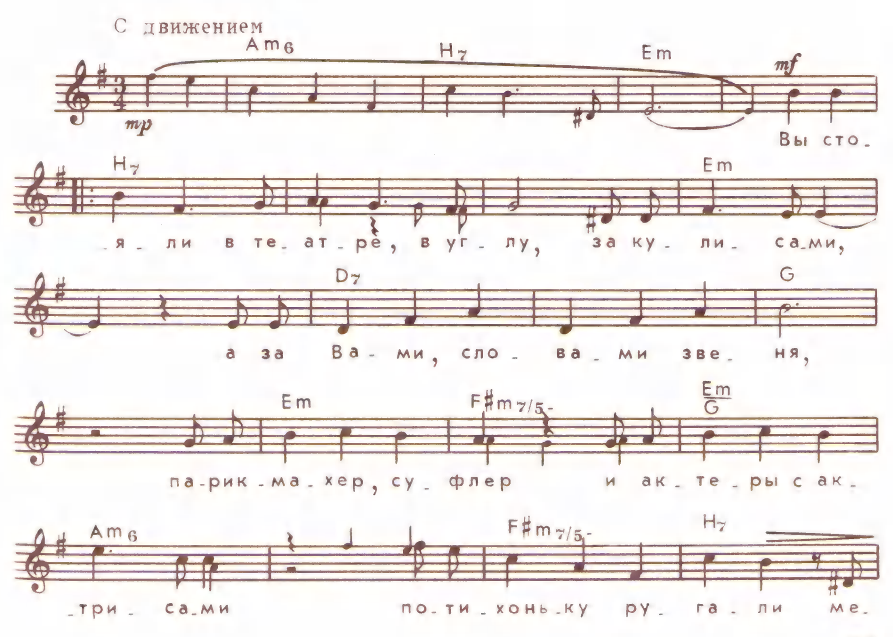
ЗА КУЛИСАМИ
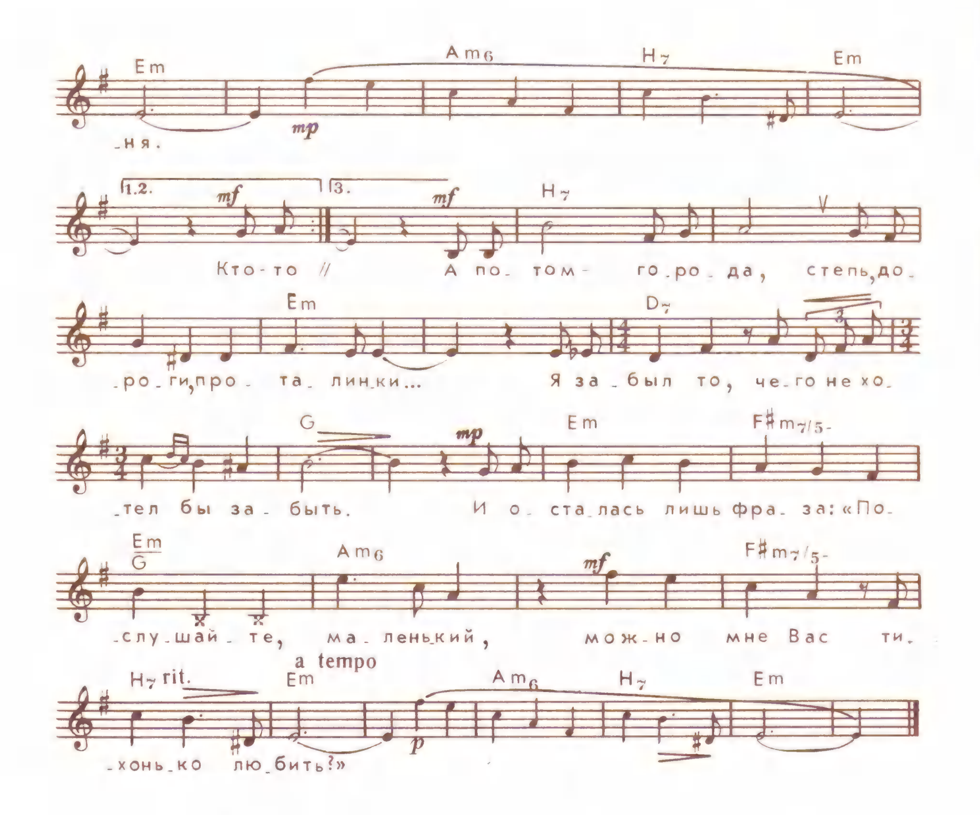
Вы стояли в театре, в углу, за кулисами,
А за Вами, словами звеня,
Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами
Потихоньку ругали меня.

Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький!
Вот кто за нос умеет водить».
И тогда Вы сказали: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»

Вот окончен концерт... Помню степь белоснежную,
На вокзале Ваш мягкий поклон.
В этот вечер Вы были особенно нежною,
Как лампадка у старых икон...

А потом — города, степь, дороги, проталинки...
Я забыл то, чего не хотел бы забыть.
И осталась лишь фраза: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»





Первые успехи

Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед, получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами: «Креольчик», «Жамэ», «Минуточка».

В витринах Аванцо на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощренно крыли. А публика частью аплодировала, частью свистала. Но шла на мои гастроли. Студенты и курсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их «по всей Руси великой»...

От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке, но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест!

Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через черный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали:

— Кокаинист!

— Сумасшедший какой-то!

— И что вы в нем нашли? — недоуменно спрашивали они женщин.

Я и сам не знал. Петь я не умел. Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне?

Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поет соловей русской оперной сцены... А о чем он поет? Ведь это уже стертые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу».

И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый Боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»... Я пел о кокаинетке — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мертвом принце», « о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей, наконец, надели, когда она умерла! И так далее...
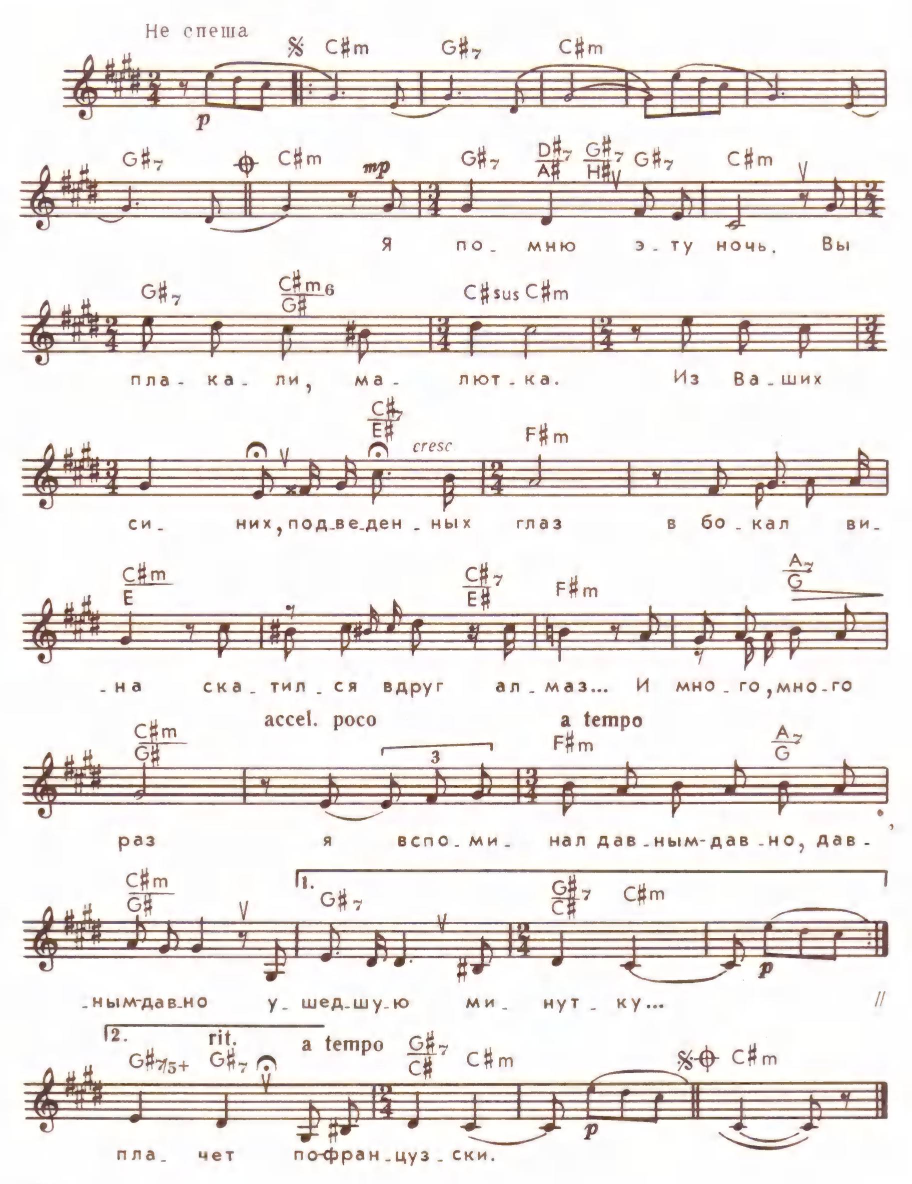
У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»... Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку.

ПОПУГАЙ ФЛОБЕР

Владимиру Васильевичу Максимову

Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка.
Из Ваших синих, подведенных глаз
В бокал вина скатился вдруг алмаз...
И много, много раз
Я вспоминал давным-давно, давным-давно
Ушедшую минутку...

На креслах в комнате белеют Ваши блузки.
Вот Вы ушли, и день так пуст и сер.
Грустит в углу Ваш попугай Флобер,
Он говорит «жамэ»,
Он все твердит — «жамэ, жамэ, жамэ, жамэ»
И плачет по-французски.



Обложка одного из выпусков песен А. Вертинского, 1916 год (издание его первого популяризатора Б. Л. Андржеевского)



Вера Холодная

Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина — жена прапорщика Холодного (украинская фамилия) — Вера Холодная. Как-то, повстречав ее на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно ее стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех ее у публики все возрастал с каждой новой ролью.

Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку — «Маленький креольчик»,— я впервые придумал и написал на нотах титул — «Королева экрана»,— титул утвердился за ней. С тех пор ее так называла вся Россия и так писали в афишах.

Я часто бывал у нее в доме и был в хороших отношениях с ней, с ее мужем, и с ее сестрой — Софьей Васильевной.

(Сестра Веры Холодной вспоминала: «Вертинский? Впервые он появился у нас с письмом от Владимира Григорьевича — мужа Веры. Это было письмо с фронта. Я ему как раз открывала дверь. Вижу: стоит худой-прехудющий солдат. Ноги в обмотках, гимнастерка вся в пятнах, шея тонкая, длинная, несчастный какой-то. Он был тогда санитаром, служил в поезде — передвижном госпитале. Я провела его в гостиную. Он передал Вере письмо и стал приходить к нам каждый день. Однажды попросил прослушать его. Это были какие-то никуда не годные куплеты. Вера честно сказала свое мнение. Потом он приносит еще и еще — и, наконец, Вере что-то показалось интересным. Она ведь сама очень хорошо пела старинные цыганские романсы, аккомпанируя себе на рояле. Вера попросила Арцыбушеву, которая была директором Театра миниатюр в Мамоновском переулке (ныне Московский ТЮЗ), устроить первое выступление Вертинского. Он пел там своего «Маленького креольчика» и еще какие-то песенки, посвященные Вере.

Вертинский посвящал ей одну за другой все свои песенки: «Лиловый негр», «В этом городе сонном...», «Где вы теперь?» и так далее. У меня были постоянно стычки с Вертинским — полушутливые, полусерьезные. В моей комнате стоял инструмент, он заходил ко мне и часами одним пальцем подбирал свои мелодии. Готовить уроки при этом я, конечно, не могла и молила его перейти куда-нибудь. Он отвечал «сейчас, сейчас», и это длилось часами. Я его прямо возненавидела. В балетной школе Большого театра, где я училась, спрашивали очень строго не только в классе балета, но и по всем предметам, а вот из-за этих «креольчиков» я просто не могла заниматься»).

А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них в доме. Вера всегда помнила, что это я впервые толкнул ее на тот путь, на котором из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Я многие свои новые песни посвящал ей. Как-то, помню, я принес ей показать свою последнюю вещь, называлась она — «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдал ее издателю в печать и, как всегда, посвятил Холодной. Когда я прочел ей текст песни, она замахала на меня руками:

— Что вы сделали! Не надо! Не надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу! Ни за что!

Она очень разволновалась:

— Это смерть! Снимите сейчас же посвящение!

Помню, я немножко даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд (что и выяснилось впоследствии), и меня удивило ее предубеждение. Я снял посвящение.

...Через несколько лет, когда Вера Холодная выступала в Одессе, а я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы:

«Умерла Вера Холодная».

Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и, разгоряченная, вышла на приморскую террасу, где ее моментально прохватило резким морским ветром. У нее началась «испанка», как тогда называли грипп, и она сгорела, как свеча, в два-три дня.

Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель (я продавал свои вещи издательству «Детлаф») сидел напротив меня, и я вынул «Ваши пальцы пахнут ладаном» из пачки, перечел текст и надписал:

«Королеве экрана — Вере Холодной».

Да, «Королевы» моей уже не было в живых!

Во всем этом было что-то трагическое. Недаром она так испугалась моего посвящения и с таким упорством отказывалась от него. Точно предчувствовала свою смерть...
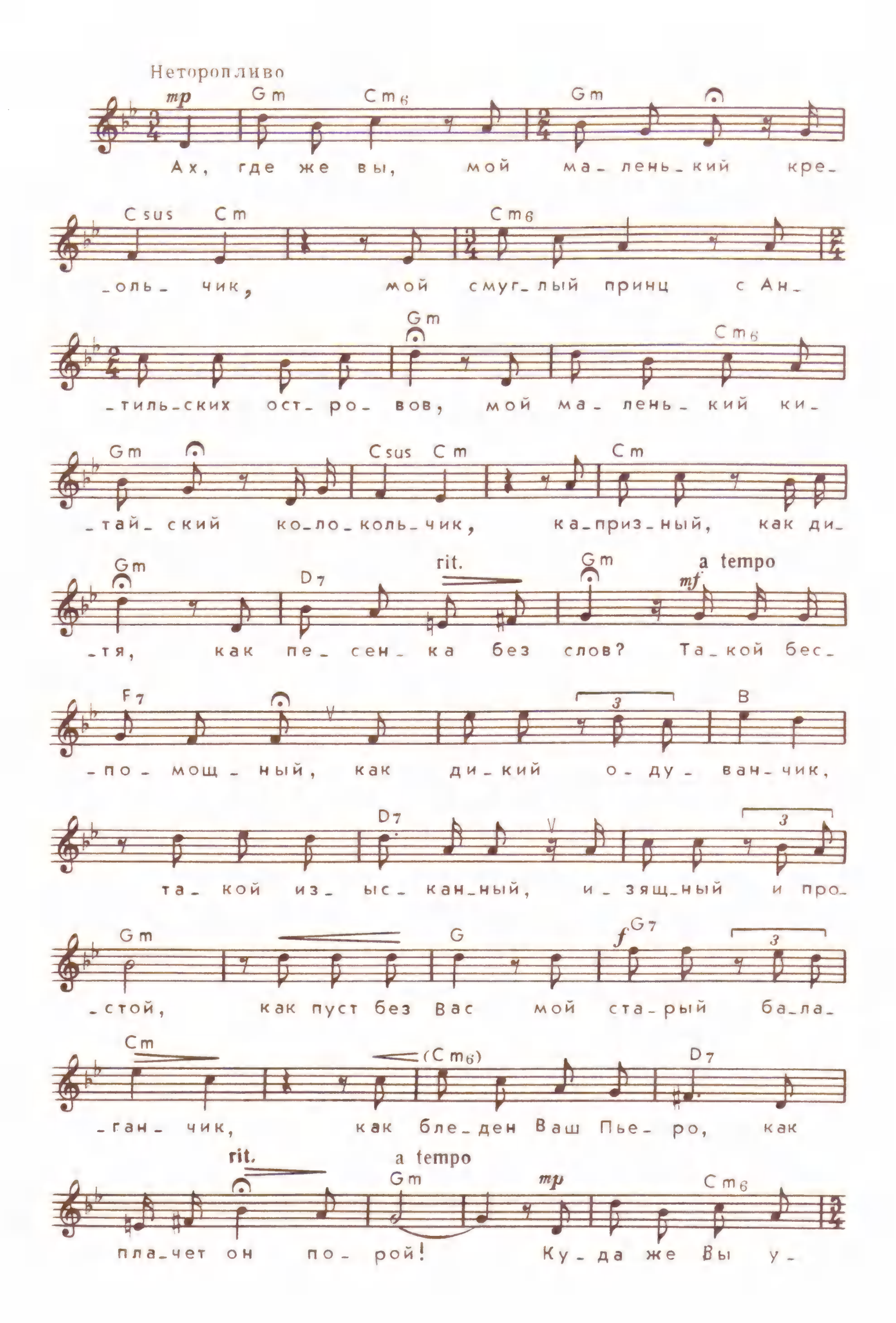
МАЛЕНЬКИЙ КРЕОЛЬЧИК

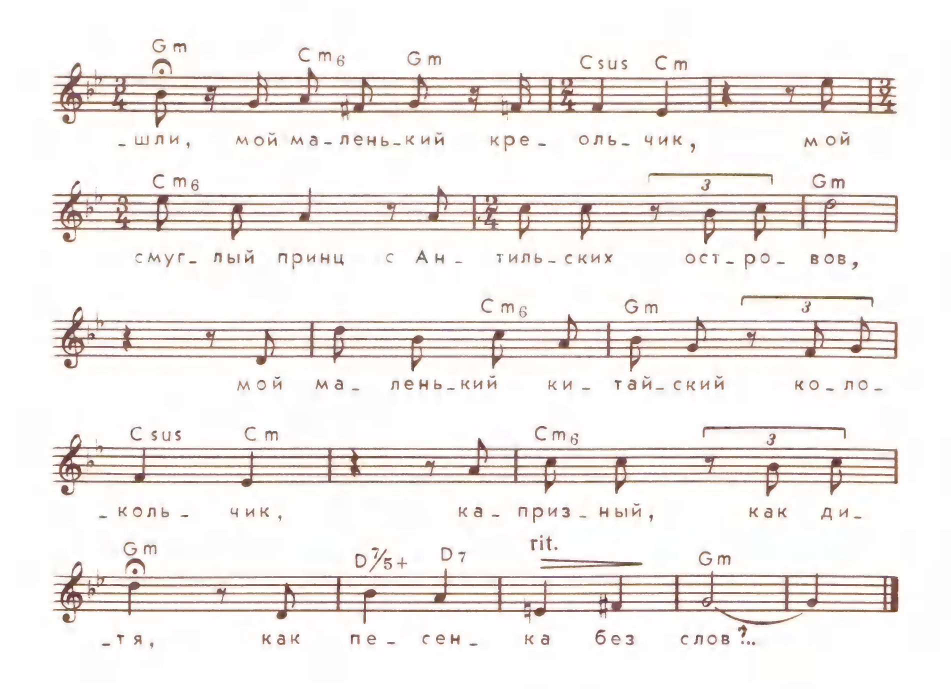
Вере Холодной

Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?

Такой беспомощный, как дикий одуванчик,
Такой изысканный, изящный и простой,
Как пуст без Вас мой старый балаганчик,
Как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой!

Куда же Вы ушли, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?..


Неторопливо
mp
Gm Cm6 Gm
Ах, где же вы, мой ма_лень_кий кре_
Csus Cm Cm6
оль чик, мой смуг_лый принц с Ан_
Gm Cm6
_тиль_ских ост_ ро_ вов, мой ма_ лень_ кий ки_
Gm Csus Cm Cm
тай ский ко_ло_ коль_чик, ка_приз_ный, как ди_
Gm D7 rit. Gm a tempo mf
тя, как пе сен_ ка без слов? Та_кой бес_
F7 B
_по_ мощ_ ный, как ди_кий о_ ду_ ван_чик,
D7
та_ кой из_ ыс_ кан_ный, и_ зящ_ный и про_
Gm G f G7
_стой, как пуст без Вас мой ста_рый ба_ла_
Cm (Cm6) D7
ган чик, как бле_ден Ваш Пье_ ро, как
rit. a tempo Gm mp Cm6
пла_чет он по_ рой! Ку_да же Вы у_



ВАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХНУТ ЛАДАНОМ
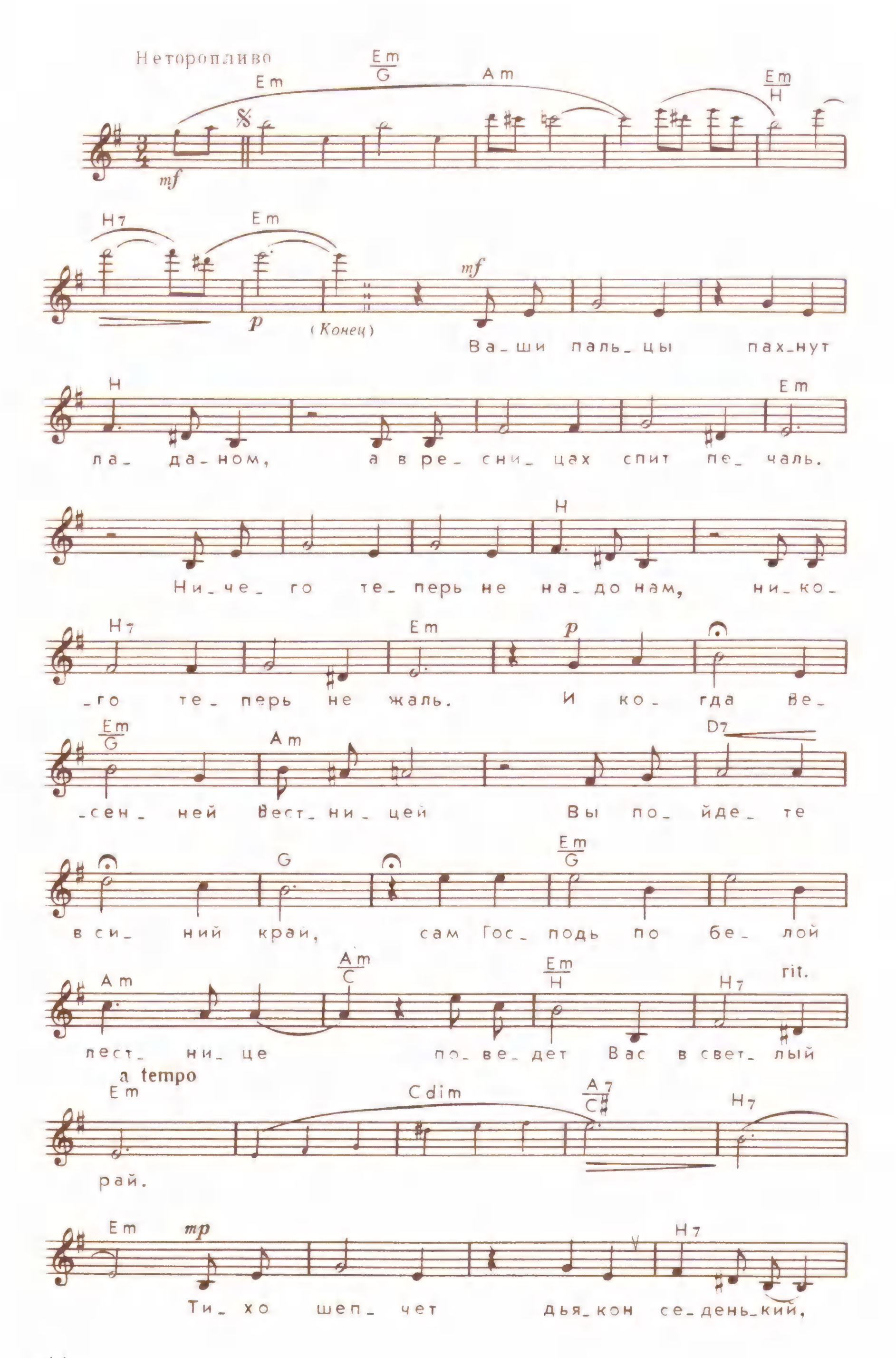
Вере Холодной
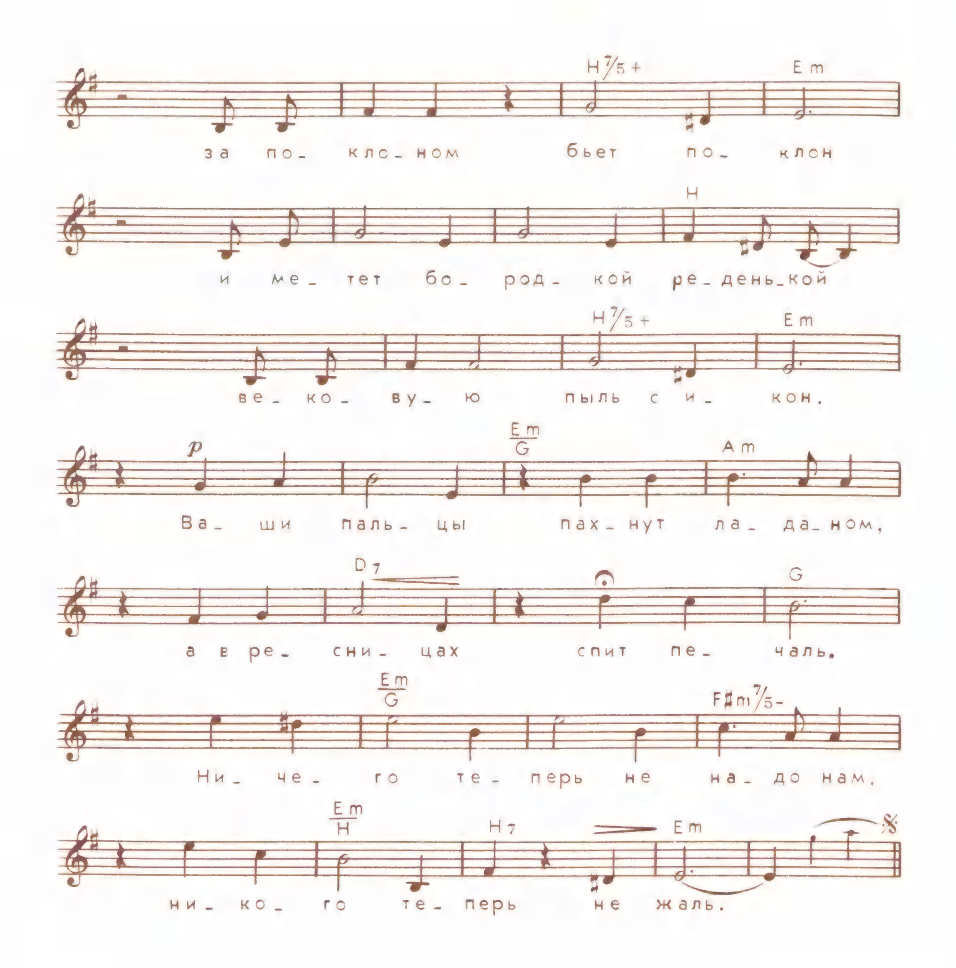
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.

И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай.

Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.


Неторопливо
Em
Em/G
Am
Em/H
mf
H7
Em
p
(Конец)
mf
Ва_ши паль_цы пах_нут
H
Em
ла_ да_ном, а в ре_ сни_ цах спит пе_ чаль.
H
Ни_че_ го те_ перь не на_до нам, ни_ко_
H7
Em
p
_го те_ перь не жаль. И ко_ гда ве_
Em/G
Am
D7
сен ней вест_ ни_ цей Вы по_ йде_ те
G
Em/G
в си_ ний край, сам Гос_ подь по бе_ лой
Am
Am/C
Em/H
H7
rit.
лест_ ни_ це по_ве_ дет Вас в свет_ лый
a tempo
Em
Cdim
A7/C♯
H7
рай.
Em
mp
H7
Ти_ хо шеп_ чет дья_кон се_день_кий,



Гастроли в Тбилиси

Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем только не упрекали меня! Как только меня не поносили и не ругали! Страшно вспомнить. Уже позже, в Киеве, на концерте, какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал:

— Молодежь! Не слушайте его! Он зовет вас к самоубийству!

Молодежь с хохотом стащила его с барьера ложи.

А все потому, что в своей песенке «Кокаинетка» я осмелился сказать:

Так не плачьте ж, не стоит, моя одинокая деточка,
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.
Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой
И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы...

Конечно, это было жестоко и весьма непедагогично. Но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как-то написал на мое выступление, там были слова: «Я еще не знаю, что лучше — некрасовское «позовем-ка ее, да расспросим» или его «и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы...»

В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина-Петипа — бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа,— отправились на гастроли в Тифлис, в сад Общественного собрания. В ее труппе было много разных актеров — Поль, Женя Скован, молодой Покрасс (Аркадий, кажется) и другие.

Гастролером был я.

Однажды в театр пришел пианист Игумнов и сказал Марье Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день, к ужасу своему, снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала:

— Этак вы сорвете мне весь сезон.

Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришел ко мне за кулисы. Мы познакомились. Потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему:

— Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом.

— Почему? — удивленно спросил он.

— Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетантщину? Это же просто издевательство надо мной!

Он улыбнулся.

— Я должен вам заметить,— сказал он,— что искусство двигают вперед почти всегда дилетанты, люди, не связанные никакими канонами.

...Грузины принимали меня очень хорошо. Театр был всегда переполнен, а в день моего бенефиса на сцену вкатили автомобиль, сделанный из цветов, и подарили большой, оправленный серебром, рог. Вечером на Куре был дан в честь меня банкет. Произносились тосты и речи, от которых таяло мое сердце.

По приезде из Грузии, о которой у меня остались самые нежные воспоминания, я снова окунулся с головой в московскую жизнь. Я выступал в различных театрах миниатюр и, наконец, снова водворился в своем милом театрике в Петровских линиях у Марьи Николаевны под крылышком. Театр прочно завоевал московскую публику, и попасть на спектакли было трудно. Назывался он теперь «Театр сольных выступлений».

Я выезжал время от времени на гастроли. Был в Одессе, пел в Петрограде в театре «Павильон де Пари», потом возвращался в Москву и пел сезон на своем обычном месте.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ

Музыка Б. Фомина
в обработке А. Вертинского

Стихи К. Подревского

Ездили на тройках с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Мне б сейчас, соколики, за вами,
Душу б мне развеять от тоски.
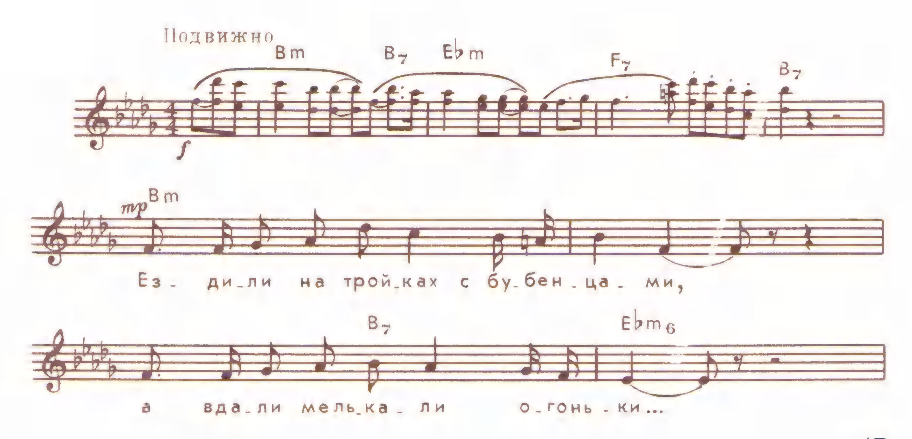
Припев: Дорогой длинною
И ночью лунною,
Да с песней той,
Что в даль летит, звеня,
И с той старинною,
С той семиструнною,
Что по ночам так мучила меня!

Так, живя без радости, без муки,
Помню я ушедшие года
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.

Припев.

Дни идут, печали умножая,
Мне так трудно прошлое забыть.
Как-нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезете хоронить.

Припев.



Bm

Мне б сейчас, со_ко_ ли_ки, за ва_ ми,

E♭m6 C7 ritard. F

ду_шу б мне раз_ве_ять от тос_ки. До_ро_гой

С движением

Bm E♭m

длин_но_ю и ночь_ю лун_но_ю, да с пес_ней

A♭7 D♭

той, что в даль ле_тит, зве_ня, и с той ста_

E♭m Bm 3

_рин_но_ю, с той се_ми_струн_но_ю, что по но_

Подвижно

F7 Bm B7

_чам так му_чи_ла ме_ня!

E♭m F7 Bm

Bm D♭

Так, жи_вя без ра_до_сти, без му_ки,
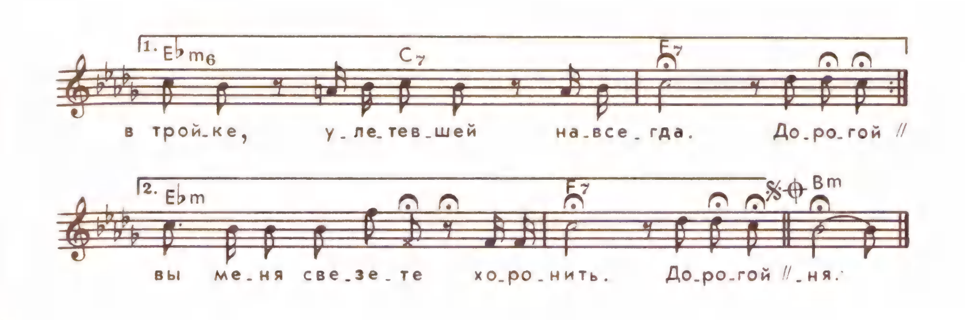
B7 E♭m6

по_мню я у_шед_ши_е го_да

Bm

и тво_и се_ре_бря_ны_е ру_ки





Популярныя пѣсенки въ исполнении

Вертинскаго

Безноженка.
Карликъ маленькій.
Глупая пѣсенка.
Jamais (Жамэ)
Кокаинетка
Оловянное сердце.
Минуточка.
Колыбельная пѣсня.
Лиловый негръ.

То что я долженъ сказать
Фарфоровый пьеро.
Маленькій креольчикъ.
Ваши пальцы пахнутъ ладаномъ.
Песъ Дугласъ.
Балъ Господенъ.
Я сегодня смѣюсь надъ собой
Сердце въ петлицу.

Собственность издателя
Т/д. ДЕТЛАФЪ и К°.

Цѣна каждаго номера 1 р. 25 к.

Песенки А. Вертинского в издании фирмы «Детлаф», 1917 год

Бенефис

...Ко мне за кулисы пришел антрепренер Леонидов. Это была довольно крупная фигура в театральном мире. Он возил по провинции больших гастролеров: Художественный театр, Собинова, Гельцер, Нежданову и даже, кажется, Шаляпина. Приходил он в театр несколько раз, очевидно, приглядываясь ко мне, и однажды спросил меня:

— Ну и что же? Вас удовлетворяет ваше теперешнее положение?

— Нет! — откровенно сознался я.

Он задумался, но ничего больше не сказал.

Я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьезный театральный сезон. Был октябрь 17-го года. Дирекция решила дать мне бенефис. Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро — черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского».

Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы наполнить еще пять театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца-перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр. и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде.

По старому календарю это было 25 октября. День, как вам известно, начала Великой Октябрьской революции.

После бенефиса, в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках: ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках, — я на трех извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе.

Доехав до Страстного, я вдруг отчетливо услыхал звуки выстрелов. Это начиналась революция. На этот раз настоящая. Ее ждали. В «Метрополе» сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы.

Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали:

— Слезай, барин. Дальше не поедем. Стреляют.

Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчикам снести ящики на газоны к памятнику Пушкину и пешком пошел в Грузины.

Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и просмотрите газеты за этот день — 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертинского».

БАЛ ГОСПОДЕН

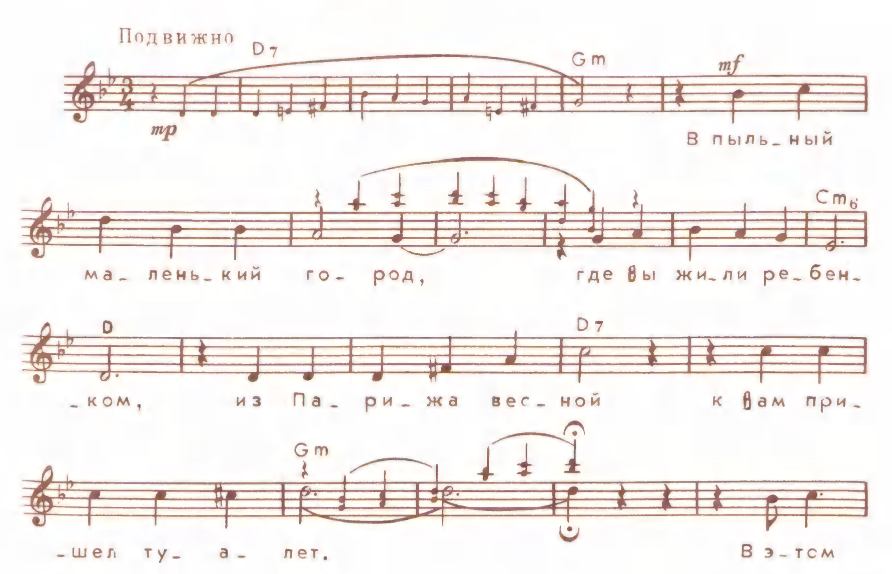
В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком,
Из Парижа весной к Вам пришел туалет.
В этом платье печальном Вы казались Орленком,
Бледным маленьким герцогом сказочных лет…
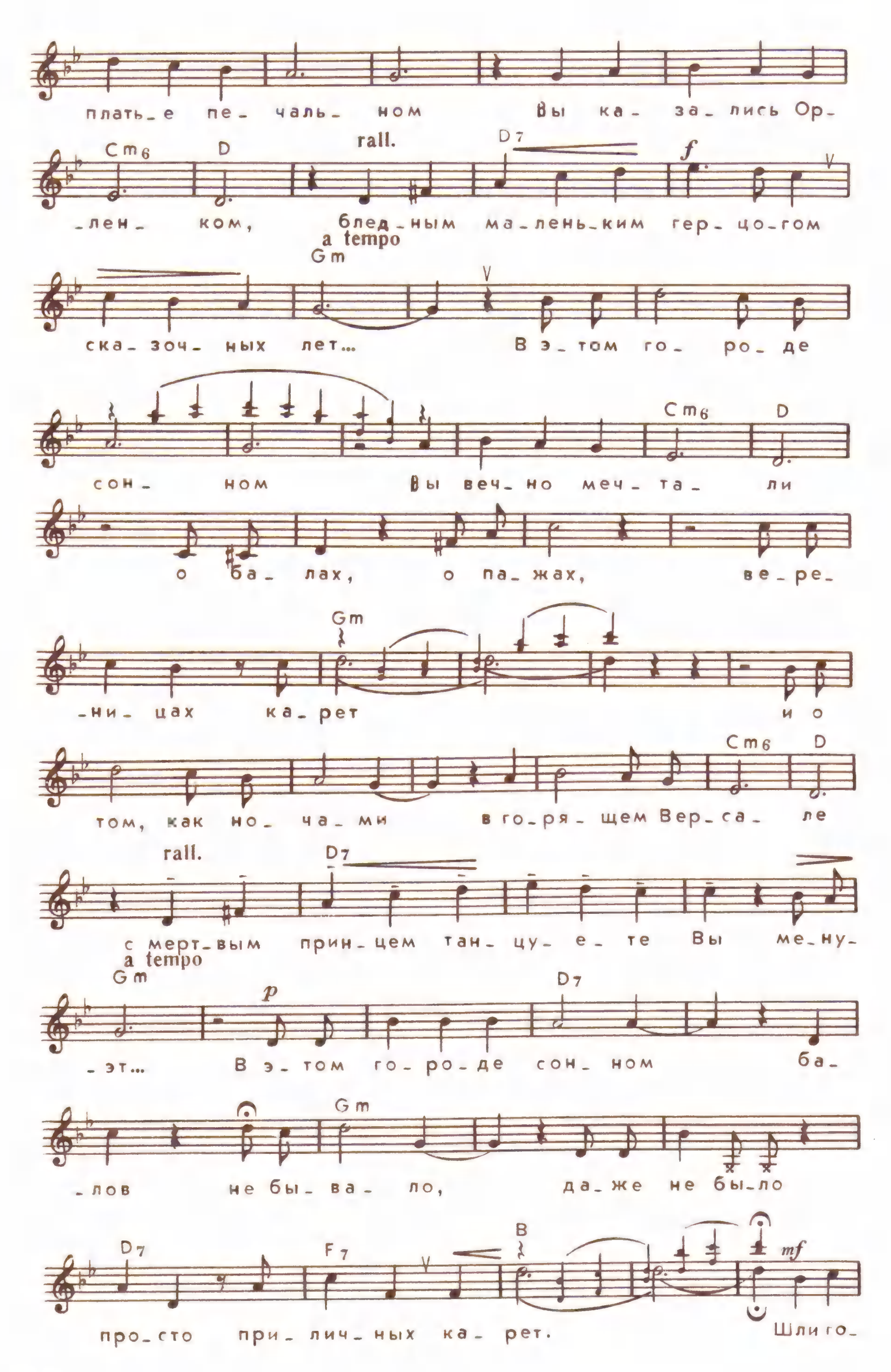
В этом городе сонном Вы вечно мечтали
О балах, о пажах, вереницах карет
И о том, как ночами в горящем Версале
С мертвым принцем танцуете Вы менуэт…
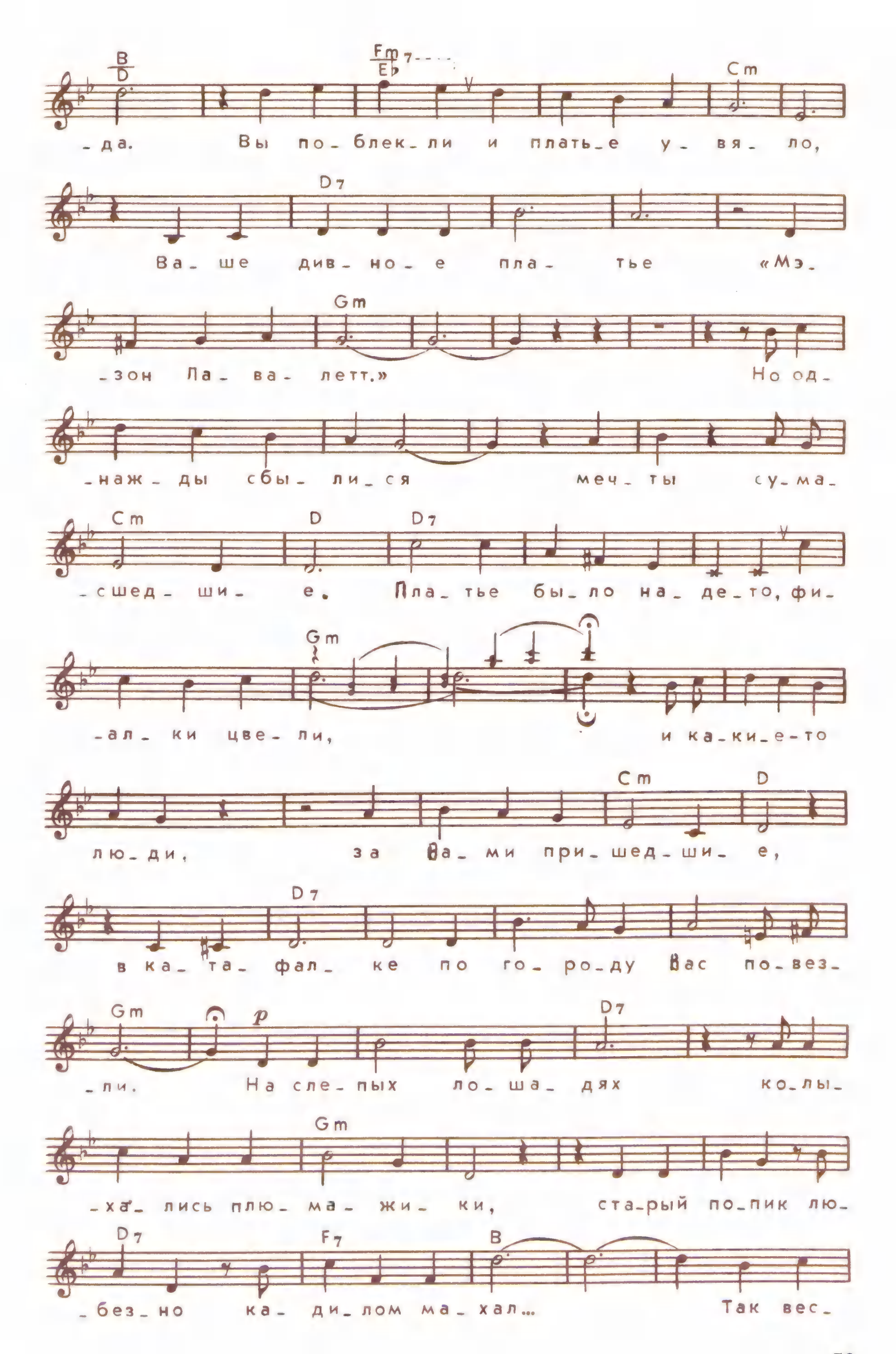
В этом городе сонном балов не бывало,
Даже не было просто приличных карет.
Шли года. Вы поблекли, и платье увяло,
Ваше дивное платье «Мэзон Лавалетт».
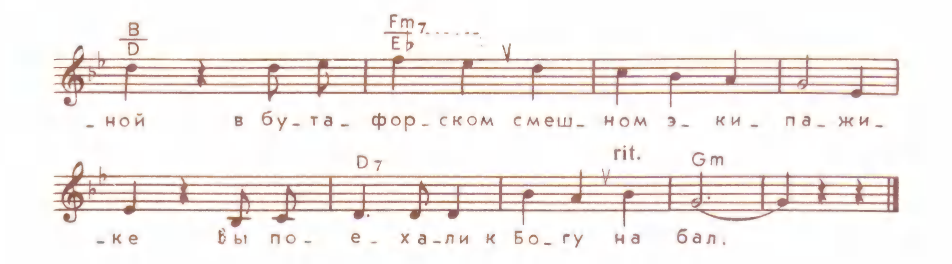
Но однажды сбылися мечты сумасшедшие.
Платье было надето. Фиалки цвели.
И какие-то люди, за Вами пришедшие,
В катафалке по городу Вас повезли.

На слепых лошадях колыхались плюмажики,
Старый попик любезно кадилом махал…
Так весной в бутафорском смешном экипажике
Вы поехали к Богу на бал.




плать-е пе- чаль- ном Вы ка- за- лись Ор-
Cm6 D rall. D7 f
-лен- ком, блед-ным ма-лень-ким гер-цо-гом
a tempo
Gm
ска-зоч- ных лет... В э-том го- ро-де
Cm6 D
сон- ном Вы веч-но меч-та- ли
о ба- лах, о па-жах, ве-ре-
Gm
-ни- цах ка-рет и о
Cm6 D
том, как но- ча-ми в го-ря-щем Вер-са- ле
rall. D7
с мерт-вым прин-цем тан-цу- е- те Вы ме-ну-
a tempo
Gm p D7
-эт... В э-том го-ро-де сон-ном ба-
Gm
-лов не бы-ва- ло, да-же не бы-ло
D7 F7 B mf
про-сто при-лич-ных ка- рет. Шли го-


B/D Fm7/E♭ Cm
_да. Вы по_блек_ли и плать_е у_ вя_ ло,
D7
Ва_ ше див_ но_ е пла_ тье «Мэ_
Gm
зон Ла ва_ летт.» Но од_
_наж_ды сбы_ ли_ся меч_ ты су_ма_
Cm D D7
сшед ши_ е. Пла_тье бы_ло на_де_то, фи_
Gm
_ал_ ки цве_ ли, и ка_ки_е_то
Cm D
лю_ди, за Ва_ ми при_ шед_ ши_ е,
D7
в ка_ та_ фал_ ке по го_ ро_ду Вас по_вез_
Gm p D7
_ли. На сле_пых ло_ ша_ дях ко_лы_
Gm
_ха_ лись плю_ ма_ жи_ ки, ста_рый по_пик лю_
D7 F7 B
без но ка_ ди_ лом ма_ хал… Так вес_



Признание

Однажды Леонидов сказал:

— Я хочу вас попробовать. По-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть?

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что я сниму несколько городов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас концертанта. Солиста. Настоящую артистическую величину. Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите?

Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск в театре, я уехал с ним.

Первый город был Екатеринослав (теперь Днепропетровск). Приехав в город, я прежде всего пошел посмотреть театр. В нем было тысяча двести мест! Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике было триста мест, и то дальше пятого ряда меня уже не было слышно. А тут тысяча двести. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку.

— Я провалюсь! Я не смогу! — убеждал я его. — Марья Николаевна вам все заплатит!

Леонидов был неумолим.

— Падать, так с большого коня! — сказал он… и повел меня в кассу.

Старенькая горбатая кассирша, двадцать пять лет прослужившая в этом театре, сказала мне:

— Сбор полный, но мало того, у меня в театре есть за колоннами десять таких мест, с которых ничего не видно. За двадцать пять лет, что я здесь, в этом театре, они ни разу еще не продавались. На ваш концерт впервые даже эти десять мест проданы!

Ну что было делать? Чтобы еще больше подбодрить меня, Леонидов показал мне две телеграммы. В одной было написано:

«Провал полный. Леонидов». В другой: «Огромный успех! Наша лошадка пришла!»

— Вот,— сказал он,— я заготовил эти две телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью.

И ушел.

Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, которую всегда возил с собой, зажег лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль — репетировать. Начало было в восемь часов вечера.

Кое-как я распелся. Но сердце... нервы... мучительный страх перед публикой... я чувствовал, что не могу владеть собой.

Без четверти восемь я велел принести мне стопку коньяку. Перед открытием занавеса я выпил ее до дна.

И сразу все стало просто. По телу разлился блаженный покой.

«Будь что будет. Все равно,— подумал я.— Падать так падать!»

Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная. Выжидающая, но пока еще недоверчивая. Да... я забыл еще сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Иодко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик — маленький пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый.

Эти выступления расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись еще глотком коньяку, я уже пел увереннее. «Бал господен» тронул, наконец, все сердца. Мне аплодировали довольно много.

Последней была песня «То, что я должен сказать». Я уже был в ударе, что называется. В полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни,— яростно, сильно и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне... Зал задохнулся, потрясенный и испуганный.

Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!..

Я кончил. Думал, что меня разорвут! Зал дрожал от исступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин — все смешалось в один сплошной гул.

Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили...

Я ничего не слышал и ничего не понимал. Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста! Я выдержал его на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу увидел лицо Леонидова.

Он шел ко мне, в глазах у него были слезы.

— Молодец, мальчик! — сказал он, обнимая меня. — Умница! Вот… я рву обе телеграммы и посылаю эту…

Он прочел мне ее: «Успех небывалый. Вертинский победил. Нас можно поздравить! Мы угадали будущего гения. Леонидов.»

С тех пор я стал концертантом.

ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ

Их светлой памяти
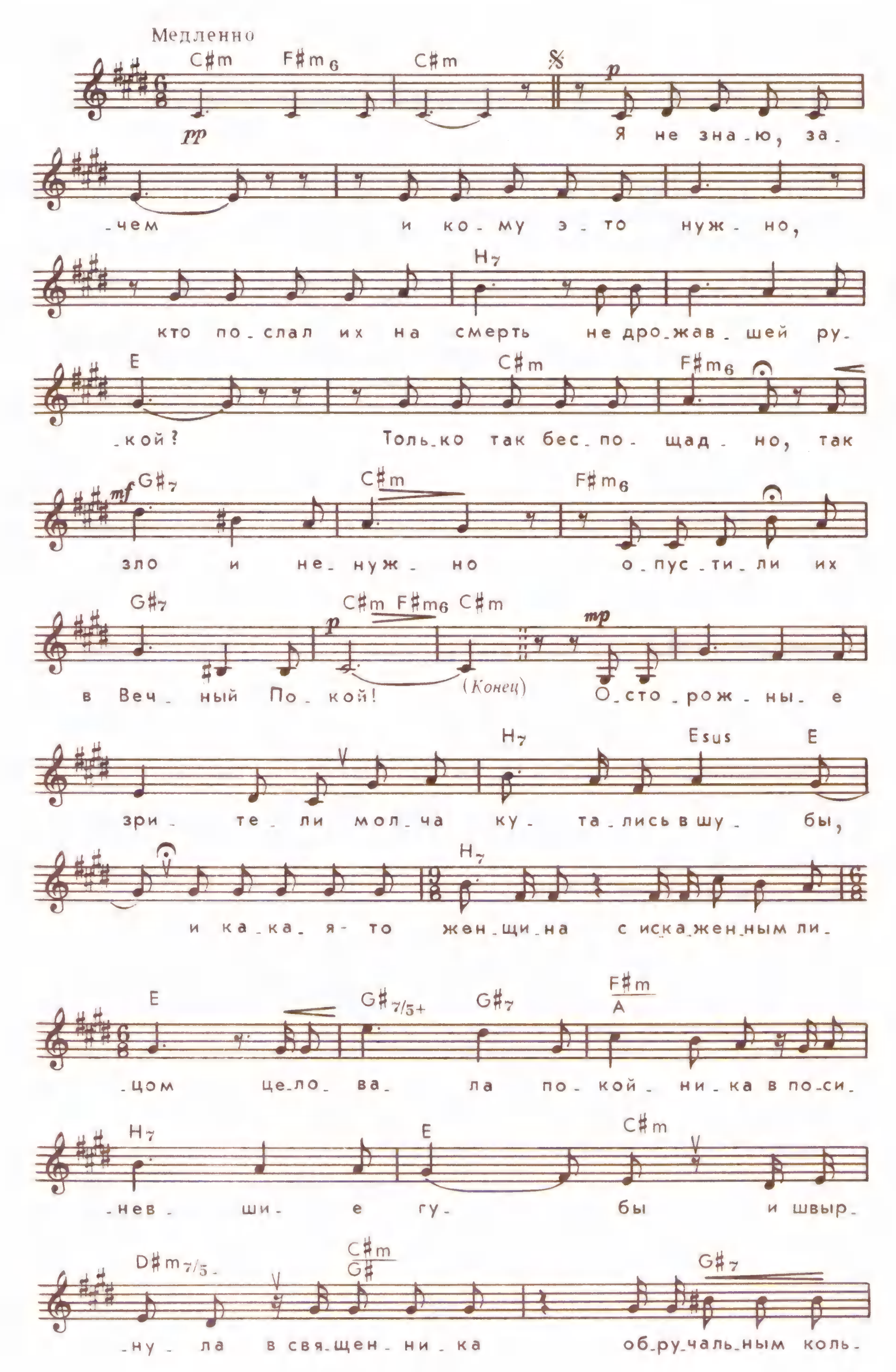
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразию,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти, к недоступной Весне!

Я не знаю, зачем и кому это нужно?
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!


Медленно
C♯m F♯m6 C♯m
pp
p
Я не зна-ю, за-
-чем и ко-му э-то нуж-но,
H7
кто по-слал их на смерть не дро-жав-шей ру-
E C♯m F♯m6
-кой? Толь-ко так бес-по-щад-но, так
mf G♯7 C♯m F♯m6
зло и не-нуж-но о-пус-ти-ли их
G♯7 C♯m F♯m6 C♯m
p
mp
в Веч-ный По-кой! (Конец) О-сто-рож-ны-е
H7 Esus E
зри-те-ли мол-ча ку-та-лись в шу-бы,
H7
и ка-ка-я-то жен-щи-на с иска-жен-ным ли-
E G♯7/5+ G♯7 F♯m/A
-цом це-ло-ва-ла по-кой-ни-ка в по-си-
H7 E C♯m
-нев-ши-е гу-бы и швыр-
D♯m7/5- C♯m/G♯ G♯7
-ну-ла в свя-щен-ни-ка об-ру-чаль-ным коль-



C#m *f* *pp*

цом. За-ки-да-ли их ел-ка-ми,

cresc. H7

за-ме-си-ли их грязь-ю и по-шли по до-

E

мам — под шу-мок тол-ко-вать,

F#m6

что по-ра по-ло-жить бы уж ко-нец без-о-

C#m F#m6 C#m/G#

бра-зи-ю, что и так у-же ско-ро, мол,

G#7 C#m *mp*

мы нач-нем го-ло-дать. И ни-кто не до-

mf H7 E

ду-мал-ся про-сто стать на ко-ле-ни

H7

и ска-зать э-тим маль-чи-кам, что в без-дар-ной стра-

E F#m6

не да-же свет-лы-е под-ви-

G#7 C#m F#m6

ги — э-то толь-ко сту-пе-ни в бес-ко-неч-ны-е

C#m G#7 *p* C#m

про-па-сти, к не-до-ступ-ной Вес-не!



Об Александре Вертинском
(Константин Паустовский)



Сумасшедший шарманщик



Константин ПАУСТОВСКИЙ

Однажды в литературно-артистическом обществе пел Вертинский. До тех пор я не слышал его с эстрады. Я помнил его еще гимназистом, молодым поэтом, писавшим изысканные стихи.

В тот вечер в окна летел особенно крупный снег и, кружась, долетал даже до рояля, отражавшего многоцветную люстру. Канонада заметно приблизилась. От нее звенели бокалы на столиках. Этот тревожный плач стекла как бы предупреждал людей об опасности. Но за столиками курили, спорили, чокались и смеялись. Особенно заразительно смеялась молодая женщина в вечернем платье, с узкими, как у египтянки, глазами. Снег таял у нее на обнаженной спине, и каждый раз она вздрагивала и оглядывалась, как будто хотела увидеть этот тающий снег.

На эстраду вышел Вертинский в черном фраке. Он был высок, сухощав и непомерно бледен. Все стихло. Официанты перестали разносить на подносах кофе, вино и закуски и остановились, выстроившись в шеренгу в глубине зала.

Вертинский сцепил тонкие пальцы, страдальчески вытянул их вниз перед собой и запел. Он пел о юнкерах, убитых незадолго до этого под Киевом в селе Борщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды.

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?

Песня была о похоронах юнкеров. Вертинский закончил ее словами:

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Он пел о подлинном случае, бывшем на похоронах юнкеров.

Загремели аплодисменты. Вертинский поклонился. Пьяный офицер, сидевший за дальним столиком, тупо крикнул:

— Пой «Боже, царя храни»!

Поднялся шум. Худой старик с острой трясущейся бородкой, в пенсне и блестящем от старости пиджаке бросился к офицеру. Человек этот был похож на учителя. Он начал стучать по мраморному столику офицера маленькими худыми кулаками и кричать, брызгая слюной:

— Гвардейская нечисть! Как вы смеете оскорблять людей свободной России! Вам место на фронте против большевиков, а не здесь. Ресторанный шаркун!

Все вскочили. Худой старик рвался в драку с офицером, но его схватили за руку и оттащили. Офицер налился черной кровью, медленно встал, отшвырнул ногой стул и схватил за горлышко бутылку.

Официанты бросились к нему. Женщина в вечернем платье вскрикнула и закрыла ладонями лицо.

Вертинский сильно ударил по клавишам и поднял руку. Сразу все стихло.

— Господа! — сказал ясно и надменно Вертинский.— Это просто бездарно!
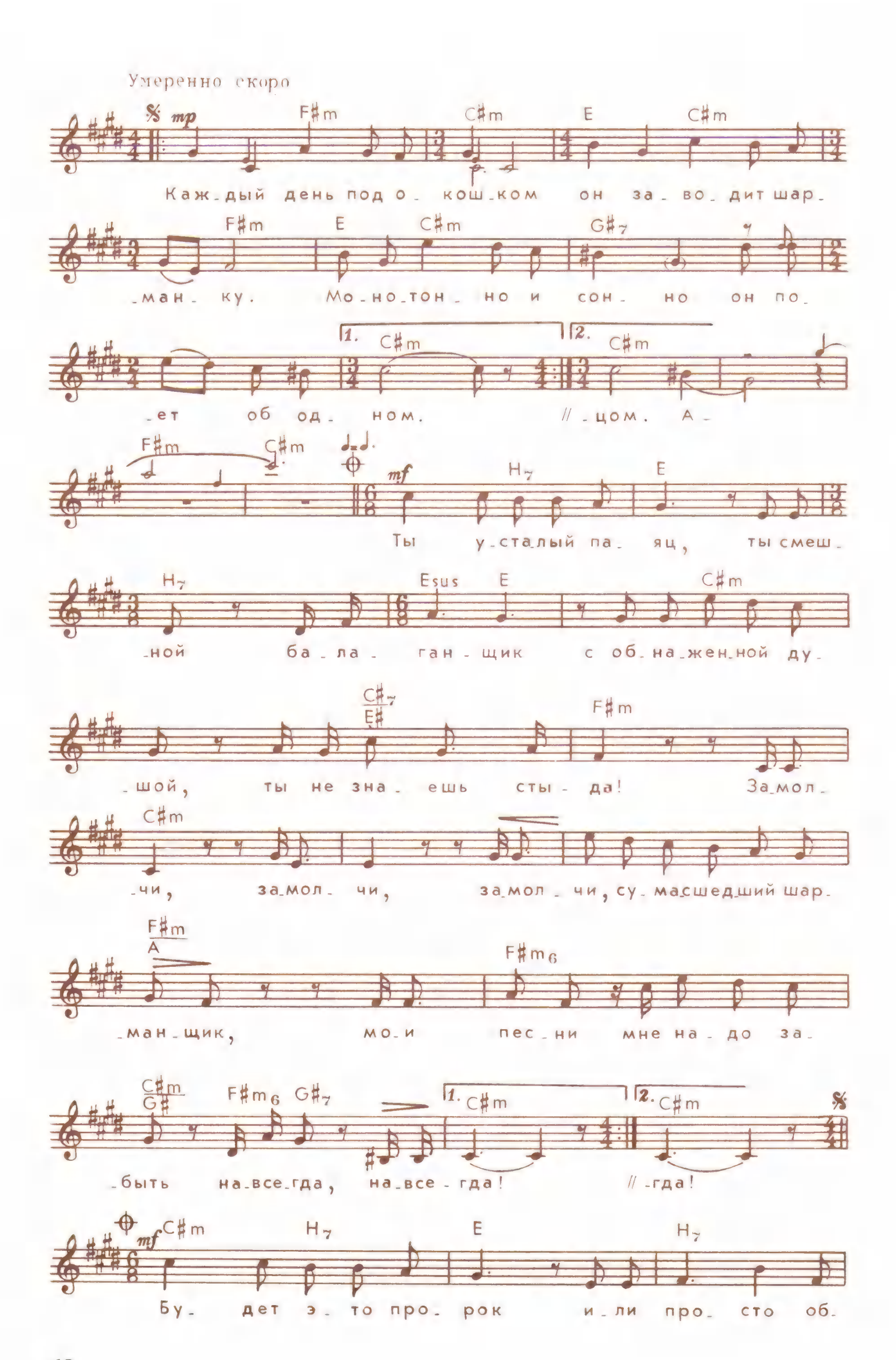
Он повернулся и медленно ушел со сцены.

СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК

Каждый день под окошком он заводит шарманку.
Монотонно и сонно он поет об одном.
Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку,
Пожилую актрису с утомленным лицом.
Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик
С обнаженной душой, ты не знаешь стыда!
Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда!

Мчится бешеный шар и летит в бесконечность,
И смешные букашки облепили его,
Бьются, вьются, жужжат и с расчетом на вечность
Исчезают, как дым, не узнав ничего.
А высоко вверху Время — старый обманщик,
Как пылинки с цветов, с них сдувает года...
Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Этой песни нам лучше не знать никогда, никогда!

Мы — осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас все гонят и гонят ветров табуны.
Кто же нас успокоит, бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь в это царство Весны?
Будет это пророк или просто обманщик,
И в какой только рай нас погонят тогда?..
Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Эту песнь мы не можем забыть никогда, никогда!


Умеренно скоро
mp
F♯m C♯m E C♯m
Каж_дый день под о_ кош_ком он за_ во_ дит шар_
F♯m E C♯m G♯7
ман ку. Мо_но_тон_ но и сон_ но он по_
1. C♯m 2. C♯m
_ет об од_ ном. // _цом. А_
F♯m C♯m
mf H7 E
Ты у_сталый па_ яц, ты смеш_
H7 Esus E C♯m
_ной ба_ла_ ган_ щик с об_на_жен_ной ду_
C♯7/E♯ F♯m
шой, ты не зна ешь сты_ да! За_мол_
C♯m
_чи, за_мол_ чи, за_мол_ чи, су_ма_сшед_ший шар_
F♯m/A F♯m6
_ман_щик, мо_и пес_ни мне на_до за_
C♯m/G♯ F♯m6 G♯7 1. C♯m 2. C♯m
_быть на_все_гда, на_все_гда! // _гда!
mf C♯m H7 E H7
Бу_ дет э_ то про_ рок и_ли про_ сто об_

-ман-щик, и в ка-кой толь-ко рай нас по-го-нят то-

-гда?.. Замол-чи, замол-чи, замол-

-чи, су-ма-сшед-ший шар-ман-щик, э-ту

песнь мы не мо-жем за-быть ни-ко-гда, ни-ко-гда!

Песенки А. Вертинского в издании фирмы «Детлаф», 1917 год

Из интервью и бесед
(Одесса, 1918 г.)



Мадам, уже падают листья



ОДЕССА, 1918 год

«Вдумчивые, скорбные нотки слышались в его голосе, когда он рассказывал о своих первых шагах...

— Когда обо мне говорят: «счастье этому Вертинскому: пропоет вечер — три тысячи... успех...» — когда я это слышу, мне делается немного обидно. Ведь они не знают, какою ценою достался мне этот успех. Разве я мог бы «выдумать» мои песенки, если бы я не прошел трудную и тяжелую жизненную школу, если бы я не выстрадал их...

Мне 29 лет. И последние годы успеха мне стоили целых 26 лет — ужасных беспощадных лет унижений, голодовок, скитаний по театрам в качестве маленького актера... Сбега́л через окно квартиры — за отсутствием денег для уплаты за неё. Ночевал часто под открытым небом, где попало. Ходил в один из монастырей, чтобы там накормили меня обедом, денег ни копейки не было. Но все это было пустяками по сравнению с нравственными страданиями.

Одно время я целый год страдал от злоупотреблений кокаином. Это чуть не кончилось манией преследования, уже дававшей было себя знать.

Я ушел на фронт, там я избавился от страсти к кокаину.

После двухлетнего пребывания на фронте я вернулся и впервые выступил с песенками в Москве. Здесь мне впервые «повезло»...»

«По приезде в Одессу Вертинский заметно волновался — как встретит его публика?

В день первого выступления в «Гротеске», собираясь на концерт, он говорил:

— Я почему-то боюсь Одессы... Она слишком капризна... И потом...

Он печально улыбнулся:

— Хотите, я расскажу Вам маленькую сказочку... или — анекдот. Выдуманный мною и обо мне:

— Однажды доложили Богу:

— Есть на войне — солдат Вертинский. Он добровольно посвятил себя делам милосердия. Он сделал 30.000 одних только перевязок раненым — за два года своего пребывания на войне. Он много выстрадал. И много добра сделал другим...

— А кто он такой? — спросил Бог.

— Он артист.

— Артист? Отпустить ему 30.000 аплодисментов.

И вот, вскоре после этого я стал получать эти аплодисменты.

Но всякий раз, выходя на сцену, я волнуюсь и говорю себе:

— А если сегодня все отпущенные мне аплодисменты — кончились? Вдруг я уже получил все заслуженное... и больше не получу ни одного хлопка?

Может быть, поэтому — я так волнуюсь перед каждым новым выступлением... По-вашему, это наивно и смешно?

Но я верю этому, выдуманному мною анекдоту... Как вы находите его?

— Лирический немного.

— Да? Но он к тому же и трагический.

Вертинский искренен в своем «анекдоте».

Он религиозен и даже — суеверен.

Перед выходом он всегда нервничает до ужаса. Но эта нервность, пожалуй, даже нужна для его жанра. Будучи спокойным, невозможно передать глубину трагизма его ариетт.

— Я боюсь пользоваться хорошими условиями жизни. Тогда я успокоюсь, «осяду», спущусь. И не смогу петь свои песенки. И поэтому я умышленно взял себе тяжелый крест в жизни. И несу его. Это нужно...

Он не договорил и задумался...»

«Вертинский не удивлялся, слыша, что многие не понимают его жанра.

— Мой жанр не всем понятен. Но он понятен тем, кто много перенес, пережил немало утрат и душевных трагедий, кто, наконец, пережил ужасы скитаний, мучений в тесных улицах города, кто узнал притоны с умершими духовно людьми, кто был подвержен наркозам и кто не знал спокойной, застылой «уютной жизни»...»

МАДАМ, УЖЕ ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ...

На солнечном пляже в июне
В своих голубых пижама
Девчонка, звезда и шалунья, —
Она меня сводит с ума.
Под синий berceuse* океана
На желто-лимонном песке,
Настойчиво, нежно и рьяно
Я ей напеваю в тоске:

«Мадам, уже песни пропеты!
Мне нечего больше сказать!
В такое волшебное лето
Не надо так долго терзать!

Я жду Вас, как сна голубого!
Я гибну в любовном огне!
Когда же Вы скажете слово,
Когда Вы придете ко мне?»

---

* Колыбельная песня (франц.)

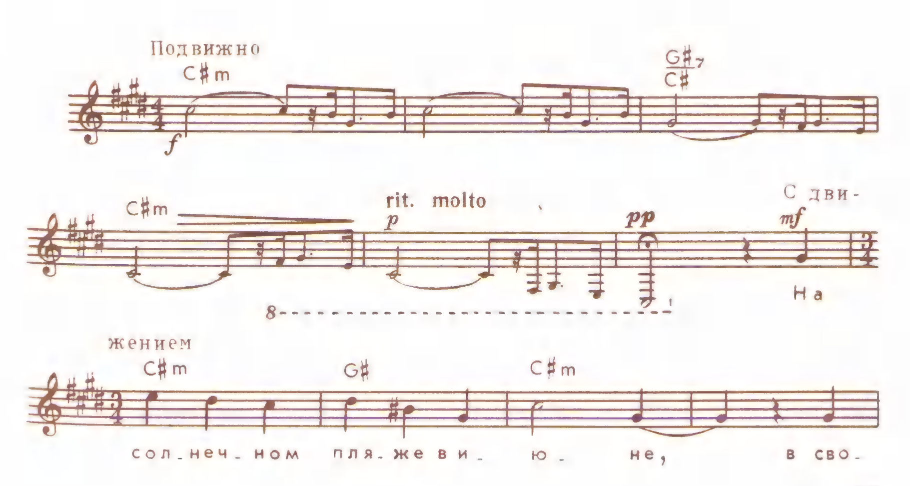
И взглядом играя лукаво,
Роняет она на ходу:
«Вас слишком испортила слава.
А впрочем… Вы ждите… Приду..»
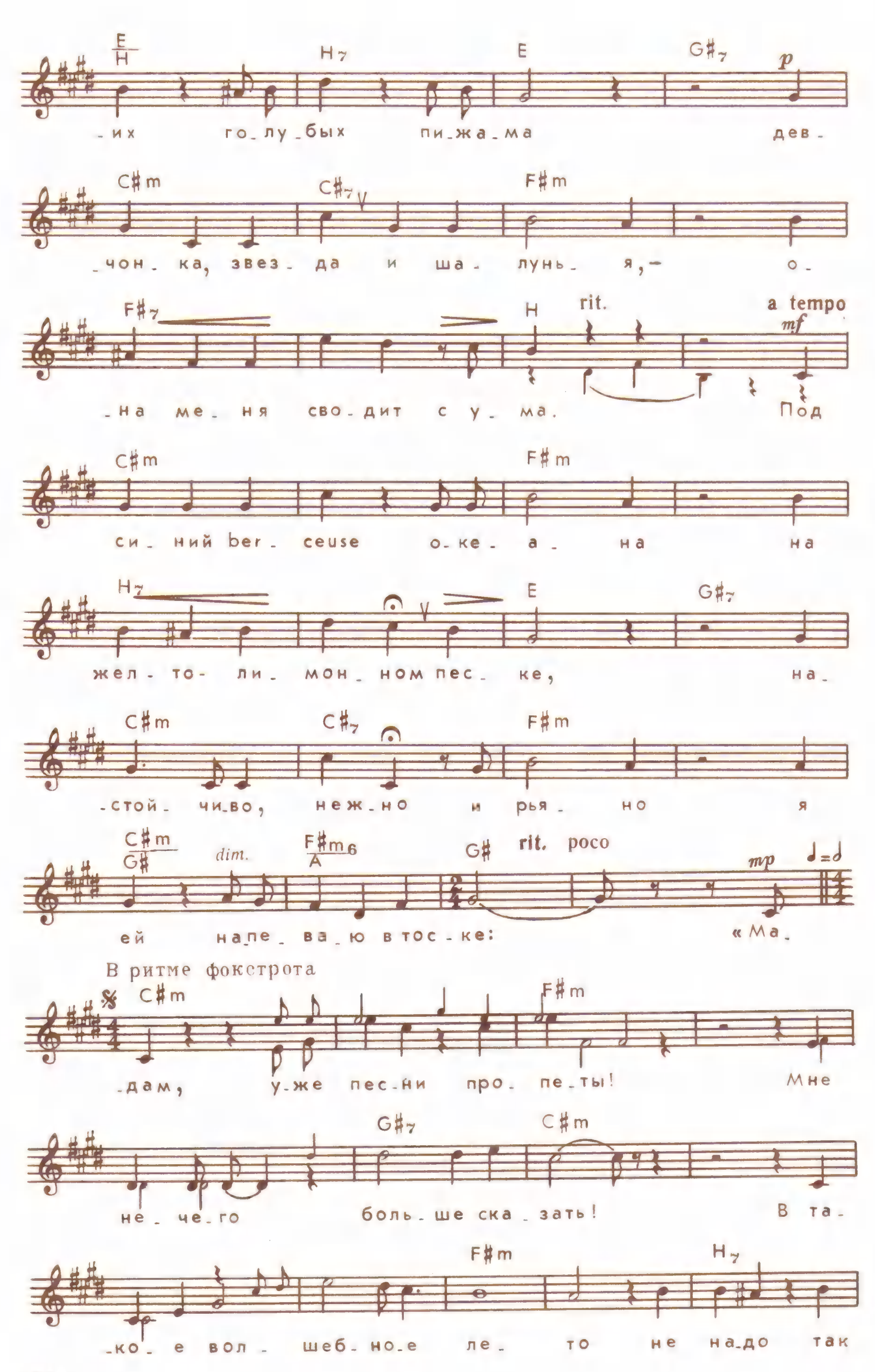
Потом опустели террасы
И с пляжа кабинки свезли.
И даже рыбачьи баркасы
В далекое море ушли.
А птицы так грустно и нежно
Прощались со мной на заре, —
И вот уж совсем безнадежно
Я ей говорил в октябре:
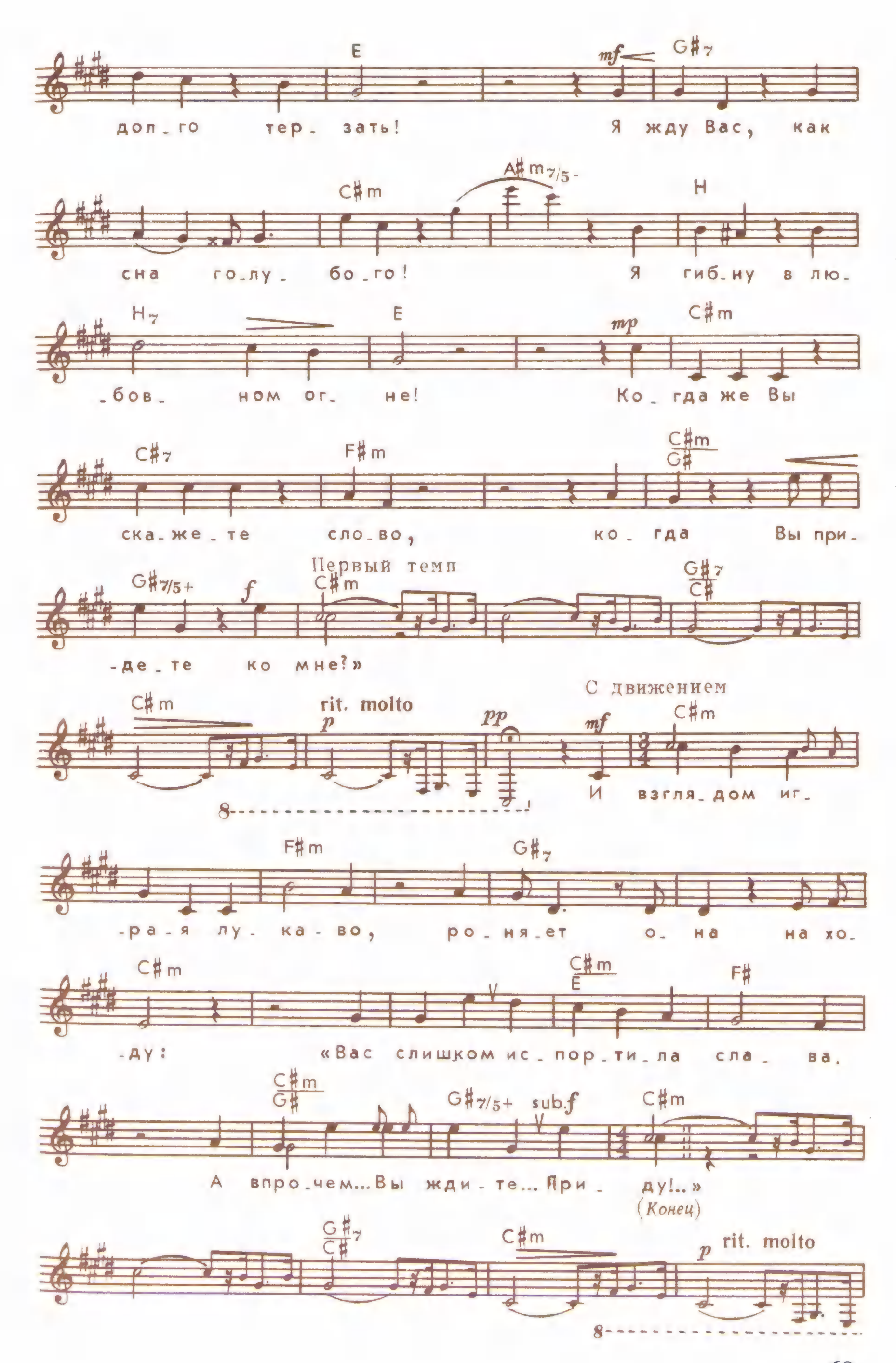
«Мадам, уже падают листья!
И осень в смертельном бреду.
Уже виноградные кисти
Желтеют в забытом саду.

Я жду Вас, как сна голубого,
Я гибну в осеннем огне,
Когда же Вы скажете слово,
Когда Вы придете ко мне?»

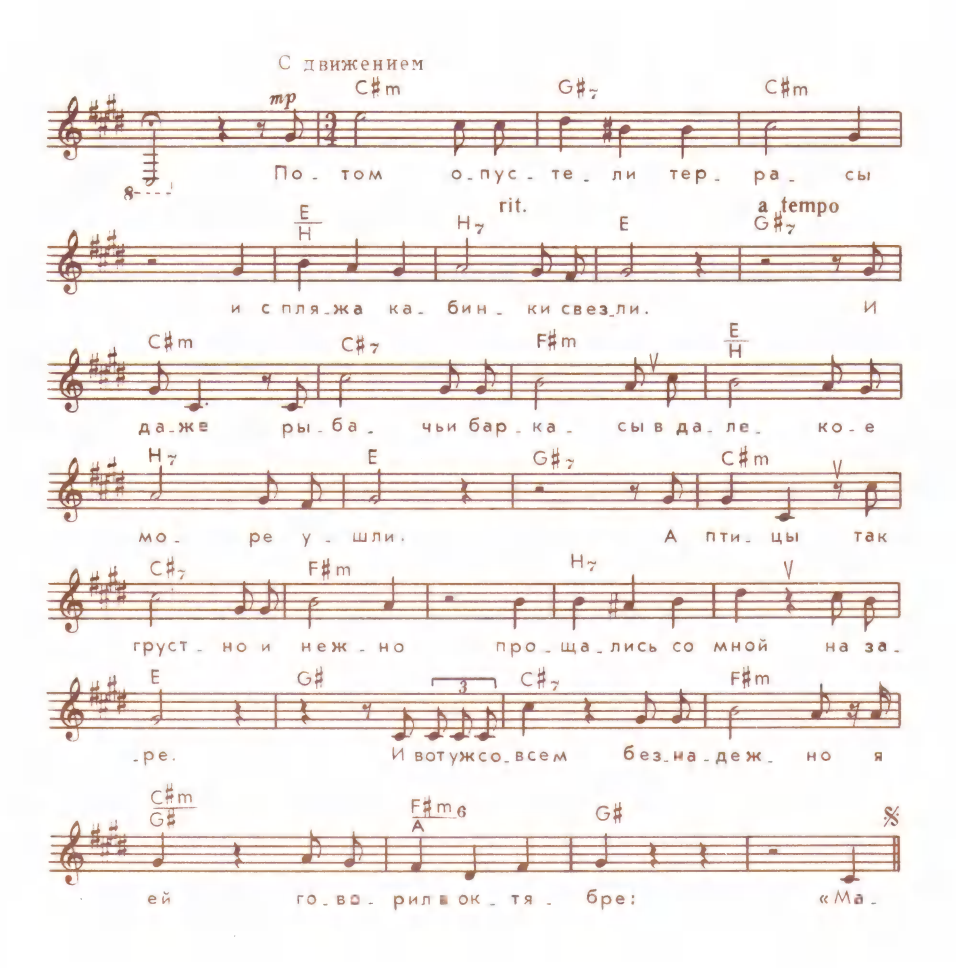
И взгляд опуская устало,
Шепнула она, как в бреду:
«Я Вас слишком долго желала,
Я к Вам никогда не приду!»




E/H H7 E G#7 p
-их го_лу_бых пи_жа_ма дев-
C#m C#7 F#m
-чон_ка, звез_да и ша_лунь_я,- о-
F#7 H rit. a tempo mf
-на ме_ня сво_дит с у_ма. Под
C#m F#m
си_ний ber_ceuse о_ке_а_на на
H7 E G#7
жел_то_ли_мон_ном пес_ке, на-
C#m C#7 F#m
-стой_чи_во, неж_но и рья_но я
C#m/G# dim. F#m6/A G# rit. poco mp
ей на_пе_ва_ю в тос_ке: «Ма-
В ритме фокстрота
C#m F#m
-дам, у_же пес_ни про_пе_ты! Мне
G#7 C#m
не_че_го боль_ше ска_зать! В та-
F#m H7
-ко_е вол_шеб_но_е ле_то не на_до так



E
mf
G♯7
дол_го тер_ зать! Я жду Вас, как
A♯m7/5-
C♯m
H
сна го_лу_ бо_го! Я гиб_ну в лю_
H7
E
mp
C♯m
бов ном ог_ не! Ко_гда же Вы
C♯7
F♯m
C♯m
G♯
ска_же_те сло_во, ко_ гда Вы при_
Первый темп
G♯7/5+
f
C♯m
G♯7
C♯
_де_те ко мне?»
С движением
C♯m
rit. molto
p
pp
mf
C♯m
И взгля_дом иг_
F♯m
G♯7
_ра_я лу_ ка_во, ро_ня_ет о_ на на хо_
C♯m
C♯m
E
F♯
_ду: «Вас слишком ис_пор_ти_ла сла_ ва.
C♯m
G♯
G♯7/5+
sub.f
C♯m
А впро_чем... Вы жди_те... При_ ду!..»
(Конец)
G♯7
C♯
C♯m
p
rit. molto


С движением
mp
C#m G#7 C#m
По_ том о_пус_те_ли тер_ ра_ сы
rit. a tempo
E/H H7 E G#7
и с пля_жа ка_ бин_ ки свез_ли. И
C#m C#7 F#m E/H
да_же ры_ба_ чьи бар_ка_ сы в да_ле_ ко_е
H7 E G#7 C#m
мо_ ре у_ шли. А пти_ цы так
C#7 F#m H7
груст_ но и неж_ но про_ща_лись со мной на за_
E G# C#7 F#m
_ре. И вот уж со_всем без_на_деж_ но я
C#m/G# F#m6/A G#
ей го_во_рил в ок_тя_ бре: «Ма_

Александр Вертинский.
ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ



Чужие города



Прощание с Родиной

...Я двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите и скоро оказался в Одессе.

По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска. Это были негры, алжирцы, марокканцы, привезенные французами-оккупантами из жарких и далеких стран,— равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали.

Испуганные обыватели, устрашенные их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они «совсем не страшные и не кусаются», успокоились.

В Одессе было сравнительно спокойно. Город развлекался по мере возможности. Красные были где-то далеко. В кафе, у Робина, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. Всего было вдоволь. Не хватало только вагонов... По улицам ходил городской сумасшедший Марьешец и за стакан кофе «разоблачал» местных богачей, каких-то разбухших от денег греков и евреев.

Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости.

На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой.

Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом стреляли из наганов в люстры.

Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, на гауптвахту.

Вот в это самое время у меня были гастроли в Доме артистов.

Внизу было фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху — маленький игорный зал. Кабаре было для привлечения публики. А центр тяжести находился в игорном зале.

Я пел — в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой — ежевечерне. Там же, при Доме артистов, мне была отведена комната, так как гостиницы были переполнены и достать номер было невозможно.

Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажег свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.

— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащов просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.

— Господа,— взмолился я,— три часа ночи! Я устал! Я хочу отдохнуть!

Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны.

— Его превосходительство изъявил желание видеть вас,— настойчиво повторяли они.

Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.

Через десять минут мы были на вокзале.

В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело десять-двенадцать человек.

Грязные тарелки, бутылки и цветы...

Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащова. Огромная рука протянулась ко мне.

— Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?

— Нет, благодарю вас.

— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!

Справа от него встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь,— хрипло бросил Слащов.

— Юнкер Ничволодов.

Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.

Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были маленькие гусиные перышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.

Я внимательно взглянул на Слащова. Меня поразило его лицо.

Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы.

Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками.

Я выпил вина.

— Спойте мне, милый, эту...— Он задумался.— О мальчиках... «Я не знаю, зачем...»

Его лицо стало на миг живым и грустным.

— Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?

На меня глянули серые глаза.

— Мы все помешаны на этой песне,— тихо сказала она.

Я попытался отговориться.

— У меня нет пианиста,— робко возражал я.

— Глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем.

Он взял большую щепотку кокаина.

Я запел. Высокие свечи в бутылках озаряли лицо Слащова — страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.

Я кончил.

— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.

— Чего?

— Да вот... что все эти молодые жизни... псу под хвост! Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит!

Я молчал.

Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку.

— Выпьем, милый Вертинский, за родину! Хотите? Спасибо за песню!

Я выпил. Он встал. Встали и гости.

— Господа! — сказал он, глядя куда-то в окно.— Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! — Он положил руку на мое плечо.— А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было! Он прав.

Гости молчали.

— Вы устали? — тихо спросил Слащов.

— Да... немного.

Он сделал знак адъютантам.

— Проводите Александра Николаевича!

Адъютанты подали мне пальто.

— Не сердитесь,— улыбаясь, сказал он.— У меня так редко бывают минуты отдыха... Вы отсюда куда едете?

— В Севастополь.

— Ну, увидимся. Прощайте.

Слащов подал мне руку.

Я вышел.

Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз...

Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезали с горизонта. Оставались простые, серые фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые и растрепанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром.

брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.

Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его убрали. Все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.

Под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные и кое-как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кто-то застрелился, кто-то перешел к красным, кто-то исчез в неизвестном направлении.

Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные и исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить.

Спали всюду: на бульварных скамейках, в вестибюлях гостиниц и прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму были теплые. А те, кто еще носил форму — отпускные, командированные в тыл, — по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мертвого и этим ограничивались.

Высокие, худые, как жерди, великосветские дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы, с длинными, породистыми, лошадиными лицами, некрасивые и надменные, продавали на черном рынке по утрам свои фрейлинские брильянтовые шифры и фамильные драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах. Спекулянты платили им «колокольчиками» — крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать.

Днем они толклись в посольствах и консульствах иностранных держав — в коридорах — в какой-то тайной надежде на что-то, в учреждениях, бюро и комитетах, где вовсю торговали пропусками, где за приличные деньги можно было купить паспорт любой иностранной державы. Их было видно отовсюду. Котиковый сак. Тюрбан на голове. Заплаканные глаза и мольба: «Визу на Варну!», «В Чехию, в Сербию, в Турцию!» Куда угодно! Только бежать!.. Они не мылись неделями, спали не раздеваясь.

От них шел одуряющий запах пронзительного Лоригана Коти, перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом.

В небольшом театрике «Ренессанс», где еще играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило сто тысяч. Все исчислялось в миллионах, или «лимонах», как их называли.

Поэт Николай Агнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами — сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России:

Церкви — на стойла, иконы — на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святый Боже, святый — крепкий,
Святый — бессмертный, помилуй нас!

Аркадий Аверченко точил свои «Ножи в спину революции». «Ножи» точились плохо. Было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали.

По ночам в ресторанах и кабаре, где подавали особы женского пола весьма сомнительного вида, пьяное белое офицерье, пропивая награбленное, стреляло из револьверов в потолок, в хрустальные люстры и пело «Боже, царя храни», заставляя публику вставать под дулами револьверов.

В гостинице Киста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братия. Там жили актеры, кое-кто из писателей и бесконечное количество дам.

По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя.

— Тут нет жизни,— восклицал он, всплескивая ручками.— Надо ехать на фгонт! Это безобгазие!

Однако сам он ни на какой «фгонт» не ехал. Уговаривать нас он начал еще в Одессе. И теперь докатился до Севастополя. Исчерпав источник патриотического возбуждения, он озабоченно спрашивал у меня:

— Скажите, догогой, а где тут хагашо когмят?

— Тут. У Киста,— отвечал я.— Тут же и хорошо, тут же и плохо. Потому что другого места все равно нет…

Перекоп — узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной родины,— еще держался. Его отчаянно и обреченно защищал Слащов. Город кишел контрразведками и консульствами всех национальностей. За деньги можно было купить любой паспорт. Их продавали открыто, как пирожные. Какие-то люди на улицах вслух предлагали вам принять любое подданство.

Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал

мне, Собинову, Барановской и Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на «Рион», большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все, что возможно, чтобы только отделаться от корниловских «колокольчиков». В такие дни на стенах города вдруг появлялись раскаленные приказы генерала Слащова: «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перекоп!»

Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, часа в три приезжал с фронта Слащов со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами. Сходил вниз, пил с ними водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, было грустно, страшно и пусто. Слащов дергался, как марионетка на нитках,— хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол:

— Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!

— Почему семечек? — спрашивал я.

— А я, видишь ли, иду в атаку с семечками в руке! Это развлекает и успокаивает моих мальчиков!

Мы уже были на «ты».

Черноморский матрос Федор Баткин, краснобай, демагог и пустомеля, «выдвиженец» Керенского, кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Люди пожимали плечами и, не дослушав, уходили.

— Визу, визу, визу! Куда угодно! Хоть на край света!

Остальное никого не интересовало. А Слащов уже безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы. С Перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское.

На рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился.

Утром, захватив с собой своего единственного друга, актера Путяту, и пианиста, я уехал из Севастополя.
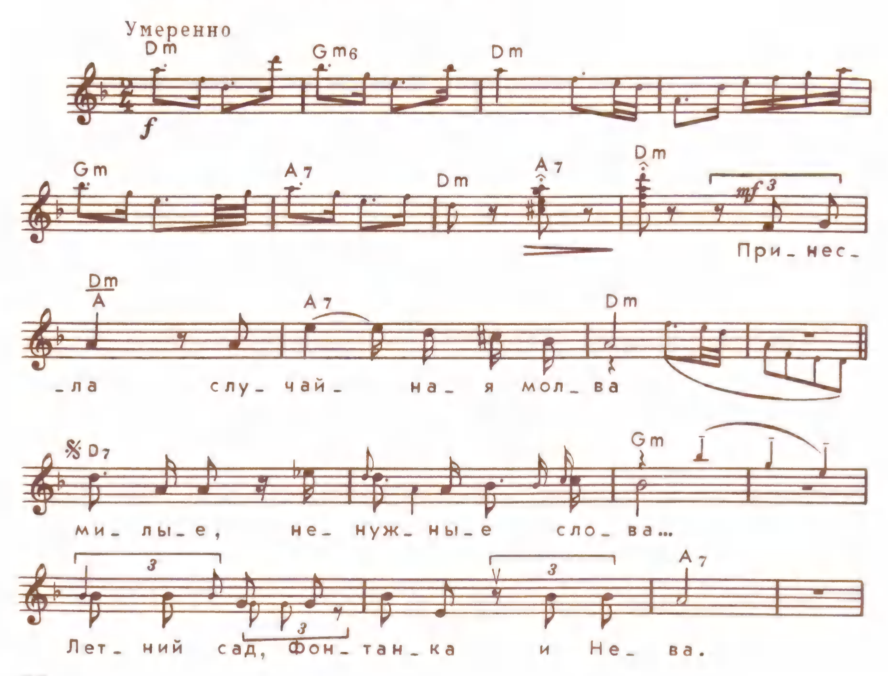
ЧУЖИЕ ГОРОДА

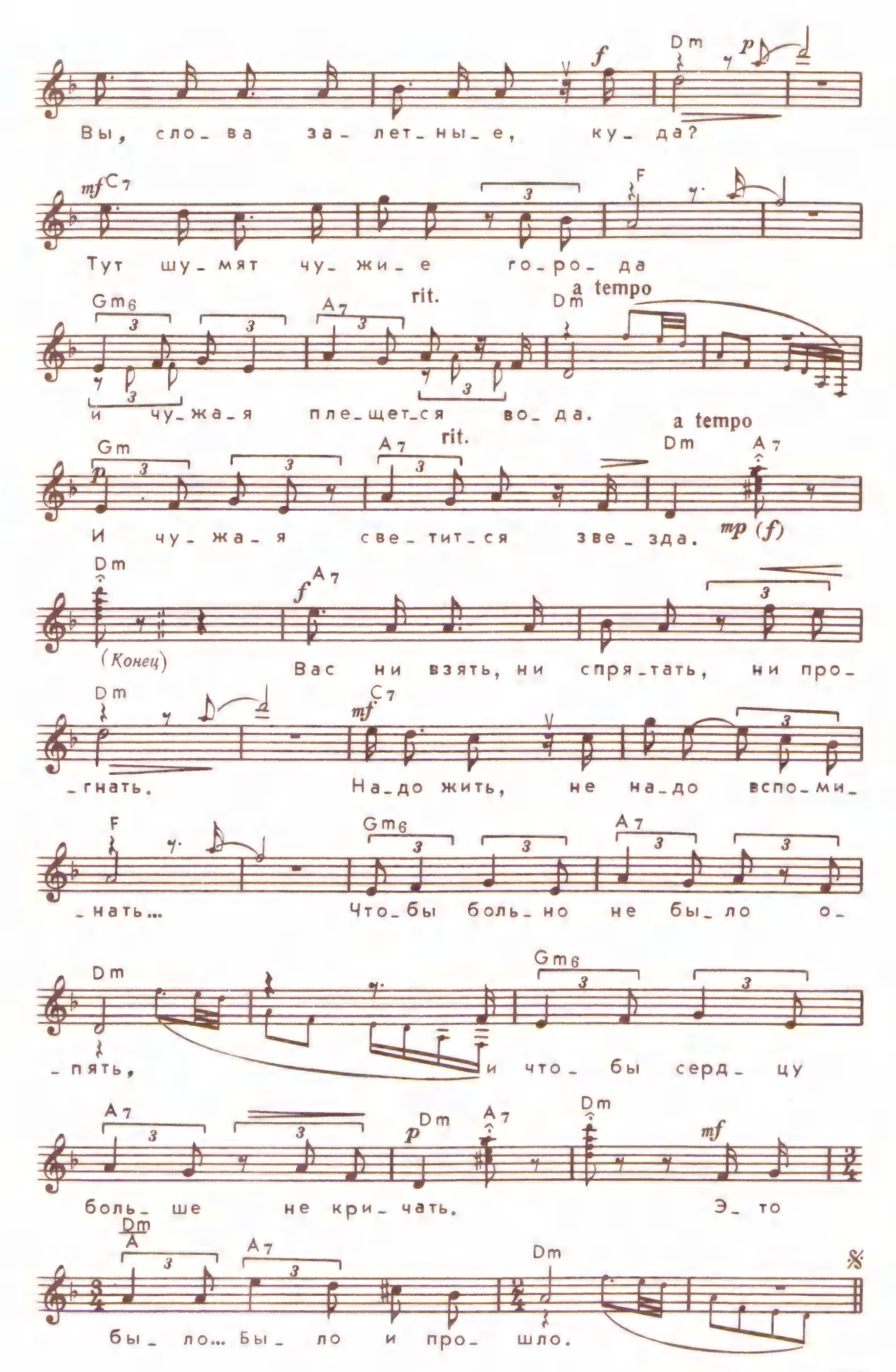
Стихи Р. Блох и А. Вертинского

Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова...
Летний Сад, Фонтанка и Нева.
Вы, слова залетные, куда?
Тут шумят чужие города
И чужая плещется вода.
И чужая светится звезда.

Вас ни взять, ни спрятать, ни прогнать.
Надо жить, не надо вспоминать...
Чтобы больно не было опять
И чтобы сердцу больше не кричать.

Это было... Было и прошло.
Все прошло и вьюгой замело,
Оттого так пусто и светло.
Вы, слова залетные, куда?
Тут живут чужие господа
И чужая радость и беда.
И мы для них чужие навсегда..




f Dm p
Вы, сло_ва за_лет_ны_е, ку_да?
mf C7 3 F
Тут шу_мят чу_жи_е го_ро_да
Gm6 3 3 A7 3 rit. Dm a tempo
и чу_жа_я пле_щет_ся во_да.
Gm 3 3 A7 3 rit. a tempo Dm A7
И чу_жа_я све_тит_ся зве_зда. mp (f)
Dm f A7 3
(Конец) Вас ни взять, ни спря_тать, ни про_
Dm mf C7 3
_гнать. На_до жить, не на_до вспо_ми_
F Gm6 3 3 A7 3 3
_нать... Что_бы боль_но не бы_ло о_
Dm Gm6 3 3
_пять, и что_бы серд_цу
A7 3 3 p Dm A7 Dm mf
боль_ше не кри_чать. Э_то
Dm/A 3 A7 3 Dm
бы_ло... Бы_ло и про_шло.

Александр Вертинский.
ЭМИГРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ



О всех усталых



Эмиграция началась

До сих пор не понимаю, откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного языка, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастеником, совершенно не приспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?..

Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все еще не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел советскую власть? О, нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Ибо убеждений у меня никаких в то время не было.

Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать?

Почему я оторвался от той земли, за которую сегодня легко и радостно отдам свою жизнь, если это будет нужно?

Очевидно, это была просто глупость.

Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, еще не изведанному? Не знаю.

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существования — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется,— может быть, я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которую мне дали эти годы скитания.

Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства перенес я за эти годы!

Это была расплата. Расплата за то, что в один прекрасный день я посмел забыть о родине. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы ее борьбы и испытаний, я ушел от нее. Оторвался от ее берегов.

И вот они уходили, эти берега...

И вот уже новые очертания чужой земли выплывали в утреннем тумане.

Рано утром мы вошли в Босфор.

Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов. Бело-сахарные дворцы. Какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки-камки. Красные фески, море красных фесок. Люди в белом. Солнце. Гортанный говор. И флаги, флаги, флаги. Без конца. Как на параде. Как в праздник!

Большие военные корабли стоят на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют под яркими лучами солнца тысячами бликов.

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатипятилетнее добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался,— я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине!..

Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее как в самом фешенебельном отеле Константинополя «Пера Палас». Разутюжили наши российские «кустюмчики» — знаменитый актерский «гардеробчик», по которому великим постом в бюро антрепренеры оценивали молодых актеров, и... вышли на улицу. На Гранд-рю де-Пера, по которой уже взад и вперед прогуливалось немало наших соотечественников, приехавших раньше нас. Путята даже гвоздичку в петлицу воткнул. Совсем как дома — где-нибудь в Харькове, на Сумской — гуляли.

— Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем?

Приподымались шляпы. Пожимались руки.

— Вы уже обедали? Нет? Ну, зайдем куда-нибудь. Хотите в «Уголок»? Тут русские держат!

Заходили. Выпивали. Закусывали. Разговаривали по душам.

Борщ подавали отменный. Мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное, подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать.

«Ну, откуда же мне знать это?.. — говорили ее глаза.— Я же не привыкла!»

— Горчички? Ах да!.. Забыла... Еще чего хотите?

Смелый, немного беспомощный взгляд, и... улыбки, улыбки без конца...

Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие с непривычки, подвыпившие гости уходили, оставляя «на чай» больше, чем стоил весь обед. Неудобно. Она такая милая!..

Мы с другом тоже оставляли с непривычки много. Но потом спохватились и стали ходить в турецкие кофейни. Это было гораздо дешевле.

Была весна. Город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи гортанных голосов. Щелканье бичей «арабаджи», гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, вопли уличных продавцов, лай собак. Все сливалось в общий гул. На улицах был настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах заполняли город. Шотландцы в юбочках с волынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румы-

ны... Кого только там не было! Все это двигалось, маршировало, играло, пело.

На углу, около кафе Токатлиана, старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из «победителей» толкнул его жаровню — она мешала ему пройти,— и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках, прямо на тротуарах пристраивался «кафеджи» — продавец кофе, чудесного, ароматного турецкого кофе — в маленьких чашечках с наперсток величиной. За пять пиастров он подавался тут же на улице. Вы могли сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, сыгранную бродячим турецким музыкантом, и погрустить о родине.

В Галате можно было посмотреть пляски дервишей, которые кружились в длинных одеждах с босыми ногами в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю.

Раз в году, в большой праздник байрам, мы ходили в Галату смотреть дешевую иллюминацию и бродили по базарам без цели, покупая всякую дрянь.

А посреди базара, широко раскинув руки, лежал без памяти пьяный великан и атлет — наш русский борец матрос Сокол. И никто не смел к нему подойти. Турецкая полиция, маленькая и щуплая, боялась его как огня.

Один раз у Сокола уже было столкновение с полицией. И двадцать полицейских летели от него в стороны, как собаки от дикого кабана. Больше его не трогали...

А в темных прохладных магазинах сидели мудрые седобородые турки, поджав под себя ноги, и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом.

Турецкие женщины, в национальной одежде, с вуалями, закрывавшими пол-лица, обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами диких зверьков.

В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, «долму» и запивали все это «дузикой» — анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные оргáны, вроде наших московских «машин», что когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели, цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод.

По узеньким, кривым, немощеным уличкам и переулкам бегали страшные опаршивевшие собаки и рылись в мусоре, который тут же выбрасывали на тротуар добрые обыватели.

Вскоре в Константинополе объявился и Слащов. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В их числе была и знаменитая Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Он жил в маленьком грязноватом домике где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез.

Кокаин стоил дорого и, лишенный его, Слащов утих, постарел сразу на десять лет.

Разговор вертелся вокруг одной темы — о Врангеле. Слащов его смертельно ненавидел. Он говорил долго, детально и яростно о каких-то приказах своих и его, ссылался на окружающих, клялся, кричал, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля.

Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Всем своим новым, штатским видом он напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из «львов» в «пуделей» и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о красных Слащов ничего дурного не говорил. По-видимому, он уже что-то понял.

Лида, надевшая женское платье, сразу же потеряла всю свою оригинальность. Выглядела она, как учительница или сестра милосердия.

В это время, встретив в городе одного турка, которого я знал по России (он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски), я уговорил его открыть кабаре. Надо же было что-то делать. Кабаре называлось «Черная роза» и сразу привилось с большим успехом. Как-то случайно я рассказал ему о Слащове и о том, что он нуждается. Добрый турок сразу предложил посылать ему хлеб на всю братию (у него была своя булочная) и обеды из нашего ресторана.

Так продолжалось с полгода. Потом я потерял Слащова из виду. Еще через год я ушел из «Черной розы» и пел уже в загородном саду «Стелла». Хозяин его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского «Максима».

Однажды вечером в «Стеллу» приехал Слащов. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. Я подошел к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был «герой Перекопа», как его величали, это был грустный, усталый и старый человек.

Я, конечно, не претендую на точность или значительность своих выводов, но мне кажется, что чувствовал я его все-таки верно. Слащов любил родину. И страдал за нее. По-своему, конечно.

Он предложил мне вина. Мы помолчали.

— А ты ведь действительно что-то знаешь,— вдруг раздумчиво сказал он.— Но и ты ошибся. Как я. Мы все ошиблись, ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись. Мы проглядели самое главное! Мы не имеем права жить!

Он взял в руку деревянную палочку-мешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе.

— Хочешь послушать моего совета? — спросил он.— Возвращайся в Россию!

Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции. Но поправить ошибку я уже не мог.

Вскоре я узнал, что Слащов уехал в Советский Союз, а еще через несколько лет из газет мне стало известно, что его убил рабочий, брат одного из тех, кого он повесил в Джанкое. Просто, встретя на улице, вынул револьвер и убил. Советское правительство присудило его к десяти годам тюрьмы.

Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека...
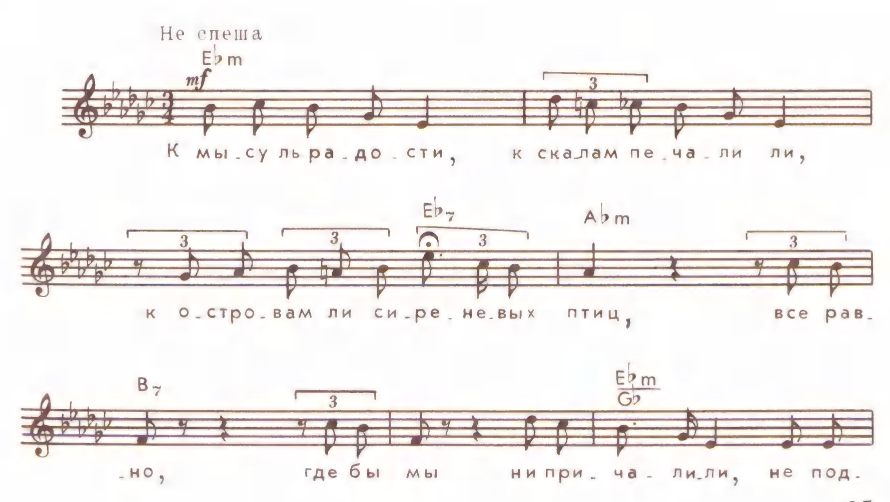
О ВСЕХ УСТАЛЫХ
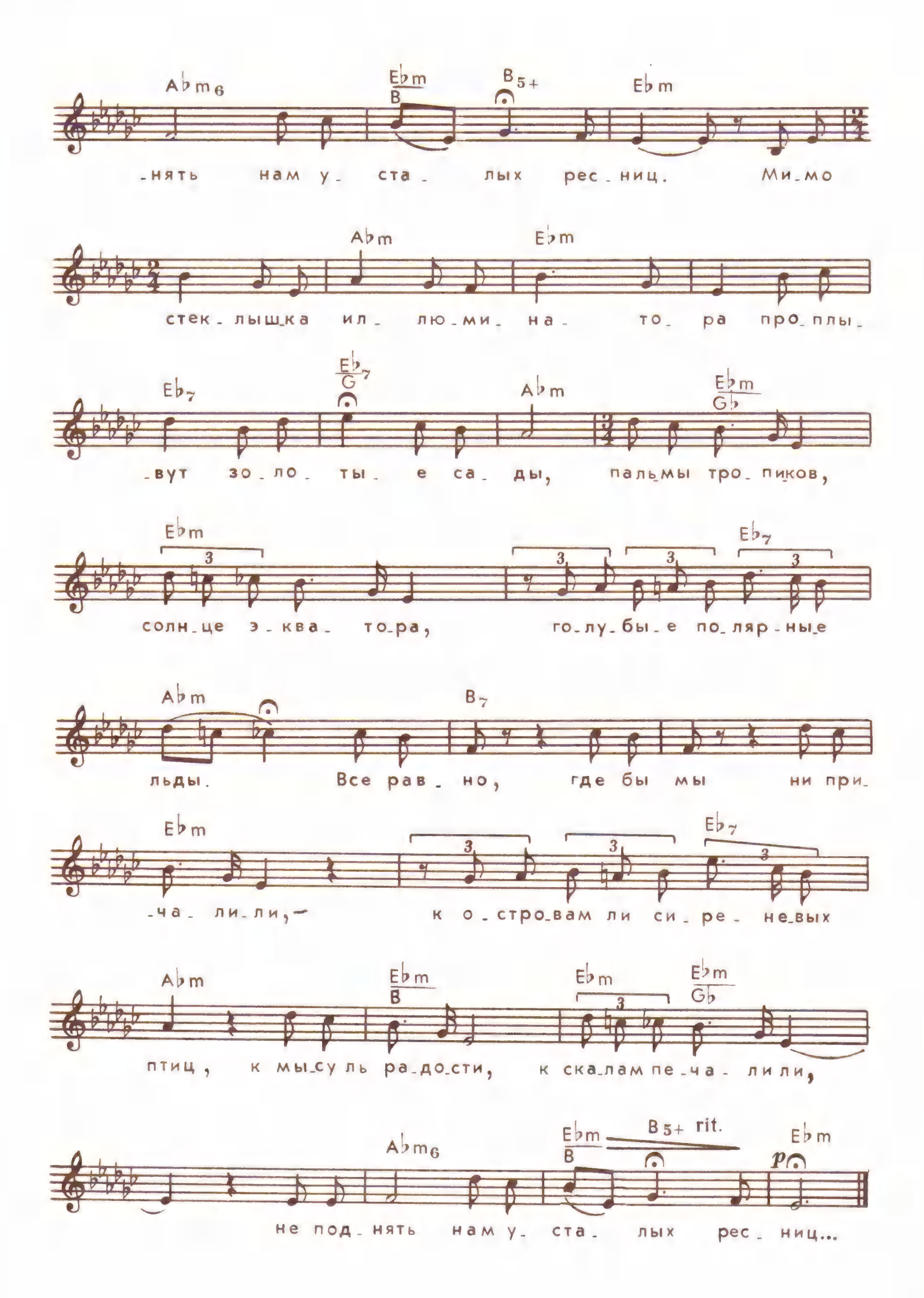
Стихи Н. Тэффи

К мысу ль радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц.

Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды.

Все равно, где бы мы ни причалили, —
К островам ли сиреневых птиц,
К мысу ль радости, к скалам печали ли,
Не поднять нам усталых ресниц...




A♭m6
E♭m/B
B5+
E♭m
-нять нам у_ ста_ лых рес_ ниц. Ми_мо
A♭m
E♭m
стек_лышка ил_ люми_на_ то_ ра про_плы_
E♭7
E♭7/G
A♭m
E♭m/G♭
-вут зо_ло_ ты_ е са_ ды, пальмы тро_ пиков,
E♭m
E♭7
солн_це э_ква_ то_ра, го_лу_бы_е по_ляр_ны_е
A♭m
B7
льды. Все рав_ но, где бы мы ни при_
E♭m
E♭7
-ча_ ли_ли,— к о_стро_вам ли си_ ре_ не_вых
A♭m
E♭m/B
E♭m
E♭m/G♭
птиц, к мы_су ль ра_до_сти, к ска_лам пе_ча_ ли ли,
A♭m6
E♭m/B
B5+
rit.
E♭m
p
не под_ нять нам у_ ста_ лых рес_ ниц...

Александр Вертинский.
ДЫМ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА
(из киносценария)



В степи молдаванской



Из киносценария

СЦЕНА 3-я

Союзные армии оккупировали Константинополь. Город до отказа заполнен военными всех видов и мастей. Тут и американцы, и англичане, и французы, и итальянцы, и какие-то офицеры в экзотических формах — неизвестно какой национальности...

Турки загнаны в щель. С ними было покончено и никто не обращал больше на них внимания.

Маленькие щуплые турецкие полицейские робко следили главным образом за своими женщинами, чтобы они не знакомились с иностранцами и не подымали чарчафы, прикрывающие их лица до самых глаз. Они испуганно козыряли иностранным офицерам и ни во что не вмешивались.

Рощин, спасенный рыбаками, бродил по городу, ночуя в лодках на берегу Босфора, оборванный, босой и грязный. Он уже три дня ничего не ел. Идти в европейскую часть города и разыскивать знакомых он не решался в таком виде и потому бродил по базарам в Галате — нижней части города, куда европейцы почти не заглядывали, где толклись простые матросы с кораблей всего мира, где все было устроено для них,— кабаки, харчевни, кафе, публичные дома. Это была очень красочная и грязная часть города. Кричали продавцы, расхваливая свой товар, били в гонг зазывалы балаганов. На маленьких круглых площадках бешено вертелись в священном танце полубезумные дервиши, окруженные толпой верующих; они кружились до тех пор, пока не падали в конвульсиях на землю. Завывали какие-то восточные инструменты, ревели ослы, фыркали кони, впряженные в высокие арбы; мирно качаясь, проходили корабли пустыни — верблюды, изредка сплевывая на людей свою жвачку. Яркое, жгучее и колючее солнце заливало эту картину.

А вдали раскинулась великолепная, сказочная панорама Золотого Рога, с его белыми сахарными дворцами, ступенями сходящими прямо в море, с мечетями и минаретами, с башней Султана, откуда сбрасывали неверных жен.

Между ног шныряли грязные мальчишки, залезая в карманы зазевавшихся правоверных...

Все это свистело, орало, пело!

Рощин, вдруг почувствовав страшную слабость, опустился на табуретку маленького кафе прямо на мостовой. Его тошнило от голода. Великолепный старый турок с большой бородой в тюрбане, повязанном зеленой материей (отличие всех совершивших паломничество в Мекку к гробу Магомета), сидя на корточках, жарил каштаны на маленькой жаровне и продавал их в кулечках по 10 пиастров за кулек. Взглянув на побелевшего Рощина, он вдруг неожиданно заговорил с ним по-русски, сильно коверкая слова.

— Рус! Твоя хочи кушать? — спросил он и протянул Рощину кулек с каштанами. — На, возьми!

Рощин взял каштаны и начал быстро и жадно шелушить их, съедая почти с кожей.

Турок гладил свою длинную бороду и сочувственно покачивал головой.

— Твоя офицера? — спросил он.

Рощин утвердительно кивнул головой.

— Моя бывай Одесса! Моя понимай русска языка, — сказал он, наливая Рощину стакан холодной воды из тонкого, длинного кувшина. — Пей вода!

Рощин выпил. Силы немного вернулись к нему.

В это время, пробираясь сквозь толпу, по направлению к Рощину, шел высокий долговязый английский офицер с брезгливым, презрительным выражением лица. Он был в военной форме и в руках держал стек с серебряной рукояткой. Он шагал прямо, не сворачивая, никому не уступая дороги. Голова его была высоко закинута вверх. Он надменно смотрел по сторонам, точно весь этот мир был предназначен только ему одному, а все остальное — песок под его ногами.

Рощин ненавидел англичан.

«Сволочь! — с бешенством подумал он. — Повелитель мира! Проститутка! Морда какая наглая! И стек еще! Он им всем миром управлять хочет!!!»

Проходя между стариком и Рощиным, англичанин вдруг отшвырнул носком сапога жаровню, которая мешала ему пройти. Каштаны и угли рассыпались по тротуару. Старик с воплем бросился поднимать свой нищенский товар. Он плакал, потому что каштаны скатились в грязную вонючую лужу.

Кровь бросилась в голову Рощина. Одним прыжком он очутился перед офицером.

— Ю! Санава бич! — по-английски сказал он, стиснув зубы. — Собери сейчас же каштаны, сука! Слышишь! Собирай!

Он схватил англичанина за отвороты его френча и сильно тряхнул его. Англичанин замахнулся стеком. Тогда Рощин с остервенением стал наносить ему удар за ударом. Кровь текла по лицу англичанина. Он пытался ответить ему ударами, но они не достигали цели. Тогда он попытался вытащить револьвер, но Рощин ловко выбил его и наступил на него ногой.

— Это тебе за все! За все! — задыхаясь, хрипел Рощин. — Это тебе за Родину!.. Это за Армию!.. Это тебе за старика!!!

Огромная толпа окружила Рощина. Турки были в восторге. Полиции не было видно вокруг, и они едва сдерживались, чтобы не растерзать англичанина.

Англичанин свалился.

Рощин, тяжело дыша, вытер руки об свою рубашку.

Англичанин уже был без сознания.

В это время из толпы отделился высокий пожилой турок. Он подошел к Рощину и положил ему руку на плечо.

— Молодец! — твердо сказал он. — Ты правильно выдал этой скотине. Идем отсюда. Сейчас придет полиция, и тебе надо уходить.

И он, взяв Рощина за локоть, увел его в боковую уличку.

В грязной маленькой харчевне, где они сели за столик, на угольях, в очаге крутился надетый на шомпол большой кусок баранины. Повар стоял тут же и срезал острым ножом зажаренные кусочки мяса, как стружки.

Турок закурил сигару и, подозвав официанта, что-то шепнул ему. Моментально к столу поднесли миску плова.

— Кушай! — сказал турок. — Ты давно не ел? А?

— Три дня, — ответил Рощин.

— Поешь, а потом пойдем ко мне. У меня для тебя есть работа. Мне нужен такой человек. Меня все здесь знают. Я Нуриддин-бей... У меня тут большое дело в Галате.

СЦЕНА 4-я

Рощин и Нуриддин-бей идут по узким переулкам Галаты.

Аппарат разворачивает панораму обеих сторон переулка. Небольшие двухэтажные домики с крупными решетками окон, выходящих на тротуар. За решетками, на подоконниках, сидят страшного вида полуголые женщины и зазывают на разных языках проходящих матросов и солдат.

Это квартал публичных домов.

Рощин с ужасом разглядывает этих, крашенных перекисью, уродливых и немолодых женщин, потерявших всякий человеческий облик, разнузданных и похожих на обезьян.

— Рус, рус!.. Иди сюда! — кричит одна из них.

— Карашо! Карашо! — добавляет она и похлопывает себя по животу.

Нуриддин, презрительно поглядывая по сторонам, говорит Рощину:

— Это третий класс. Подонки. Для негров и матросов... У меня дело первоклассное! Сам увидишь. У меня бывает богатая публика.

— Откуда вы так хорошо говорите по-русски? — равнодушно осведомился Рощин.

— Я родился в России. Мой отец был турецкий посол еще при царе. Я там учился и вырос.

Оба подходят к дому Нуриддина. Резная восточная решетка двери. Звонят. Им открывает старуха-турчанка, низко кланяясь. Они входят в холл-гостиную. Диваны, тахты, кресла, низкие столики.

На них сидят девицы всех национальностей, разукрашенные и полуголые. Они ждут клиентов. Одни играют в карты, другие

пудрятся и подмазывают губы, третьи курят и пьют коктейли, четвертые просто полулежат на тахте.

Нуриддин-бей делает резкий знак рукой и что-то говорит по-турецки. Девицы уходят. Негритенок приносит на подносе две чашечки кофе. Они садятся в кресла.

Нуриддин-бей: Мне нужен такой человек, как ты. Иногда бывает, что клиент напьется, начинает буйствовать или девочек обижает, или платить не хочет. Его надо... Понимаешь... (он делает выразительный жест) привести в чувство.

Рощин: Понимаю. И эти благородные функции вы хотите возложить на меня? — криво усмехаясь, спрашивает он.

Нуриддин-бей: Ну да, конечно.Ты сильный человек. Кулак у тебя хороший. Как ты сегодня этого англичанина отработал! (Нуриддин смеется). Ну, так вот! Я тебе дам комнату, там, под лестницей. Кормить буду. Одежу дам тебе — красивую форму. Швейцаром будешь.

Рощин: Не столько швейцаром, сколько вышибалой.

Нуриддин-бей: И жалованье тебе дам. Тридцать лир в месяц. Ну, конечно, гости еще тебе на чай давать будут. Подумай! А?

Рощин: Мне нечего думать. Мне все равно. Выбирать мне не из чего! Я согласен.

Нуриддин-бей хлопает его по плечу и встает.

— О'кей!

Затемнение.

СЦЕНА 5-я

Большой парк в Таксиме — за городом.

Рощин в короткой куртке, обшитой золотыми позументами, и в фуражке швейцара, идет по аллее с двумя большими покупками под мышкой. Его, по-видимому, куда-то посылал хозяин. У дверей парка он сталкивается носом к носу с Линевичем. Линевич прилично одет, с цветком в петлице. Узнав Рощина, он изумленно отшатывается.

— Ты? Шурка?.. Не может быть! Но ты же утонул тогда в Галиполи...

— Как видишь, не совсем,— вяло улыбаясь, отвечает Рощин.— Меня спасли греки. Матросы.

— Чудеса да и только! — разводя руками, говорит Линевич.— Но я же видел, как ты пошел ко дну! И вдруг... А какой скандал был потом! — заговорил он, беря под руку Рощина.— Кутеп рассвирепел. Нас всех потом здорово прищучили из-за тебя. Впрочем, не стоит вспоминать... Теперь ведь все это развалилось. Начальство сбежало...

Рощин: А армия?

Линевич: Расползлись как тараканы — кто куда. Много наших тут в городе, а кто уехал в Болгарию, Чехию, Сербию. У

кого деньги были, конечно... Да что мы тут стоим? Сядем на скамейку.

Садятся.

Л и н е в и ч (оглядывая Рощина, все еще не может прийти в себя от удивления): Что это на тебе за униформа? Швейцаром служишь?

Р о щ и н: Да.

Л и н е в и ч: Где?

Р о щ и н (спокойно, глядя ему прямо в глаза): В публичном доме.

Л и н е в и ч (в ужасе всплескивает руками): С-ум-ма сошел! Дурак! Вышибалой служишь?

Ро щ и н (пожав плечами): Не все ли равно? Родины-то нет. Семьи нет. Знакомых тоже. Кого ж мне стесняться? (Закуривает.)

Л и н е в и ч (минуту раздумывая): Слушай, Шурка, я тебе, кажется, помогу... Я работаю тут, в одном учреждении... Понимаешь? У наших союзничков... Там нужны люди. С головой, конечно. И смелые. Будут хорошо поить, кормить, одевать и учить кой-чему.

Ро щ и н : В иностранной разведке? Так что ли?

Л и н е в и ч: Вот именно. А что? Брезгуешь? За годик всему выучишься. У них школа, брат, во! А потом, закинут тебя в Совдепию! Ты же так рвался туда? Вот и попадешь к ним...

Р о щ и н (резко встает): Гадина! Я ведь всегда считал тебя гадиной. (Смотрит ему в глаза.) Я родиной не торгую... Я умирать за нее ходил... Подонок! Паразит несчастный!..

(Рощин плюет ему чуть ли не в лицо, уходит прочь.)

Л и н е в и ч (злобно): Ничего... Еще придешь проситься, когда жрать нечего будет!

СЦЕНА 6-я

Холл публичного дома.

Компания англичан кутит. Пьют виски, шампанское. Вокруг них стая девиц. Одни из них сидят на коленях у гостей, другие полулежат. Все полураздеты. Англичане уже пьяны. Среди них тот молодой англичанин, которого бил на базаре Рощин. Он в штатском.

Толстый майор подзывает хозяина:

— Эй, псст!

Х о з я и н: Что прикажете, сэр?

Т о л с т ы й: Сигары есть?

Х о з я и н: Простите... нет.

Т о л с т ы й (вынимая бумажку из кармана): На! Пошли швейцара купить ящик «Анри Клей» — гаваны, живо!..

Через несколько минут в зал входит Рощин с ящиком сигар в руках и отдает их хозяину.

Молодой англичанин (узнав Рощина): Э-э-э, постой… Постой… (К хозяину, резко). Кто это?

Хозяин: Швейцар.

Молодой англичанин: Русский?

Хозяин: Да… кажется… Не знаю…

Молодой англичанин: Где у тебя телефон?

Бросается к двери и закрывает ее.

Все вскакивают.

Толстый майор: Вызови патруль немедленно! Звони на пост! Он не уйдет отсюда!

Все бросаются в вестибюль.
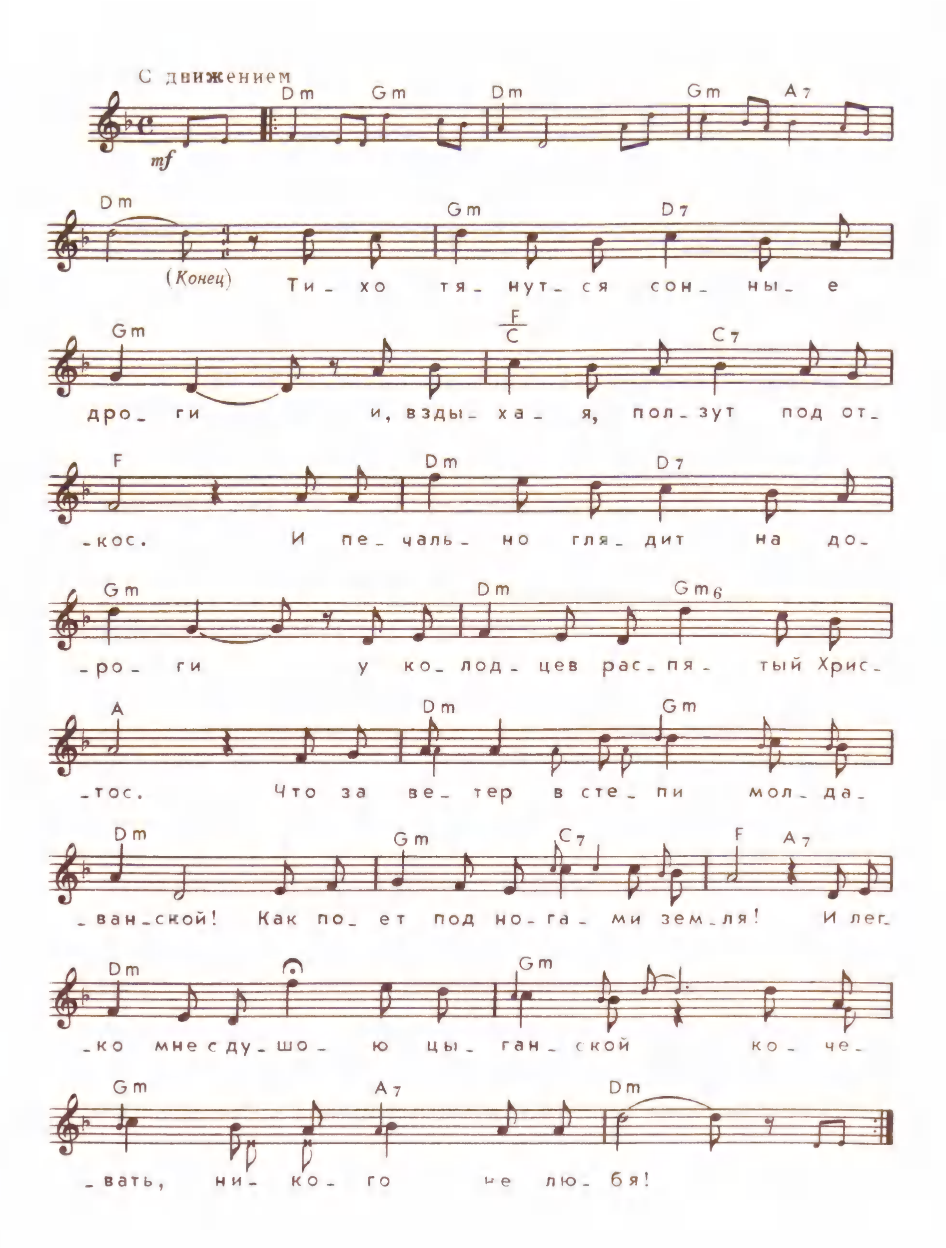
Рощин (быстро сообразивший ситуацию) выскакивает через окно на улицу, бежит, сворачивая в переулки,и исчезает из виду…

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Как все эти картины мне близки,
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую милую землю
Узнаю я на том берегу.
А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну…



С движением
mf
Dm Gm Dm Gm A7
Dm Gm D7
(Конец) Ти_ хо тя_ нут_ ся сон_ ны_ е
Gm F/C C7
дро_ ги и, взды_ ха_ я, пол_ зут под от_
F Dm D7
кос. И пе чаль_ но гля_ дит на до_
Gm Dm Gm6
_ро_ ги у ко_ лод_ цев рас_ пя_ тый Хрис_
A Dm Gm
тос. Что за ве тер в сте_ пи мол_ да_
Dm Gm C7 F A7
_ван_ской! Как по_ ет под но_ га_ ми зем_ ля! И лег_
Dm Gm
ко мне с ду шо_ ю цы_ ган_ ской ко_ че_
Gm A7 Dm
вать, ни ко_ го не лю_ бя!

Александр Вертинский.
СИЛА ПЕСНИ



Концерт Сарасате



Сила песни

Это было в 1927 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах (тогда еще принадлежавших Румынии). За его огромными зеркальными окнами шла обычная вечерняя публика. Вдоль тротуара бесконечной вереницей медленно двигались гуляющие и казались огромными плоскими рыбами, не спеша проплывающими куда-то.

Голубоватый свет предвечерних фонарей создавал в сумерках впечатление воды. Я точно глядел сквозь стекла большого аквариума. Мужчины были, как на подбор, толстыми, круглолицыми, с немного выпученными глазами, с сигарами в углу рта и были похожи на жирных карпов, у которых застряла во рту пища.

Женщины же, наоборот, подвижные и легкие, в летних воздушных платьях из шифона и органди, в маленьких шляпках с перьями — были похожи на тех хвостатых серебряно-голубых рыбок, с длинными «шлейфами», которые плавают в аквариумах зоомагазинов.

Лето уже подходило к концу. Этим городом заканчивалось мое гастрольное турне по Европе. Утром я должен был улететь в Париж. Мой старый приятель Петя Барац, с которым я проводил свой последний вечер, был человеком небольшого роста. Но при этом скромном росте у него была довольно большая лысая голова, что придавало ему сходство с «колобком» — каким его рисуют в детских книжках.

— Это даже не рост!.. — сказал о нем однажды какой-то шутник.— Это просто... небольшая выпуклость!..

Этой жестокой шуткой Петя был ранен в самое сердце и на всю жизнь.

Еще в детстве, в Одессе, Петя был однажды приглашен в Европейский театр. Ему было тогда семь лет. Вместе со своей пятилетней сестренкой он исполнял какую-то рольку в одной из гауптмановских пьес. Его нарумянили, напудрили, завили волосы. На него надели что-то вроде хитона и твердо наказали говорить громко и отчетливо. В руки им обоим дали урну.

— Что у вас в руках, дети? — певучим «поставленным» голосом спрашивал их премьер-любовник, завитой под барана.

— Куфсынчик,— бодро отвечал Петя.

— А в нем что?

— В нем слезы нашей мамочки! — отчетливо и твердо докладывал он.

Сердобольные одесские мамы заливались слезами. Вся Молдаванка ходила смотреть, как играют дети аптекаря, известного всему городу.

Петю задаривали подарками и осыпали поцелуями. Это и погубило его. Актера из него так и не вышло, но театральным администратором он остался навсегда, чтобы хоть таким образом удовлетворять свою любовь к театру. Смытый волной революции, он работал теперь бухгалтером в какой-то маленькой конторе.

В кафе зажгли электричество. Музыканты шумно настраивали инструменты и спорили, с чего начать.

— Вдарим по «Травиате»! — предлагал один.

— Лучше рванем «Сильву»! — советовал другой.

— Лабухи, кто сбодал бимбалы? * — спрашивал на блатном музыкальном жаргоне третий.

За отдельным маленьким столиком невдалеке от меня сидела уже немолодая красивая женщина, устало опустившая руки на колени. В ее позе было что-то обреченное. Она напряженно смотрела на входную дверь и вздрагивала от ее скрипов.

— Смотри, вот это Владеско! — неожиданно прервав наше молчание, сказал Петя.

Я обернулся. В кафе входил толстый сияющий румын в светло-сером летнем костюме с гвоздикой в петлице. На мизинце его правой руки сверкал большой желтый брильянт, какие обыкновенно носят карточные шулера.

Он слащаво-любезно раскланивался с публикой, закатывая глаза и скаля свои цыганские зубы с золотыми пломбами. К своему, уже заметному, животу он нежно прижимал футляр со скрипкой. Он продвигался к эстраде.

— Какой это Владеско? — спросил я.— Тот, что играл в Вене?

— Да.

Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных знаменитостей — королей цыганского жанра. Я слышал его. У его скрипки был необычайно густой и страстный звук, нежный и жалобный. Точно плачущий. Тот особый восточный колорит, который отличает цыганскую музыку от классической.

Это был какой-то широкий переливчатый стон, исходящий слезами. Что-то, одновременно напоминавшее и зурну, и «Плач на реках вавилонских».

Для начала оркестр сыграл марш. Владеско не участвовал в этом. Как солист он стоял впереди оркестра, самодовольный и презрительный, и, манерничая, небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая ее и не доверяя ей.

Наконец, после всех этих ужимочек, подходцев и примерок, он снисходительно дотронулся смычком до ее струн. Страстная, словно изнемогающая от муки, мелодия «Дойны» полилась из-под его пальцев. Звуки были смуглые, горячие, до краев наполненные печалью. И, казалось, из-под его смычка лилась струя тяжелого, красного, как кровь, старого и густого вина.

Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненный зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах... И еще порою казалось, что какой-то пленный раб, сидя в

* «Ребята, кто украл часы?» (Прим. ред.)

неволе, мучительно и сладко поет, словно истязая самого себя воспоминаниями, песню своей несчастной родины. Охватив колени руками, и раскачиваясь, и заливаясь слезами.

— Изумительно! — не выдержал я.

— М-да! Играть он, конечно, умеет! — задумчиво протянул Петя.— Эти дойны остались у них со времен турецкого владычества. Они очень древние. Это подлинный стон народа.

Мы зааплодировали. Его принимали горячо и дружно. С разных концов зала публика выкрикивала названия своих любимых пьес, прося его сыграть их. На серебряном подносе официант уже нес ему посланную кем-то бутылку шампанского.

— А вот как человек он настоящая скотина! — неожиданно сказал Петя.

Я выразил свое удивление.

— Расскажи мне о нем,— попросил я.

Петя неохотно заговорил.

— Видишь вот ту женщину, у эстрады? — спросил он, указывая на столик, где сидела замеченная мной красивая дама.— Это его жена!

— Ну?

— Когда-то она была знаменитой актрисой... Сильвия Тоска! Ты слышал это имя? Весь мир знал ее. Это была звезда! И какая звезда! Ему до нее было как до неба!

— А теперь?

— А теперь она бросила сцену. Из-за него, конечно. Он ревновал ее к ней.

— И что же дальше?

— Дальше? Он бьет ее! Да еще при всех! По лицу! Когда пьян или не в духе.

— То есть как это при всех? — не понял я.

— Как? Ну... словом... публично дает ей пощечину,— пояснил Петя.

— И никто не заступится?

— Нет! Кому охота вмешиваться в эти отношения мужа и жены?

— Ну, знаешь, как ты себе хочешь, а я набью ему морду, если он это попробует сделать при мне,— возмутился я.

— И ничему это не поможет!.. — улыбаясь сказал Петя.— Ведь она же л ю б и т! Понимаешь, л ю б и т! Она для него всю жизнь свою поломала. Бросила сцену, имя, богатого мужа, успех... Все! Он забрал ее брильянты, деньги, славу, покой душевный... И вот, видишь, таскается за ним по всем кабакам мира. Сидит по ночам... ждет его!

Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих.

Владеско играл одну из моих любимейших вещей — Концерт Сарасате *. Это было какое-то колдовство!.. Временами из-под его пальцев вылетали даже не присущие скрипке, почти человеческие интонации. Живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей...

Как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой-то иной мир, мир высоких, невыразимо-прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне.

Я не мог отвести глаз от него. Он играл, весь собранный, вытянутый как струна, до предела напряженный и словно оторвавшийся уже от земли. Пот градом катился с его лба. Огневые блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на его уже суровом лице. Обожженное творческим огнем, оно было вдохновенно и прекрасно.

Он кончил. Буря аплодисментов была ответом на его игру. Опустив скрипку, с налитыми кровью глазами, уже ничего не видя, полуслепой, он уходил с эстрады, даже не кланяясь... Равнодушно и неохотно он возвращался на землю.

Я оглянулся. Сильвия ждала его стоя. В ее огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, в котором пела его скрипка. Точно опрокинутый в лесные озера таинственный ночной лес, залитый лунным светом...

Владеско подошел к своему столу. Она протянула к нему руки, как сомнамбула, ничего не видя и не слыша. Сноп красных роз, присланный ей каким-то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло.

Большим шелковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало свое обычное выражение.

Я был потрясен до самых глубин души.

— Да... — мечтательно сказал Петя, улыбаясь куда-то в пространство.

«Но когда он играет Концерт Сарасате»?..

В голове у меня уже бешено крутились строчки.

Так родилась песня.

Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах. Я пел в Александрии, Бейруте, в Палестине. Был в Африке, где снимался в кинофильме. Был в джунглях с киноэкспедицией (и целым зверинцем животных, которых мы везли с собой из Франции для этой картины).

В этот сезон я начал свое концертное турне с Германии. Первые гастроли были назначены в Берлине. В прекрасном и большом Блютнер-зале, отделанном палисандровым деревом и звучащем как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно.

---

* Речь, по-видимому, идет о знаменитых «Цыганских напевах» Сарасате. (Прим. ред.)

В моей программе было много новых вещей. Был в ней и «Концерт Сарасате», как я назвал эту песню, рожденную в Черновицах. Песня имела успех. Ее уже знали.

В день концерта у меня в отеле появился Петя Барац. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрезден.

— Надо сделку одну оформлять через дрезденский банк,— грустно и словно извиняясь, говорил он.

Мне почему-то стало остро жаль его.

— Скучно все это, конечно,— продолжал он,— но ведь там же картинная галерея! Мадонну увижу... Сикстинскую! Тинторетто! — утешал он себя. И лицо его озарялось счастливой детской улыбкой. Мы разговорились.

— Знаешь, кто тут играет в Эден-отеле? — неожиданно вспомнив, спросил он.

— Кто?

— Владеско.. Помнишь, тот? Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню.

— Напрасно,— сухо заметил я.— Он не стоит песни!

— А он был страшно заинтригован,— продолжал Петя, словно не замечая моих слов,— и сказал, что сегодня обязательно будет на твоем концерте.

На этом разговор кончился. Мы распрощались до вечера.

Вечером огромный Блютнер-зал был переполнен. Эмиграция, еще доедавшая тогда остатки своих фамильных ценностей, «спасенных» из России, все еще не сдавалась, стараясь не отстать от моды, и тянулась из последних сил, посещая обязательные «премьеры» и концерты заезжих знаменитостей.

К моим скромным концертам люди тянулись по разным причинам. Одним просто нравились песни, другие связывали с ними сладкие воспоминания о своем былом благополучии, когда они еще не были «изгнанниками» и жили на родине широко и привольно, ни в чем себе не отказывая. А на них работали другие. Когда они веселились, кутили, блистали в обществе и били по морде прислугу.

Третьих притягивала ко мне та щемящая и ноющая тоска по родине, которая называется ностальгией и которая пронизывала собой все мое творчество. Четвертые — кто побогаче — шли на мои концерты для того, чтобы щегольнуть туалетами и драгоценностями своих «московских Венер», кстати сказать, весьма устаревшими. Брильянты были желто-канареечного цвета и не могли соперничать с голубыми бразильскими камнями, которые носили парижанки-кокотки, а меха распространяли вокруг себя неуловимый запах еще прабабушкиных нафталинов и пачулей. Тут были люди самых различных «убеждений» и «взглядов», коих в русской колонии собралось великое множество,— «белые», «петлюровцы», «махновцы», «самостийники», грузинские «меньшевики»,

всевозможные «союзы спасения Родины», «кадеты», «черносотенцы», «монархисты», «младороссы» и просто подонки, работавшие в иностранных разведках, которые плодились, как грибы.

И, наконец, те, кто покинул свою родину случайно, помимо своего желания, попав в волну эвакуации и будучи выплеснуты этой волной на чужие, негостеприимные берега.

Мои песни объединяли всех. Они «р а з м ы в а л и» эмиграцию, подтачивая шаг за шагом их «убеждения», эти зыбкие постройки без фундамента, как размывает море песчаные берега.

Моя органическая любовь к родной стране, облеченная в ясную и понятную всем форму, пронизывала их насквозь. И ранила сладко и больно... На моих концертах одни плакали, другие хмурились, кривя рот. Третьи иронически усмехались.

Но шли все. Потому что каждый из них представлял себе родину такой, как он хотел... а я ведь пел о Родине!

В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта я заглянул в дырочку занавеса. Владеско сидел в первом ряду. Рядом с ним, в простом и строгом платье сидела Сильвия Тоска.

Владеско раскланивался. Его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришел слушать «свою» песню.

— Подожди же! — злорадно и весело подумал я. — Ты у меня еще потанцуешь!..

Ждать ему пришлось долго. «Концерт Сарасате» стоял последним в программе. Владеско слушал внимательно и слегка удивленно. Как артист, редко свободный от кабацкой работы, он по-видимому не бывал на концертах других артистов и кроме самого себя, вероятно, редко кого-нибудь слышал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять свое удовлетворение от моего искусства.

Но я был сух. Ни улыбкой, ни поклоном я не выражал ему никаких своих симпатий или благодарности. «Подожди, подожди!» — думал я.

Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, и когда дошел до последней песни и назвал ее, демонстративно резко перешел на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление, я начал:

Ваш любовник скрипач. Он седой и горбатый,
Он вас дико ревнует, не любит и бьет...
Но когда он играет Концерт Сарасате,
Ваше сердце, как птица, летит и поет...

Я смотрел и пел, глядя в упор то в его глаза, то в глаза Сильвии.

Он альфонс по призванью. Он знает секреты
И умеет из женщины сделать «зеро»...
Но когда затоскуют его флажолеты,
Он — божественный принц...
он — влюбленный Пьеро...

Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как-то съежился, почти вдавившись в глубь кресла. Я продолжал:

Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил.
«Фам де люкс» * он сумел превратить
в «фам де шамбр» **.
И давно уж не моден, давно неприличен
Ваш кротовый жакет с легким запахом «амбр».

И в усталом лице, и в манере держаться
Появились у вас и небрежность и лень.
Разве можно так горько, так зло насмехаться?
Разве можно топтать каблуками сирень?..

Слова били его как пощечины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его — жестокие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой моих интонаций...

И когда вы, страдая от ласк хамоватых,
Тихо плачете где-то в углу, не дыша,—
Он играет для вас свой Концерт Сарасате,
От которого кровью зальется душа!..

А-а-а-а!..— сквозь песню доносилось до меня.

— А-а-а-а!

Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками. Я допевал песню:

Безобразной, ненужной, больной и брюхатой,—
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за Концерт Сарасате
Исступленно, бессильно и больно любя!..

Мои руки, органически точно повторявшие движения пальцев скрипача, упали... Каким-то внезапным озарением я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на нее ногой.

Зал грохнул. Точно почувствовав, что это сейчас уже не концерт, а суд... всенародный, праведный суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться... как на лобном месте...

---

* Фам де люкс — «шикарная» женщина
** Фам де шамбр — горничная

Толпа неистовствовала. Стучала ногами... Кричали... Свистели... И ломились стеной к эстраде.

У него даже не было сил подняться. Я растоптал его.

За кулисами уборная моя была полна людей. Друзья, знакомые и незнакомые, актеры и актрисы, музыканты и журналисты и просто люди из публики заполняли ее.

Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась высокая фигура Владеско. Он шел на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъяренным медведем, наступая на ноги окружающих и расталкивая публику.

Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости и боли, и тяжко дышал.

Посетители в ужасе прижались к стенам. Это длилось всего несколько секунд. Потом... Что-то дрогнуло в нем. Гримаса боли, как молния, сверху донизу прорезала его лицо.

— Вы... убили меня! Убили... — бормотал он, задыхаясь. Руки его тряслись, губы дрожали. Его бешено колотила нервная дрожь.

— Я знаю... Я понял... Я... Но я не буду! Слышите? Не буду! — внезапно и отчаянно крикнул он.

Слезы ручьем текли из его глаз. Дико озираясь вокруг, он точно искал, чем бы ему поклясться.

— Плюньте мне в глаза!.. А? Слышите? Плюньте! Сейчас же! Мне будет легче!..

И вдруг, точно сломившись, он дико зарыдал, упав в кресло.

— Лекарство подействовало! — услыхал я за своей спиной.

Я оглянулся. В дверях стоял Барац.

Уборная была пуста.

На этом можно было бы закончить рассказ. Но это не все. Это было только началом новой, совершенно иной жизни. Мне не пришлось больше встречаться с ним, но мои друзья, рассеянные по всему свету, иногда доносили до меня кое-какие сведения об этом человеке.

— Я был в Данциге. Слушал Владеско... — говорил мне както в Париже Петя Барац.

— Ну?

— Ну, ничего. Знаешь, он здорово изменился. Помнишь, какой это был дикарь в Черновицах?

— А теперь?

— Теперь ты бы не узнал его. Точно подменили. Вежливый, серьезный, внимательный. А играет! Еще лучше.

— Ну, а как он с Сильвией? Бьет ее?

— Что ты! Он в ней души не чает. Каждый вечер ей цветы приносит и сам ставит на ее столик. А когда выпьет, плачет и просит у нее прощения.

— При всех?

— При всех!

Такова сила песни.

КОНЦЕРТ САРАСАТЕ

Ваш любовник скрипач. Он седой и горбатый.
Он Вас дико ревнует, не любит и бьет...
Но, когда он играет концерт Сарасате,
Ваше сердце, как птица,— летит и поет.
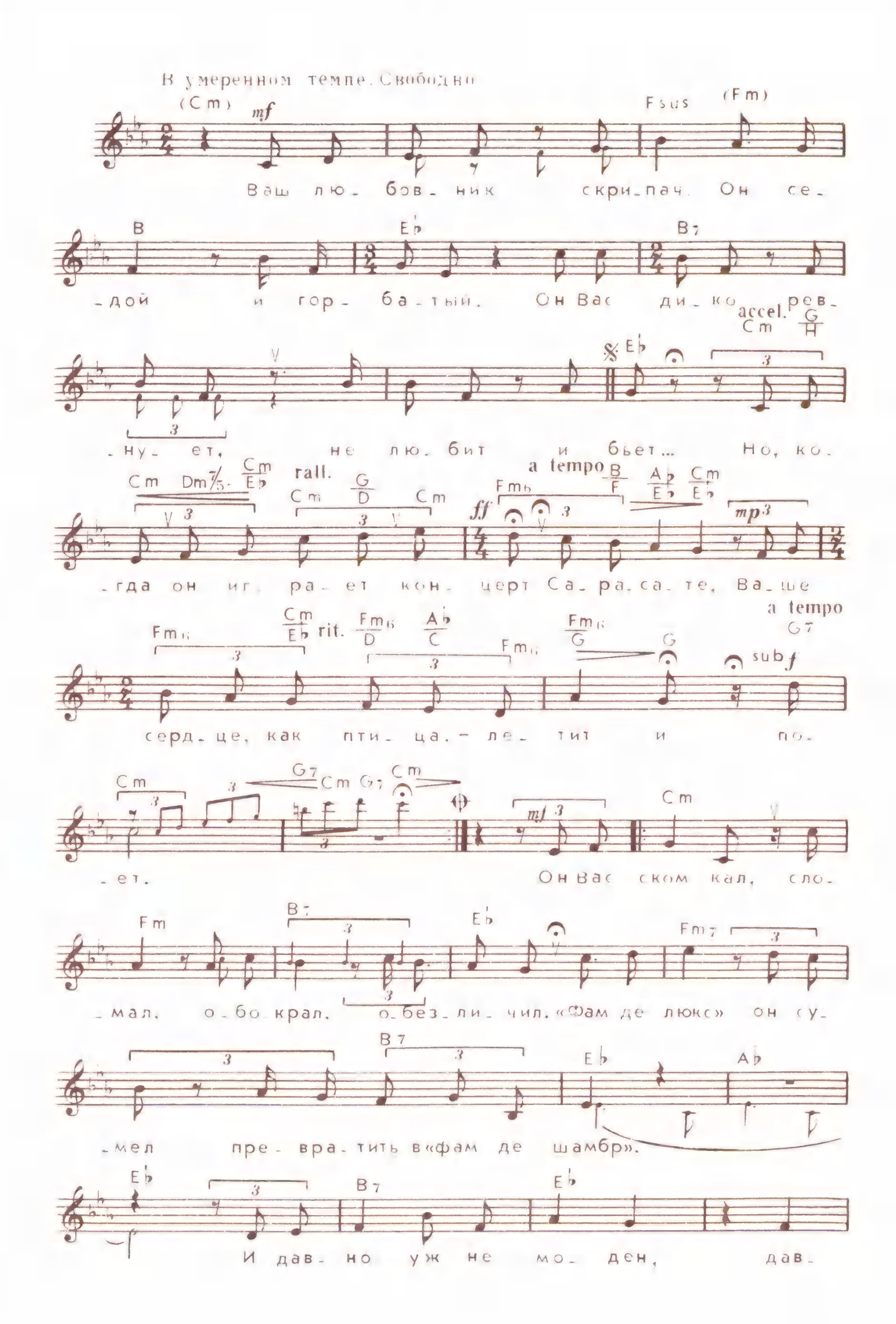
Он альфонс по призванью. Он знает секреты
И умеет из женщины сделать «зеро»...
Но, когда затоскуют его флажолеты,
Он — божественный принц, он — влюбленный Пьеро...
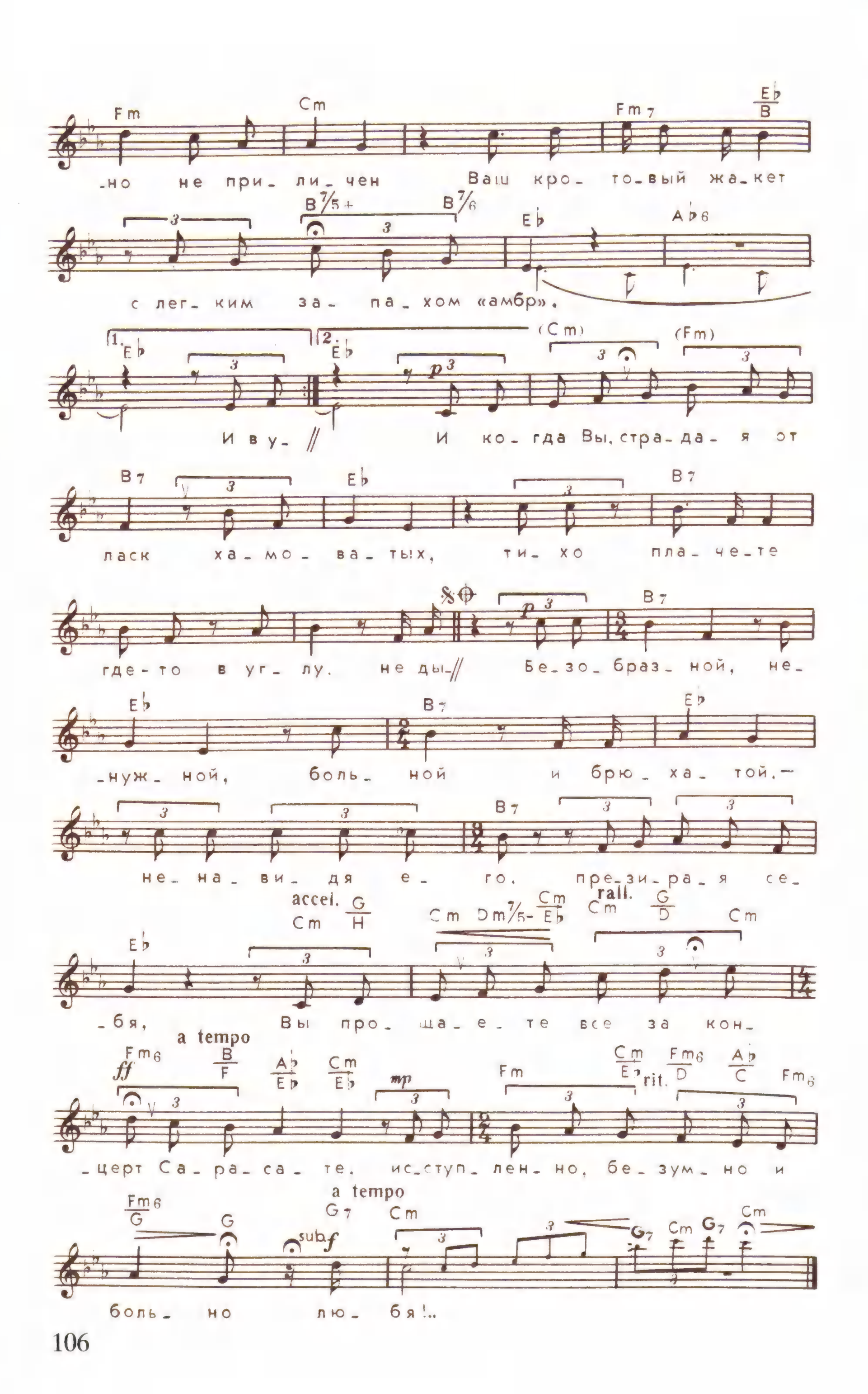
Он Вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил.
«Фам де люкс» он сумел превратить в «фам де шамбр».
И давно уж не моден, давно неприличен
Ваш кротовый жакет с легким запахом «амбр».

И в усталом лице, и в манере держаться
Появилась у Вас и небрежность, и лень.
Разве можно так горько, так зло насмехаться?
Разве можно топтать каблуками сирень?..

И когда Вы, страдая от ласк хамоватых,
Тихо плачете где-то в углу, не дыша,—
Он играет для Вас свой концерт Сарасате,
От которого кровью зальется душа!

Безобразной, ненужной, больной и брюхатой,—
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за концерт Сарасате,
Исступленно, безумно и больно любя!..


В умеренном темпе. Свободно
Ваш лю_бов_ник скри_пач. Он се_дой и гор_ба_тый. Он Вас ди_ко рев_ну_ет, не лю_бит и бьет...
accel.
Но, ко_гда он иг_ра_ет кон_церт Са_ра_са_те, Ва_ше
rall.
a tempo
сердце, как пти_ца,_ле_тит и по_ет.
rit.
a tempo
Он Вас ском_кал, сло_мал, о_бо_крал, о_без_ли_чил. «Фам де люкс» он су_мел пре_вра_тить в «фам де шамбр».
И дав_но уж не мо_ден, дав_


-но не при-ли-чен Ваш кро-то-вый жа-кет
с лег-ким за-па-хом «амбр».
И в у-
И ко-гда Вы, стра-да-я от
ласк ха-мо-ва-тых, ти-хо пла-че-те
где-то в уг-лу. не ды-
Бе-зо-браз-ной, не-
-нуж-ной, боль-ной и брю-ха-той,—
не-на-ви-дя е-го, пре-зи-ра-я се-
-бя, Вы про-ща-е-те все за кон-
-церт Са-ра-са-те, ис-ступ-лен-но, бе-зум-но и
боль-но лю-бя!..
accel.
rall.
a tempo
rit.
a tempo

Из интервью и бесед (Рига, 1928 г.)



В синем и далеком океане



РИГА, 1928 год

После долгого перерыва в Ригу снова приехал известный исполнитель «песенок Вертинского» — А. Н. Вертинский. В редакции А. Н. появился с большим конвертом, в котором довольно неожиданно оказались многочисленные фотографии только что законченной в «Уфе» съёмки фильма «Шехерезада». В смуглом «восточном человеке» с довольно окладистой огненно-красной бородой — великом визире в пышной чалме в брильянтовым эгретом — довольно трудно узнать манерного Пьеро. Однако, именно А. Н. играл в «Шехерезаде» эту роль визиря. Вот что сам артист рассказывает о путях, приведших его в кинематограф.

— Немногие знают, что я начал свою карьеру киноартистом у Ханжонкова еще в 1912 г. В одно время со мной начал свою кинематографическую карьеру и Мозжухин. Мы были с ним большими приятелями, хотя я и получал тогда на целых 15 рублей в месяц больше, чем он. Теперь Мозжухин законтрактован «Уфой» на год с окладом в 100 тыс. долларов, так что я не прочь был бы сохранить хотя бы обратную пропорцию наших гонораров. Немало пленки привелось мне испортить в старые годы, но тогда искусство экрана было еще в зачатке и не смогло меня увлечь. Лишь два-три года тому назад мною прочно овладела мысль посвятить себя «великому немому». Я устал, признаться, бороться с препятствиями, с которыми приходится встречаться при переезде из одной страны в другую. Переводить мои вещи на иностранные языки нельзя, т. к. нельзя петь на этих языках с русскими интонациями. А потерять свой жанр, перестать быть автором и перейти на амплуа лишь исполнителя — значит, потерять самого себя.

Однако новичку попасть в киноателье немногим легче, чем верблюду пролезть в игольное ушко. В особенности трудно приходится, пока не получишь роль, в которой можно выдвинуться. Большое участие принял во мне известный русский режиссер А. Волков, прославившийся своими постановками «Кина» и «Казановы». Это один из самых строгих, сосредоточенных и проникновенных работников в этой области. Благодаря ему я получил возможность вступить на экран сразу же в мировой фильм,— «гвоздь сезона». Я говорю о «Шехерезаде», поистине сказочной инсценировке волшебного сюжета, в которой принимают участие Марчелла Альбани, Агнесса Петерсен (невеста Мозжухина), Иван Петрович Колин и еще один русский артист — Дмитриев. Постановка этого фильма настолько грандиозна, что в ней можно, пожалуй, только показывать себя, а не играть по-настоящему. На съемки на Ривьеру мы поехали с целым поездом архитекторов, инженеров, скульпторов, макетчиков, декораторов, художников, костюмеров, механиков, статистов и т. д. Вся эта армия целый год трудилась над картиной, обошедшейся в полтора миллиона марок. Зато фильм этот, который еще монтируется, продан уже во все страны мира.

После великого визиря этой осенью мне придется играть еще двух великих князей: в «Адъютанте царя» и «Пожаре Москвы» (по «Войне и миру» Толстого). Уже после первого опыта в нынешней обстановке экран всецело захватил меня. Мне было тесно на маленькой эстраде, где только в словах и мотиве краткой песни можно было выявить себя. Неизмеримо больше дает экран, где артист может учиться контролировать свои успехи и ошибки, стремиться к новым достижениям и овладевать ими. Конечно, путь к экрану далеко не усыпан розами. Начать хотя бы с того, что не легко высидеть полтора часа, пока вам приклеивают бороду — волосок к волоску, а затем на вашем лице красят ее, сушат и завивают. В «Шехерезаде» нас мучили, топили, жгли (я чуть не сгорел от пылающих факелов), спускали на блоках в недоступные ущелья с высоты чуть ли не вашей Петровской кирхи. Но зато как приятно предаваться романтическим мечтам о предстоящей карьере, о том, как лет через пять Вертинский сделает себе большое имя и его без всяких виз, если не услышат, то увидят в самых запретных странах.

Петь я все же не бросил и бросать не собираюсь. В этом году я дал три концерта в Лондоне, шесть — в Париже, выступал в Ницце и других городах Франции, пел в Берлине. Из Латвии поеду в Остенде.

Для сегодняшнего концерта у меня собралось немало новинок. Вы услышите «Песенку о моей жене», «Ты успокой меня», «Испано-Суизу», «Мою звезду», «Китайскую акварель» и др. В заключение позвольте два слова о моем аккомпаниаторе. А. Блох приехал со мной из Берлина и аккомпанировал мне и в Париже и в Лондоне. Роста он маленького, но на своем поприще большой чуткий артист.

В СИНЕМ И ДАЛЕКОМ ОКЕАНЕ

Вы сегодня нежны,
Вы сегодня бледны,
Вы сегодня бледнее луны…
Вы читали стихи,
Вы считали грехи,
Вы совсем как ребенок тихи.

Ваш лиловый аббат
Будет искренно рад
И отпустит грехи наугад…
Бросьте ж думу свою,
Места хватит в раю.
Вы усните, а я Вам спою.

В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной Земли,
Плавают в сиреневом тумане
Мертвые седые корабли.
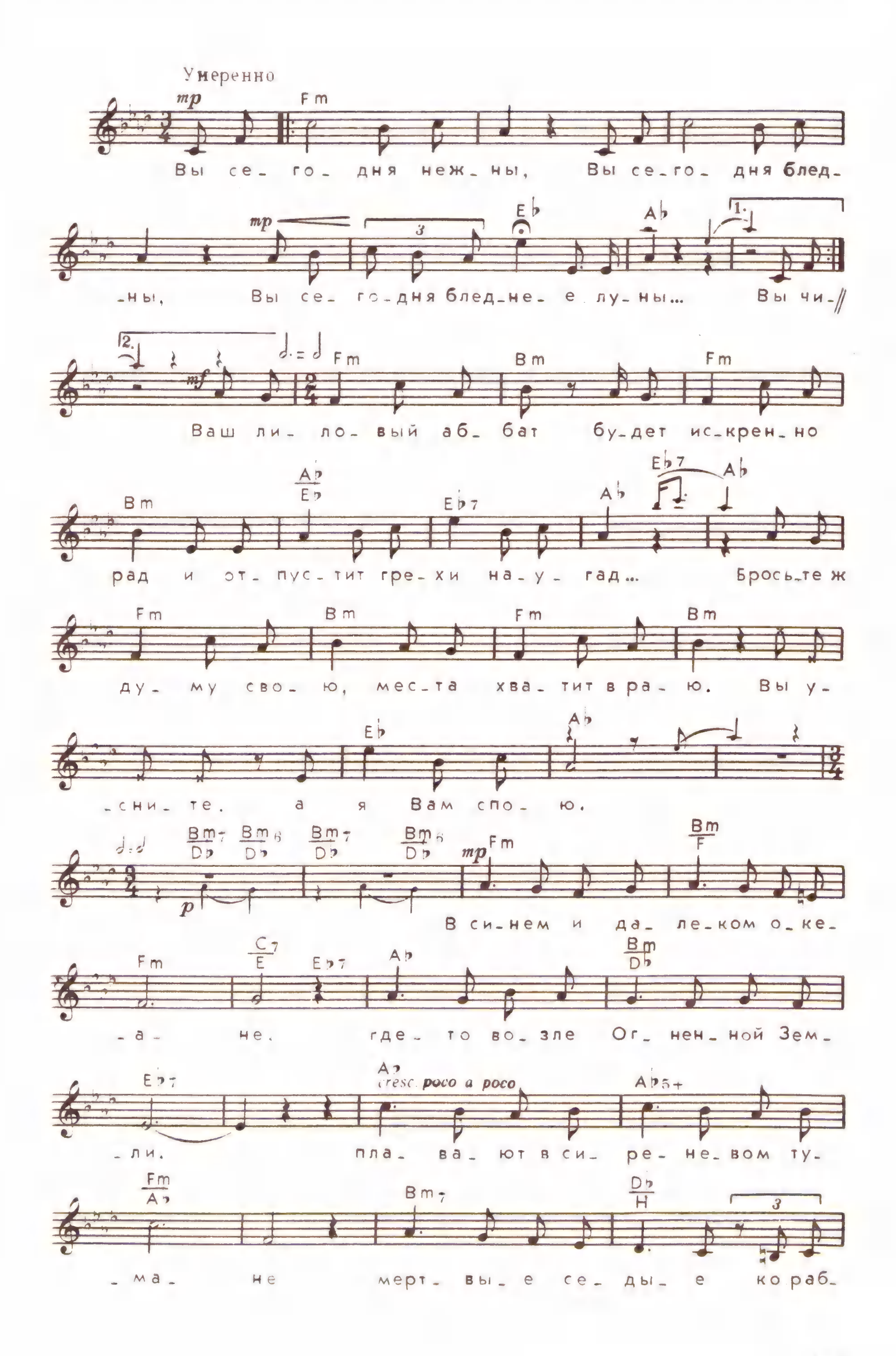
Их ведут слепые капитаны,
Где-то затонувшие давно.
Утром их немые караваны
Тихо опускаются на дно.

Ждет их океан в свои объятья,
Волны их приветствуют, звеня.
Страшны их бессильные проклятья
Солнцу наступающего дня...

В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной Земли...



Германия, 30-е годы. А. Вертинский – второй слева


Умеренно
mp
Fm
Вы се_ го_ дня неж_ ны, Вы се_го_ дня блед_
mp
3
E♭
A♭
1.
_ны, Вы се_ го_дня блед_не_ е лу_ ны... Вы чи_
2.
mf
Fm
Bm
Fm
Ваш ли_ ло_ вый аб_ бат бу_дет ис_крен_но
Bm
A♭/E♭
E♭7
A♭
E♭7
A♭
рад и от_ пус_тит гре_хи на_у_ гад... Брось_те ж
Fm
Bm
Fm
Bm
ду_ му сво_ ю, мес_та хва_ тит в ра_ ю. Вы у_
E♭
A♭
сни те, а я Вам спо_ ю.
Bm7/D♭
Bm6/D♭
Bm7/D♭
Bm6/D♭
mp
Fm
Bm/F
p
В си_нем и да_ле_ком о_ке_
Fm
C7/E
E♭7
A♭
Bm/D♭
_а_ не, где_ то во_зле Ог_ нен_ной Зем_
E♭7
A♭
cresc. poco a poco
A♭5+
ли, пла ва_ ют в си_ ре_ не_вом ту_
Fm/A♭
Bm7
D♭/H
3
_ма_ не мерт_ вы_ е се_ ды_ е ко_раб_



Fm A♭ E♭5+ A♭

_ли. Их ве_дут сле_пы_ е ка_пи_ та_

a tempo
rit.

E♭5+ A♭ E♭5+ A♭

ны, где - то за то_нув_ши_е дав_ но.

Fm p Bm

Ут_ ром их не_ мы_ е ка_ра_ва_ ны ти_хо о_пус_

D♭/H Fm f A♭

_ка_ ют_ ся на дно. Ждет их о_ ке_

E♭5+ A♭ E♭5+ A♭

ан в сво и объ_ five ять_ я, вол_ ны их при_

E♭5+ A♭ mp Fm

вет ству_ ют, зве_ ня. Страш_ ны их бес_

Bm

силь ны_ е про_ клять_ я солн_цу на_сту_

D♭/H Fm pp

_па_ ю_ще_го дня. В си_ нем и да_

Bm/F Fm Bm6/F

_ле_ ком о_ ке_ а_ не.

Fm Bm6/F Fm

где - то во_ зле Ог_ нен_ ной Зем_ ли...



Об Александре Вертинском.
(Петр Пильский)



Испано-Суиза



Петр ПИЛЬСКИЙ

Он — дитя непростой эпохи, любопытного времени с его интересными веяниями и лукавыми пристрастиями к музейности, к старой мебели, к старинным часам и монетам, к стихам, кокетливым стилизациям XVIII века и старым мастерам,— эпохи жеманства, манерности, мечтательной усталости, внутренней расшатанности и балованного снобизма.

И сам он такой же изящный, полувыдуманный, нереальный враг земли и земного, капризник, фантаст и романтик, избалованный ребенок, полукомпозитор и поэт, талантливый, во всяком случае — «выразительный человек» сцены.

Ко всему — к миру, к смерти, женщинам, любви — он никогда не подходил прямо: в с е г д а б о к о м.

А. Н. Вертинский — отрицатель простоты в жизни и поклонник естественности на сцене. Для него правда существует только в искусстве, и естественность ему дорога только в театре.

Его тщательный, нарядный, строгий костюм, его нервное лицо, манеры, жесты, сопровождающие текст, говорят о тайной влюбленности в наджизненность, безжизненность и внежизненность.

Его мир двойственен: с у щ и й и п о с т и г а е м ы й.

И пред первым он испытывает боязнь и страх — пред его грубостью, пред его силой и бесфлерностью, чтоб отдать все свое коленопреклоненное обожание постигаемому, несуществующему миру выдуманной красоты, воспеть его полутона и бесконтурность, его ароматы, вздохи и поцелуи, его призрачность, случайность и непостоянство.

Отсюда — неуходящие отсветы его застывшей грусти. В его песнях — л а с к а, но не страсть, п а с с и в н о с т ь вместо актуальности, р а з о ч а р о в а н н о с т ь, к а п р и з ы и у т о м л е н н о с т ь.

И от этого коренного размирения с реальной жизнью в нем — вечная неудовлетворенность, оскорбленность убогостью, бедностью дней, проповедь украшения мира и, конечно, скрытая колючая и р о н и я, болезнь; познание его веком, его современниками — и Брюсовым, и Андреем Белым, и особенно Блоком.

Без сомнения, в своей косвенной преемственности Вертинский идет именно от Блока, от его печального плача, от испепеленности, от его «помертвелых губ» с «морщиною гробовою», от его «тоски небытия», его «пустой вселенной».

Иногда я думаю, что ему аплодировал бы даже Оскар Уайльд. Ведь это он проповедовал несбыточное, наши вымыслы, очаровательную ложь, эту великую силу человеческого взаимопритяжения, общения, исповедничества; он короновал искусство, которое знает цветы, каких нет в лесах, птиц, каких нет ни в од-

ной роще, творит великолепные чудеса, когда хочет, и по одному своему велению вызывает из пучин чудовища и миндальные деревья заставляет цвести зимой.

Вот почему мы аплодируем Вертинскому, не отпускаем со сцены, заставляем повторять и повторять такие знакомые, надолго запоминаемые и простые песни.

Мода? Но мода всегда — «отрицание вечности и даже длительности». Проходят годы, меняется жизнь, а за Вертинским никак не может захлопнуться театральная дверь, и он все тот же, с тем же хорошим успехом, вместе с нами проживший четыре эпохи, четыре века, ибо его родили довоенные годы, его не закрыла война, от него не отвернулись грозные часы революции, своим признанием его подарили и тихие дни эмиграции.

Нет, это — не только будуарное творчество. Это — интимные исповеди. Это — я, это — вы, это — мы все в наших жаждах ухода от повседневности, от буден, от опрощения жизни, и песни Вертинского не только театрально интересны, не только эстетически ценны, но, может быть, еще и общественно важны и нужны.



А. Вертинский. Париж, 30-е годы

В постоянном союзе этого непостоянного таланта с капризной выдумкой, с милой дерзостью вымысла Вертинский с годами в своем сценическом росте становится все проще, чеканней и выразительней, как-то особенно остро постигая и воспринимая новые мотивы летящей жизни, улавливает все новые такты, темпы современности, ее волнений, ее танцев, ее пристрастий, прочности и мечтаний.

Вместе с вызреванием он становится как-то смелей, ответственней, маска переходит в полумаску, обнажается и раскрывается творящий человек, распятая личность, и тихо, но явно умирает костюмированный Пьеро, чтобы, отодвинувшись, дать место автору с нервным, чуть-чуть бледным лицом, в черном фраке, поющему о том немногом святом, что еще осталось в дремлющей душе многих.

ИСПАНО-СУИЗА
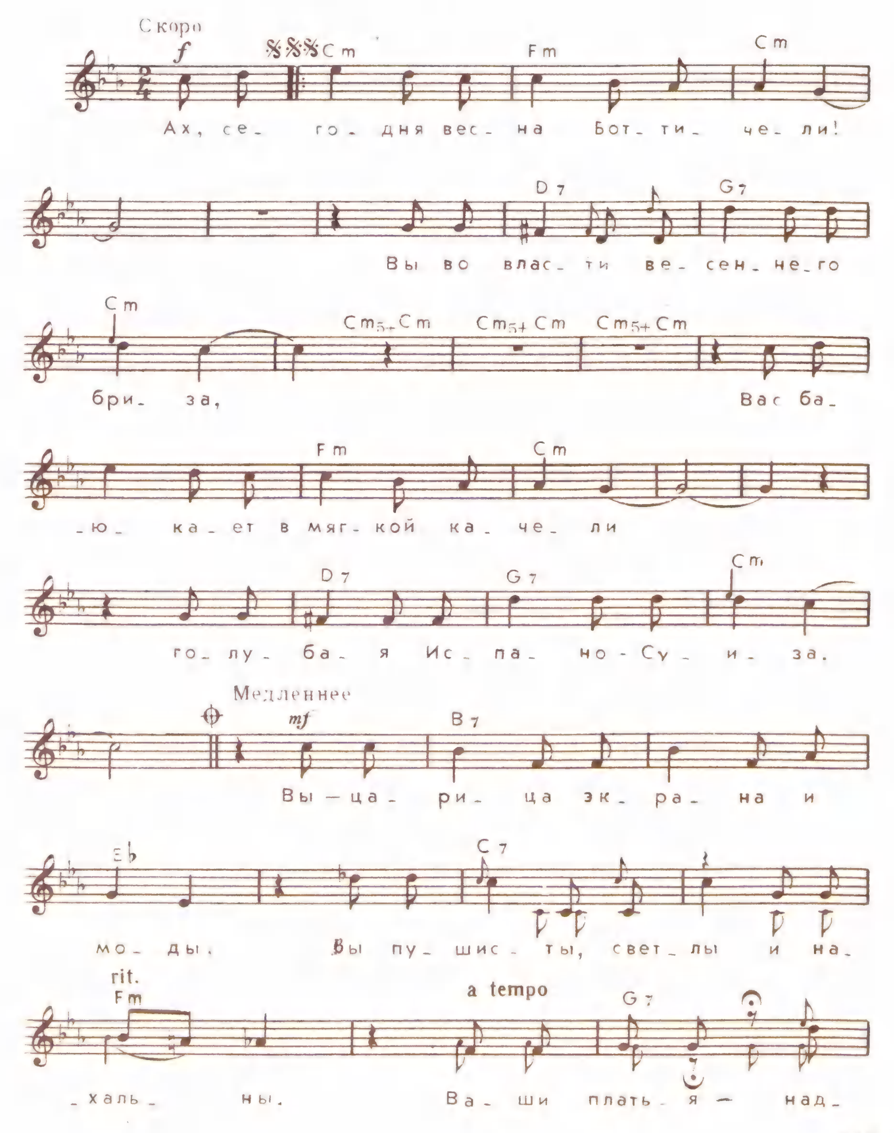
(Шарж на западную кинозвезду)
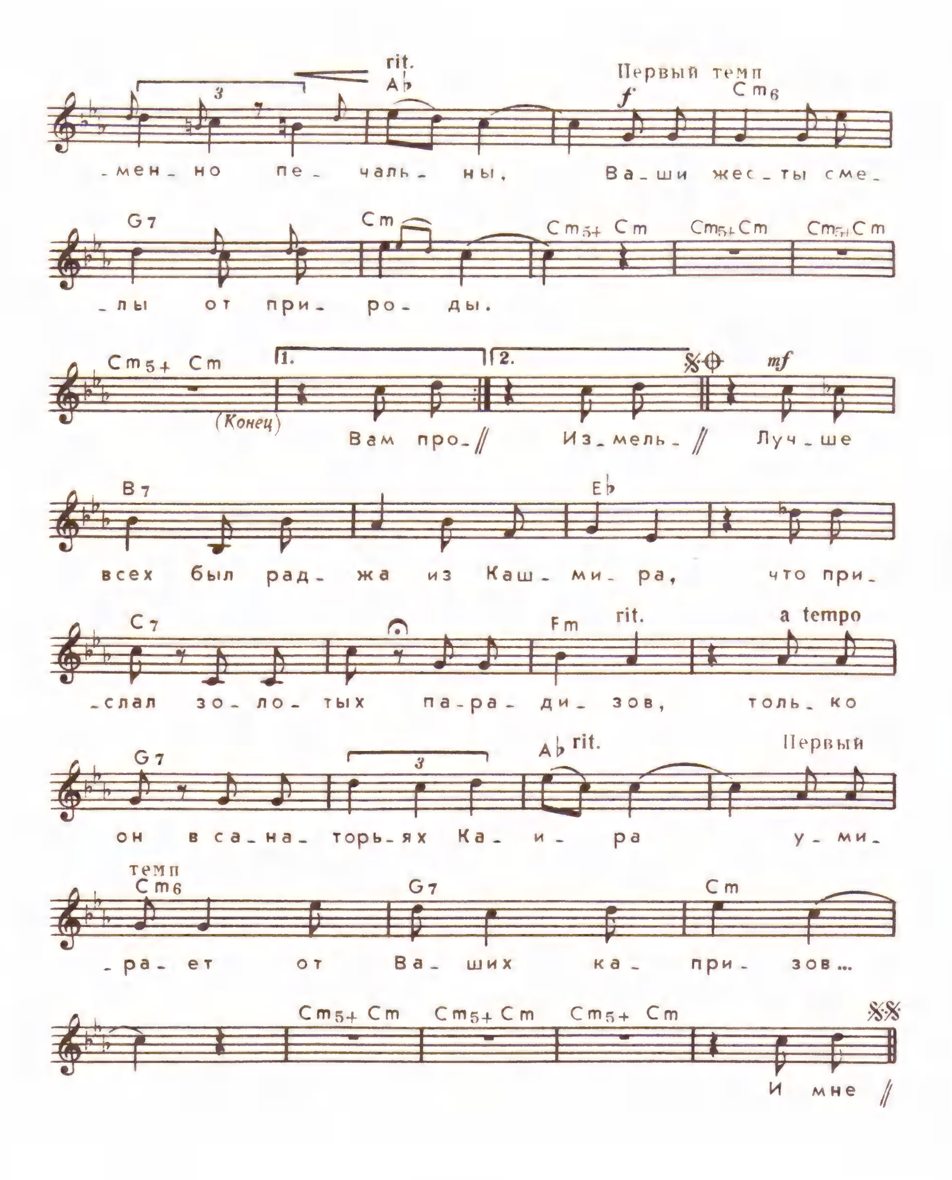
Ах, сегодня весна Боттичелли!
Вы во власти весеннего бриза,
Вас баюкает в мягкой качели
Голубая Испано-Суиза.
　　Вы — царица экрана и моды,
　　Вы пушисты, светлы и нахальны,
　　Ваши платья — надменно-печальны,
　　Ваши жесты смелы от природы.

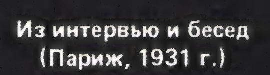
Вам противны красивые морды,
От которых тошнит на экране,
И для Вас все лакеи и лорды
Перепутались в кинотумане.
　　Идеал Ваших грез — Квазимодо.
　　А пока его нет, Вы — весталка.
　　Как обидно, и больно, и жалко —
　　Полюбить неживого урода!

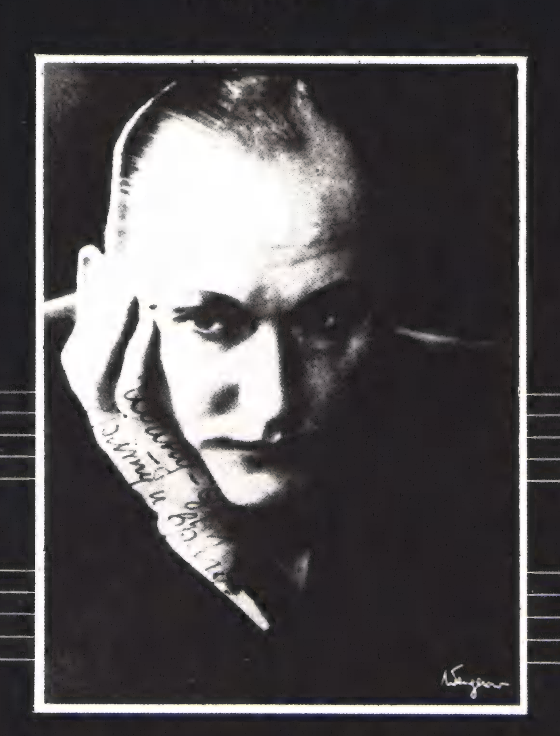
Измельчал современный мужчина,
Стал таким заурядным и пресным,
А герой фабрикуется в кино,
И рецепты Вам точно известны.
　　Лучше всех был Раджа из Кашмира,
　　Что прислал золотых парадизов,
　　Только он в санаторьях Каира
　　Умирает от Ваших капризов...

И мне жаль, что на тысячи метров
И любви, и восторгов, и страсти,
Не найдется у Вас сантиметра
Настоящего, личного счастья.
Но сегодня Весна беспечальна,
Как и все Ваши кинокапризы.
И летит напряженно и дально
Голубая Испано-Суиза!




rit.
A♭
Первый темп
f
Cm6
-мен-но пе- чаль- ны, Ва-ши жес-ты сме-
G7
Cm
Cm5+ Cm
Cm5+Cm
Cm5+Cm
-лы от при- ро- ды.
Cm5+ Cm
1.
2.
mf
(Конец)
Вам про-// Из-мель-// Луч-ше
B7
E♭
всех был рад- жа из Каш- ми- ра, что при-
C7
Fm
rit.
a tempo
-слал зо- ло- тых па-ра- ди- зов, толь- ко
G7
3
A♭ rit.
Первый
он в са-на- торь-ях Ка- и- ра у- ми-
темп
Cm6
G7
Cm
-ра- ет от Ва- ших ка- при- зов...
Cm5+ Cm
Cm5+ Cm
Cm5+ Cm
И мне //


Из интервью и бесед
(Париж, 1931 г.)



Танго Магнолия



Париж, 1931 год

Он терпеть не может давать интервью.

В крайних случаях он сам их пишет в шутливой форме: так было с Ригой и Ревелем, где в местных газетах появлялись полные искреннего остроумия «само-интервью» во время гастролей популярного певца.

Но для «Рубежа» А. Н. Вертинский делает исключение и дает беседу... хотя бы на тему о том, что бесед с журналистами не выносит.

Он передает увесистый альбом, где собраны, наряду с отзывами о нем, его собственные статьи и фельетоны.

— Вы пишете и печатаетесь? Значит, вы вдобавок еще и журналист, Александр Николаевич?

— О, я на все руки мастер! — весело шутит он. — Сочиняю песенки, сам пишу к ним музыку, сам их пою, а, кроме того, отвратительно плохо играю на бильярде и талантливо глажу крахмальное белье...

Как пишет он свои вещи и как их исполняет — об этом знают сотни тысяч его поклонниц и поклонников!

Мы пьем чай с шоколадным тортом, а Александр Николаевич мечтает:

— Хорошо бы съездить в Палестину для концертов: вот, где много у меня поклонников! В Иерусалиме, Яффе, других местах... Уверен в полных сборах, а главное — за десять концертов здесь, в Париже, столько не заработаешь, сколько в Палестине за один: валюта высокая.

Я говорю А. Вертинскому, что у него не меньше поклонников и на Дальнем Востоке:

— Почему не поехать туда?

Оказывается, Александр Николаевич уже думал об этом и решил:

— Да, я побываю на Дальнем Востоке. Выработаю подробно маршрут и отправлюсь в турне: Шанхай, Тяньцзин, Харбин. Потом — Япония.

Беседа переходит на воспоминания о далеком прошлом.

В 1918—1919 годах популярный певец был в Харькове.

Пишущий эти строки был тогда в Харькове же председателем кафе поэтов «Сезам».

А. Вертинский часто посещал «Сезам» и не раз там выступал.

Речь заходит о «литературном суде над Вертинским», устроенном в Харькове с его согласия.

— Мне понравилось ваше «последнее слово»,— вспоминаю я.— Помните, вы сказали: «Утверждают, что Вертинский — не искусство. А вот, когда вашим внукам через 50 лет за увлечение песенками Вертинского будут продолжать ставить двойки в гимназиях и школах, тогда вы поймете, что Вертинский — это искусство!..»

— Какие ваши самые последние песенки?

— «В степи молдаванской» и «Танго «Магнолия»».

А. Вертинский в истекшем феврале вернулся из турне по Румынии. Его сопровождал там шумный успех.

В Кишиневе прошло десять концертов при битковых сборах с аншлагами.

Успех дошел до пределов, каких немыслимо было даже и ожидать. Так, например, «В степи молдаванской» до того понравилась, что ее там всюду стали распевать, как... гимн Молдавии!..
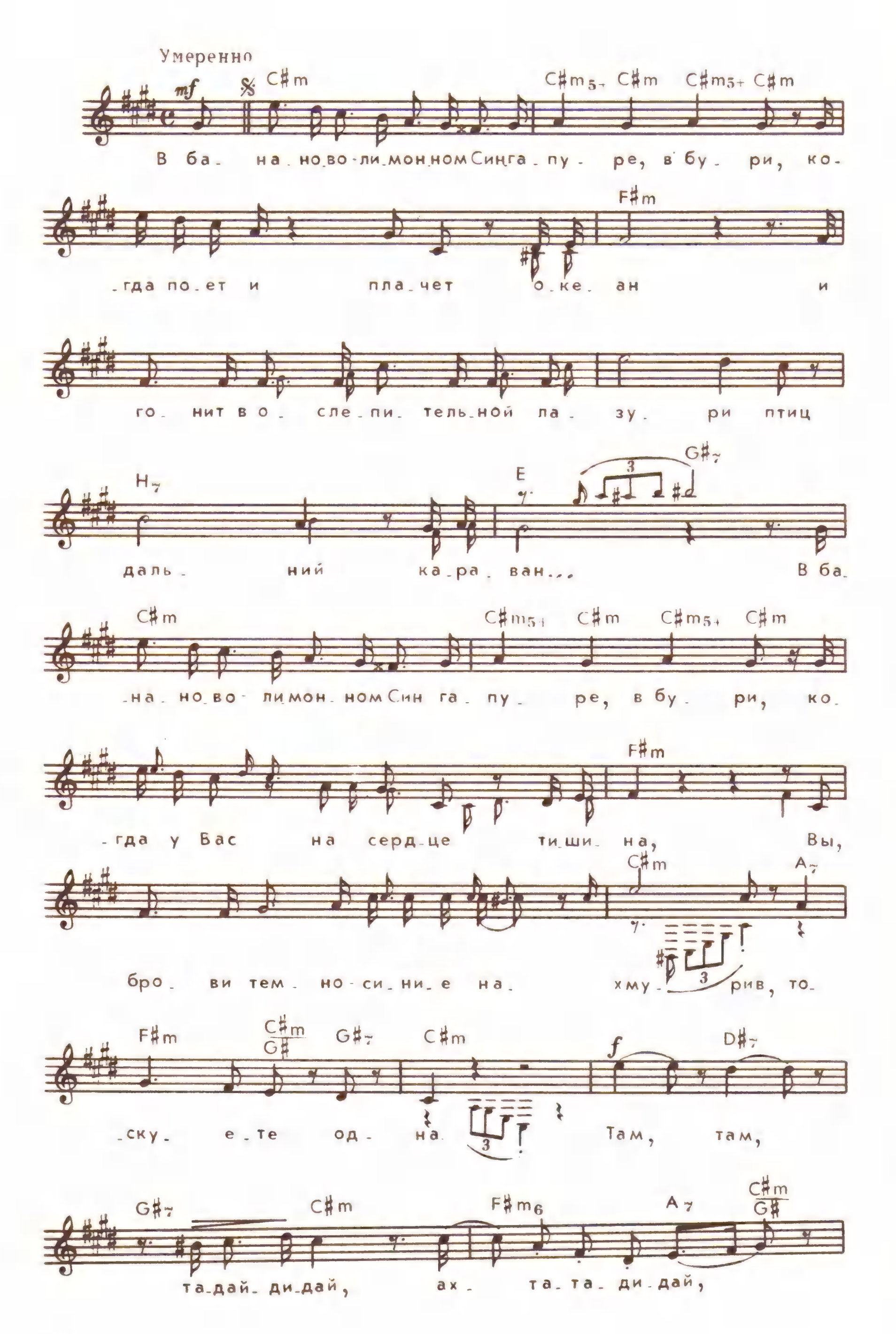
ТАНГО «МАГНОЛИЯ»
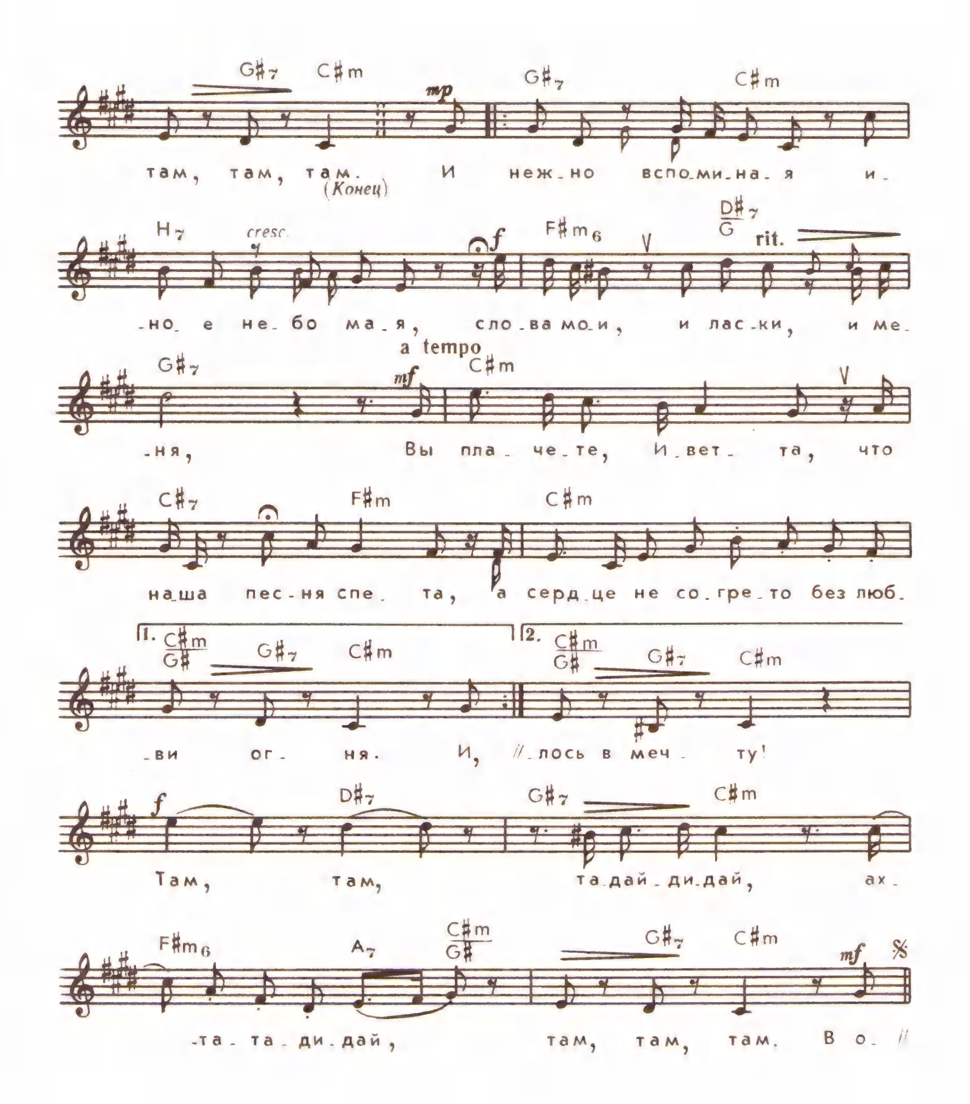
В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Когда поет и плачет океан
И гонит в ослепительной лазури
Птиц дальний караван...
В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Когда у Вас на сердце тишина,
Вы, брови темно-синие нахмурив,
Тоскуете одна.

И нежно вспоминая
Иное небо мая,
Слова мои, и ласки, и меня,
Вы плачете, Иветта,
Что наша песня спета,
А сердце не согрето
Без любви огня.

И, сладко замирая
От криков попугая,
Как дикая магнолия в цвету,
Вы плачете, Иветта,
Что песня недопета,
Что это лето — где-то —
Унеслось в мечту!

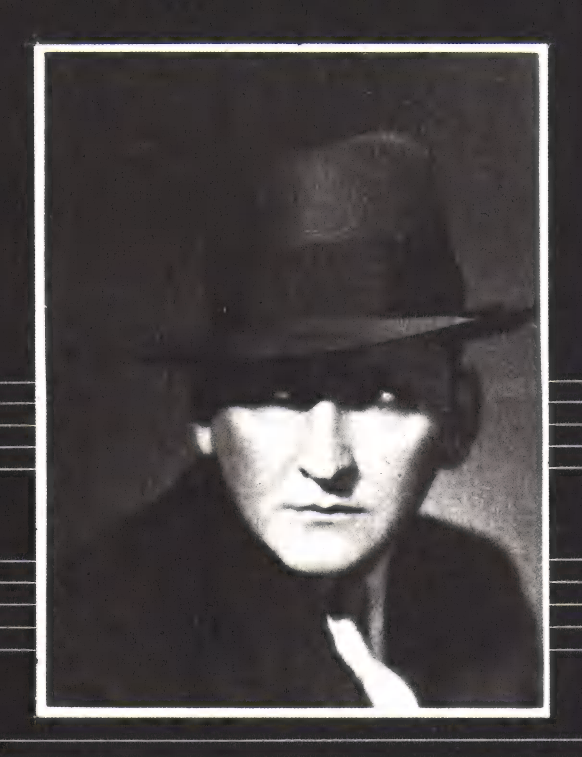
В опаловом и лунном Сингапуре, в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре,
Под вопли обезьян.
В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Запястьями и кольцами звеня,
Магнолия тропической лазури,
Вы любите меня.


Умеренно
C♯m
C♯m5+ C♯m C♯m5+ C♯m
В ба_ на_но_во_ли_мон_ном Синга_пу_ ре, в бу_ ри, ко-
F♯m
_гда по_ет и пла_чет о_ке_ ан и
го_ нит в о_ сле_пи_ тель_ной ла_ зу_ ри птиц
H7
E
G♯7
даль_ ний ка_ра_ ван... В ба_
C♯m
C♯m5+ C♯m C♯m5+ C♯m
_на_но_во_ли_мон_ном Син га_пу_ ре, в бу_ ри, ко_
F♯m
_гда у Вас на серд_це ти_ши_ на, Вы,
C♯m
A7
бро_ ви тем_но_си_ни_е на_ хму_ рив, то_
F♯m
C♯m/G♯
G♯7
C♯m
D♯7
ску е_те од_ на. Там, там,
G♯7
C♯m
F♯m6
A7
C♯m/G♯
та_дай_ди_дай, ах та_та_ди_дай,


G♯7 C♯m
mp
G♯7 C♯m
там, там, там. И неж-но вспо-ми-на-я и-
(Конец)
H7 cresc.
f
F♯m6
D♯7/G
rit.
-но-е не-бо ма-я, сло-ва мо-и, и лас-ки, и ме-
a tempo
G♯7
mf
C♯m
-ня, Вы пла-че-те, И-вет-та, что
C♯7 F♯m C♯m
на-ша пес-ня спе-та, а серд-це не со-гре-то без люб-
1. C♯m/G♯ G♯7 C♯m
2. C♯m/G♯ G♯7 C♯m
-ви ог-ня. И, //-лось в меч-ту!
f
D♯7 G♯7 C♯m
Там, там, та-дай-ди-дай, ах-
F♯m6 A7 C♯m/G♯ G♯7 C♯m
mf
-та-та-ди-дай, там, там, там. В о-//



Александр Вертинский.
"СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ"



Сероглазый король



Сероглазый король

Этот отрывок моих воспоминаний посвящен шагам нашего российского Немого еще кино… Иван Мозжухин. Это имя, конечно, неизвестно нашей молодежи, но людям моего возраста оно говорит много. Иван Мозжухин был любимцем публики, посещавшей тогда первые кинотеатры предреволюционных дней нашей Родины. Кинематография наша была тогда в зачаточном состоянии. И мы с Иваном Мозжухиным были отчаянными и безответственными зачинателями той огромной теперь области искусства, которая сегодня играет большую и важную роль в жизни нашего государства.

Мы ничего не знали и ничего не умели, но, идя ощупью впотьмах, «по интуиции», все же постепенно находили какие-то тропинки, по которым и добирались в конце концов до профессионального мастерского понимания своих задач в этой никому не ведомой области искусства. Но дороги наши разошлись, меня влекли иные огни, иные цели. Я был больше поэтом, чем актером. Я пошел по нелегкой дороге новаторства, создавая свой собственный жанр, исходной точкой его была влюбленность в русскую речь, воспетую тогда Бальмонтом, и протест против рутины, царящей 200 лет в русских романсах. И действительно, каково содержание тех романсов, которые мы слушаем и сейчас?

Розы — грезы. Соловей — аллей. Кровь — любовь. Тень — сирень. И все. Все эти суррогаты, приготовленные из слюны и сахара, возмущали меня. Неужели нельзя петь о чем-нибудь более интересном? Ведь вокруг огромная жизнь с ее горем и страданиями, радостью и весельем — тысячи тем, тысячи сюжетов. И я ушел из кино, плененный своими мечтами, а Мозжухин твердо остался в нем. Наши пути разошлись и сошлись опять уже в эмиграции, в Париже, куда Мозжухин уехал с труппой Ермольева в начале 17-го года, еще до революции. Вернуться на родину ему не пришлось, хотя он и рвался всем сердцем к ней. Вернуться было трудно в те времена и даже невозможно. Тогда за границей еще не было даже наших консульств, а полпредства, в которые мы обращались, отвечали нам отказами, ссылаясь на Москву. Так и застряли мы с ним на много лет на чужбине. Выхлопотав себе фантастический паспорт Республики Либерия, которая, между прочим, состоит из только чернокожих жителей, Мозжухин стал работать во Франции в Париже у Гомона в основной фирме «Альбатрос» и скоро занял ведущую роль во французской кинематографии, которая тогда была очень слаба и не имела ни одного актера с именем, кроме уже сошедшего с экрана Макса Линдера. Постепенно он стал первым киноактером Европы и широко прославил вместе с Наталией Лисенко нашу русскую кинематографию.

Иван Мозжухин… Блистательный, великолепный, сероглазый, обожаемый Европой, удачливый, легко побеждающий и на сцене и в жизни — обаятельный, точный, четкий, чуть ironиче-

ский, актер, выдумщик, затейщик — человек необыкновенного личного шарма — покоритель сердец и мужских и женских, а главное женских.

Я никогда не видел актера, которому бы так легко давался успех и победы, как ему.

Один взгляд, одна улыбка, чуть поднятая бровь...

И женщины любых возрастов, любых национальностей, любых классов общества — были покорены, загипнотизированы им.

Если Иван жил в каком-нибудь доме, то все жильцы, до консьержки включительно, были влюблены в него.

Он улыбался, чуть-чуть паясничал, никогда не принимал всерьез своей славы, обожал людей неожиданных, неустроенных, протестующих; терпеть не мог буржуазии — довольства, удобств комфорта.

Зарабатывая громадные деньги, он умудрялся каким-то непонятным образом растрачивать их до конца.

Жил в отелях, редко в квартирах... Обожал свободу, друзей, споры, смелые мнения. Мог неделями возиться с какими-то неудачниками, бунтарями в искусстве, новаторами. Его хватало на все.

Музеи, театры, лекции Андре Моруа о романтизме, кроссловицы, свидания, телефоны, газеты, дансинги, книги, стихи, разговоры...

Не знаю, когда спал этот человек.

Пожалуй, меньше всего он любил свое искусство.

Его нельзя было уговорить пойти в кино. Даже в эпоху наивысшего успеха, когда театры Парижа ломились от публики, его нельзя было убедить показаться в ложе на премьере «Казановы» или «Хаджи-Мурата» или «Мишель Строгова».

Обыкновенно он сидел дома в этот день или уезжал за город.

Он не любил своего искусства.

И оно отомстило ему.

В этом, мне кажется, и был ключ всей его личной трагедии...

Мое знакомство, а потом и долголетняя дружба с Иваном Мозжухиным (первым актером российского кино) начались очень давно. Это был 1912-13-й год. Оба мы были чудесно молоды, легкомысленны, веселы и свою работу в кино не считали ни работой, ни искусством. Впрочем, и само кино тогда было очень молодо. Первые шаги «немого младенца» были робки и неуклюжи, но в том, что этот ребенок будет ходить, сразу же не было никаких сомнений.

Настоящие, серьезные актеры не хотели играть для кино. Они не считали это искусством, и в начале ему пришлось искать актеров и чуть ли не умолять их сниматься. Когда я вспоминаю первые картины Ханжонкова, в которых мы снимались с Мозжухиным, я невольно начинаю смеяться.

Что это были за картины! Мы не умели ни ходить, ни двигаться, ни смотреть с экрана, не знали, куда девать руки, ноги, как садиться, как кланяться, что говорить, чтобы создалось впечатление разговора (текста ведь не было никакого). Сценарии были написаны примитивно, режиссеров не было. Правда, какие-то деловитые, полуграмотные парни типа московских приказчиков от Чичкина распоряжались на съемках, но дать нам совет, указание — они не могли, ибо сами ничего не знали и не понимали в нем.

Мы были предоставлены самим себе и играли как кому вздумается. Это было жуткое время!

Позже появились первые режиссеры — Евгений Бауэр, Чердыкин, Протазанов, Старевич, работавший с куклами и искусственными птицами,— и фильмы начали постепенно становиться все лучше и серьезнее. Стали появляться и актеры кино. Появилась Вера Холодная — молодая и очень красивая женщина, только что вышедшая замуж, которую я уговорил начать сниматься, к великому неудовольствию ее мужа. Появилась Мария Горичева, Тамара Гедиванова, позже Вера Коралли — балерина Большого театра, Полонский, Рунич, Максимов, Юренева.

Сразу же выяснилось, что удачнее всех «выходит» Мозжухин. Он был очень фотогеничен и как-то сразу уловил тот внутренний ритм, который надо было сочетать с ритмом киноаппарата. Он был «статуарен», что было самое главное — прекрасно чувствовал свет, у него были «самоигральные» глаза, и к тому же он был еще и красив. Словом, его имя очень скоро выдвинулось на первый план.

Фирма Ханжонкова была богатой и солидной фирмой. Денег на постановки не жалели, пьесы выбирали интересные, большей частью известных авторов. Много уделяли внимания классикам, была своя фабрика, своя костюмерная, привлекались хорошие актеры, тут же создавались режиссеры, декораторы, техники, сценаристы. Словом, дело было поставлено по-настоящему.

Зато остальные кинодельцы, вроде Дранкова, Талдыкина, Перского — ставили невероятную халтуру, о которой даже вспоминать страшно: «Вот мчится тройка почтовая», «Тайна Германского посольства» и др.

Ивану Мозжухину повезло, он сразу занял первое положение ведущего актера. А после «Пиковой дамы» и «Отца Сергия» по Толстому — был уже признанным «Королем экрана». Его имя становилось все более и более популярным в России и разгорелось в яркую звезду на европейском горизонте, когда он уехал вместе с Ермольевым и его труппой в 1917 году.

Теперь хочется вернуться немного назад, чтобы рассказать одну забавную историю из времен нашей с Мозжухиным юности. Это было в Москве в 1912-13 году. Вскоре после смерти Толстого его сын — Илья Львович, кстати сказать, очень похожий на своего отца, задумал поставить для кинематографа один из рас-

сказов Льва Николаевича — «Чем люди живы». В рассказе говорится об ангеле, изгнанном небом и попавшем в семью бедного сапожника. Илья Толстой ставил картину сам, и действие, по его замыслу, должно было происходить в Ясной Поляне. Средства для этого были найдены, актеры приглашены — задержка была только за одной ролью самого ангела.

Оказалось, что эту роль никто не хотел играть, потому что ангел должен по картине упасть... в настоящий снег... и совершенно голым к тому же.

А зима была суровая в том году. Стоял декабрь. Однажды мы сидели в кантине у Ханжонкова за обедом, когда приехал Илья Толстой. Сперва он предложил эту роль Ивану. Иван со смехом отказался.

— Во-первых, во мне ничего «ангельского» нет, а во-вторых, получить воспаление легких — меня не устраивает, — отвечал он.

Толстой предложил мне.

Из молодечества и чтобы задеть Ивана — я согласился.

Актеры смотрели на меня как на сумасшедшего.

Сговорились мы на ста рублях. Сумма по тому времени была довольно приличной. Шуткам и издевательству актеров не было конца.

Я презрительно отмалчивался, изображая из себя героя.

Вечером мы уехали.

Утром на вокзале в Ясной Поляне нас встретили сани-розвальни и меховые шубы. В имении уже все было приготовлено для съемки, и мы, попив чаю с Софьей Андреевной, которую эта затея очень интересовала, отправились в поле, где должна была происходить сцена.

Я загримировался ангелом, надел парик с золотыми локонами и, раздевшись догола в маленькой карете, выпил полбутылки коньяку. Потом я влез на крышу амбара и прыгнул оттуда в снег, спиной к аппарату. Прыгнув, я осмотрелся кругом (как полагалось по роли) и, дрожа от холода, пошел по дороге вдаль.

Хорошо, что эту сцену снимали только один раз!

Все это заняло минут пять, но тело мое стало совершенно стеклянным от холода. Я окоченел моментально. Когда съемка закончилась, меня положили в карету, укутали в шубы и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе меня оттирали снегом и отпаивали коньяком. Какая-то старушка горько плакала надо мной, сокрушаясь, и жалостливо причитала:

— И... бедненький!.. До чего ж ты допился, сердешный!.. Кто ж тебя ограбил, родименький?.. Догола раздели!.. Совести у людей нет!..

Мы ее не разубеждали.

Меня положили на полати, накрыли шубами. Я выспался и к обеду, как ни в чем не бывало, сидел за столом с Софьей Андреевной, слушая ее рассказы о Льве Николаевиче.

— Ну как вы решились на такую отчаянную роль? — с ужасом спрашивала она.

Утром я уехал. Сто рублей лежали у меня в кармане.

В Москве меня окружили журналисты, подробно расспрашивая о поездке. Я расписывал ее, не жалея красок.

— Сколько же вы получили за эту роль? — спросили они.

— Мало! Всего сто рублей.

Это, действительно, было немного за такое дело.

— Дурак был! — деловито заключил я.

На другой день в московских газетах было напечатано подробное описание этого события.

«Почему же так мало? — спросили мы Вертинского»,— писал интервьюер. «Дурак был!..» — ответил наш собеседник.— Мы не стали спорить с талантливым артистом и поспешили откланяться»,— заканчивалось интервью.

Иван издевался надо мной полгода после этой истории.

Помимо моих концертов за границей, мне пришлось много играть для кино.

Множество людей прошло перед моими глазами. Кино интересовало всех. Актеры кино были более популярны, чем короли или президенты. Нас узнавали и любили всюду и все — от швейцаров и приказчиков магазинов до людей самого высокого общественного положения. Все двери открывались перед нами, все лица расплывались в улыбках при встречах. Знакомства заводились самые неожиданные. Утром на съемке мы знакомились, например, с профессором Эйнштейном (автором теории относительности), а вечером обедали с негритянской опереточной дивой Жозефиной Бекер или с Дугласом Фербэнксом.

Европейские магнаты приглашали нас на свои яхты в Каннах, а восточный магараджа Омар Капуртала привозил нам на съемки коньяк. Завтракали с нами в кантине, чтобы посмотреть, как мы играем в каком-нибудь «Мишеле Строгове» или «Казанове». Мы снимались в Италии, в Индии, и в джунглях, и у истоков Нила, и в Африке.

Блуждая по разным странам, куда забрасывали нас сюжеты картин, заводили самые невероятные знакомства. Как-то на Кот д'Азюр в Ницце, в отеле «Негреско», где мы остановились с Мозжухиным, вечером в ресторане мы обратили внимание на скучавшего господина, который через одного из наших приятелей выразил желание познакомиться с нами и объединиться. Это был будущий румынский король Кароль, отец Михая, только что изгнанный своим отцом Фердинандом из Румынии за связь со знаменитой мадам Лупеску. Он жил в Ницце за счет одного румынского банкира, субсидировавшего своего будущего монарха в ожидании предполагаемых благ.

Кароль скучал и мечтал о возвращении на родину. Мы невольно привлекали его своей бесшабашностью и в свободное время иногда даже допускали к своему безалаберному веселью.

— Когда я буду у себя на родине,— мечтательно говорил он нам,— вы приедете ко мне в Румынию. Я обязательно хочу, чтобы вы с Вертинским сыграли один сценарий моей матери из румынской жизни.

А его преподобная мамаша, между прочим, писала романы под загадочным псевдонимом «Кармен-Сильва». И что это были за романы!

— Вы можете остановиться у меня во дворце, в Бухаресте,— любезно заканчивал он.

Потрясенные, мы благодарили.

Иван любил королей. Особенно безработных. Он чувствовал к ним неодолимую симпатию.

— Ты понимаешь,— говорил он,— например, нас, актеров, выгонят из одного театра — мы в другой пойдем. А им, бедняжкам, куда идти? Их же ни одна страна не возьмет.

Из колоды европейской политической игры в то время было выброшено на рынок немало «фигур»...

Все эти «отыгранные короли», «королевы», «тузы» и «валеты» проживали в Европе в ожидании, что их народы опомнятся и позовут, наконец, обратно своих «обожаемых» монархов.

Но «народы» молчали, как проклятые. Короли грустили и писали душераздирающие мемуары.

Впоследствии Кароль улетел на аэроплане в Румынию, где правительство предателя Маниу предварительно сторговалось с Каролем и посадило его на отцовский престол.

Ненадолго, правда.

Карьера Ивана Мозжухина была воистину блестящей.

Тот успех, та популярность, то восхищение, которые выпали на его долю, редко достаются актерам. Необычайно общительный, большой «шармер», веселый и остроумный, он покорял всех. Даже своих врагов, которых у него, как у всякого выдающегося артиста, было достаточно. Пятиминутным случайным разговором он умел что называется «купить» человека даже самого враждебного ему.

Он был широк, щедр, очень гостеприимен, радушен и расточителен. К сожалению, слишком расточителен.

Его огромные заработки позволяли ему все. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей, а иногда и совершенно посторонних людей жили и кутили на его счет. Он любил компании и платил за всех. Деньги лились как вода.

Когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина,— ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины мы вытаскивали из коробки крючком для засте-

гивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов, а купить хоть одну тарелку, нож или вилку — ему не приходило в голову. Гости ели прямо с бумаги.

Он был настоящей и неисправимой «богемой», и никакие мои советы и уговоры на него не действовали. Он буквально «сжигал» свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность.

Вино, женщины, друзья — это было главное, что его интересовало. Потом книги. К остальному он был равнодушен. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны. Но я как-то еще с юности имел на него влияние.

— Ты мой самый дорогой, самый любимый враг! — полушутя-полусерьезно говорил он.

Из Парижа он попал в Америку. В Голливуде, где «скупали» знаменитостей Европы как товар, им занимались мало. Американцам важно было «снять» с фильмового рынка звезду для того, чтобы на освободившееся место пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно «портили» их, проваливая у публики. Платили за это сколько угодно. Деньги не играли роли. Политика была, как видите, жестокая. Попавшие в Голливуд актеры незаметно «сходили на нет». Рынок заполняли только американские «стар» (звезды).

Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трех нарочно неудачных картинах, где он играл то великого князя, который устраивает еврейские погромы, то «большевика», который расстреливает невинных аристократок, как куропаток на охоте.

Наивная американская публика, которая имеет привычку переносить на актера все личные качества тех лиц, роли которых он играет, невзлюбила его.

Он вернулся в Европу. Здесь он еще играл несколько лет — то во Франции, то в Германии, зарабатывал все еще огромные деньги. Но карьера его уже шла к закату.

Говорящее кино окончательно убило его. Голос его не был фоногеничен. Так начался его конец.

Я помню, как однажды в Берлине мы с ним сидели в ложе в «Уфа-Палас». Я уговорил его посмотреть какой-то фильм. В прибавление к этому немому еще фильму шла картина «Скотный двор», но уже з в у ч а щ а я. Это была первая попытка «Великого Немого» заговорить.

Все было, конечно, необычайно примитивно.

Петух кричал. Куры кудахтали, корова мычала, и кто-то пилил дрова.

Звуки были только приблизительно похожи и шли откуда-то издалека, в измененных тембрах, точно из-под земли.

Выходя из кино, я сказал:

— Иван, эта картинка — первый звонок тебе и всем актерам немого кино.

Я никогда не забуду, каким бешенством исказилось его лицо и каким отчаянным спором закончился этот наш вечер...

Он считал мои слова безумием. Мы чуть не поссорились.

А дальше все уже пошло как во сне...

Каждая картина — была новой победой заговорившего Немого.

Иван пробовал приспособиться, или вернее — его пробовали приспособить к нему — это не удавалось. Несколько попыток сыграть в говорящем кино не увенчались успехом, да кроме того, от слишком «широкой» жизни на лице его появились следы, спрятать которые уже не мог никакой грим. Он старел. Фильмовый век необычайно короток. Кроме того, он был актером старой школы, и американские актеры забивали его своей нарочитой простотой и естественностью. Новая школа заключалась в том, чтобы... не «играть» кого-то, а — б ы т ь им! Он этого не мог усвоить. К «говорящему» кино он пылал ненавистью, которую не скрывал. Я расстался с ним в 34-м году, уехав в длительное концертное турне по Америке. Расстались мы очень холодно, поссорившись из-за какого-то пустяка, чего я себе никогда не могу простить. И больше я его не видел.

Я очень любил Ивана, несмотря на все его недостатки и странности. Прожив с ним столько лет вместе, я очень привык и привязался к нему. Из длинной вереницы друзей, приятелей и знакомых он был у меня самый близкий и самый дорогой человек.

Однажды он сыграл «Кина». Я никогда не забуду того впечатления, которое оставила во мне эта его роль. Играл он ее превосходно. И подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя — свою жизнь. Да и в действительности он был Кином. Жизнь этого гениального и беспутного английского актера до мелочей напоминала его собственную. В последнем акте Кин умирал на широкой белой постели... За окнами его комнаты бушевал ветер. Старый суфлер — его единственный друг — сидел у его ног на кровати. Жизнь постепенно покидает Кина. Силы его слабеют.

— Дай мне конец из «Гамлета»,— говорил Кин-Мозжухин.

И старый суфлер, перелистывая книгу, тихо шепчет ему предсмертные слова датского принца.

«Что это? Возвращенье Фортинбраса?
Судьба ему передает корону!..
Горацио, ты все ему расскажешь!..» — говорит умирающий Кин... И навеки закрывает глаза.

Старый суфлер плачет. Слезы неудержимым потоком текут по его лицу... Суфлера играл актер Колин из МХАТа.

— Господа! — говорил он. — Первый актер Англии... Великий Кин... Скончался!..

Я был уже в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что Мозжухин болен, что у него скоротечная чахотка, что лежит он в «бесплатной» больнице — без сил, без средств, без друзей...

15-го января 1939 года я написал в газете «Новая жизнь»:

«...Слава — это дым, это то, что проходит легко и бесследно.

И одна из самых «быстро проходящих слав», если так можно выразиться, — это слава актера.

Давно ли нас покоряли Пола Негри, Франческа Бертини, Рудольф Валентино, Алла Назимова, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербэнкс и пр. и пр. и пр....

Где все они?

Безжалостное время уже разгримировало их.

Кто-то ушел из жизни. Кого-то «ушли»...

Кому-то дали понять, что уже поздно играть горячую «девушку с Запада» или изображать покорителя сердец.

Что морщины под глазами и дряблый подбородок — больше не волнуют уже зрителей.

Что «секс» уже не доходит до покупателя...

Маленькая Ширли Темпль выросла. Ей уже 15 лет. Сейчас на экране идут ее картины, снятые пять лет тому назад.

Она еще получает «тантьему» за них, но уже не играет. Ее уже нет! Детские книжки еще полны рисунками златокудрой очаровательной девочки. Еще содрогаются наши сердца над трагедией маленькой сиротки, найденной каким-то полком в забытой деревушке.

А ее уже нет!

Она учится в американском колледже на заботливо припасенные от славы деньги и скоро выйдет замуж.

Она ушла. Это счастливый случай.

Это американский пример.

Это бывает редко. В большинстве же случаев актер состарился, опустился, сошел на «нет» и...

Или играет роли статистов у той же дирекции, где раньше играл роли премьеров, или...

Или открыл лавочку, газолиновую станцию, кабаре, молочную ферму и что-то в этом роде.

Но это у них. У иностранцев.

А у нас? У русских?

Много ли актеров можете вы назвать, которые сошли со сцены, обеспечив свою старость и свой покой?

Я лично знаю только трех:

— Шаляпин, Рахманинов и Кусевицкий.

А остальные?

Было бы скучно перечислять имена всех умерших и ушедших актеров русского рассеяния.

Как ушли они?

Тихо. Незаметно.

Редко поддержанные обществом, в нищете, в болезни, в бедности.

Если бы у нас была Родина…

Ну тогда нас бы лечили на государственный счет и может быть вылечили бы.

Если бы нас хоронила Родина…

Наш прах, вероятно, обнесли бы трижды вокруг памятника Пушкину.

В России, вообще, замечательно умели хоронить!

Но Родины нет. Мы потеряли ее.

Или она потеряла нас.

Что же осталось?

«Пора собираться. Светает. Пора уже трогаться в путь…
Две медных монеты на веки, холодные руки на грудь».

И это все.

Актеры сыграли в эмиграции самую благородную, самую нужную и важную роль — они разнесли по свету славу нашей дорогой единственной Родины.

Они покоряли чуждые народы величием нашего искусства.

Но о них никто не подумал, никто не позаботился.

Ими гордились пока они были на своем посту и забывали, как только они с него уходили.

— Шаляпин, Анна Павлова, Глазунов…

Кто чтит, кто помнит их?

Все проходит.

Есть какие угодно объединения:

военных, моряков, георгиевских кавалеров, дворян, купцов, врачей, инженеров. Вплоть до какого-нибудь общества:

«Любителей нумизматики», «Полтавских кадет», «Девиц, окончивших Смольный институт» или общества «Капля компота для рахитиков».

Но — объединения актеров — нет. И никогда не будет.

Ибо нет гнезда для перелетных птиц!

Ибо нет общежитий для аистов, ласточек или журавлей!

Такова жизнь…

Все это я говорю только к тому, чтобы обратить ваше внимание на один печальный и поучительный случай.

Вот сейчас — в маленьком госпитале под Парижем — умирает актер, которым восхищалась вся Россия, а потом Европа, Америка и чуть ли не весь мир.

— Иван Мозжухин. Кому незнакомо это имя?

Кто не помнит «Отца Сергия», «Пиковую даму», «Мишеля Строгова» или «Казанову»?

Кто из нас, русских, не гордился им?

Теперь у него чахотка в последней стадии.

Короткая газетная заметка говорит о бедности, о забвении.

А мы, актеры, живые, оставшиеся, уцелевшие — мы помним и стараемся помочь усталому брату и протянуть ему руку.

18-го января в среду мы все соберемся в «Аркадии», чтобы помочь нашему больному товарищу.

Приходите и вы!

Помогите нам!..»

Я собрал всех своих товарищей — шанхайских актеров, и мы устроили в «Аркадии» вечер, чтобы собрать ему деньги на леченье и переслать в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал «Аркадии» был переполнен. В разгаре бала, в час ночи, из редакции газеты мне сообщили:

МОЗЖУХИН СКОНЧАЛСЯ.

Я опоздал со своей помощью. Продолжать программу я уже не мог. Меня душили слезы.

Я вышел на сцену и, поблагодарив публику, сообщил ей эту весть, совсем как суфлер из его картины.

Как он умирал?.. Как протекали его последние дни?.. Кто был около него в последние минуты?..

Всего этого я, конечно, не мог знать, поэтому я позволю себе обратиться к отчетам парижских газет, которые дошли до меня в Шанхае.

Вот отчет о его смерти парижской газеты «Возрождение», от 11-го февраля 1939 года.

ПОСЛЕДНИЕ СМЕРТНЫЕ ЧАСЫ ИВАНА МОЗЖУХИНА.

Как уходил из жизни великий русский киноартист.

17 января, без 5 минут в 7 часов вечера, в бесплатной клинике на ул. Сен Пьер в Нейи, в Париже, скончался Иван Мозжухин.

Он почувствовал себя больным месяца четыре тому назад; старый товарищ и сотрудник Ивана Ильича (очевидно, Стрижевский) помог ему уехать в санаторию.

Для больного Ивана Ильича, среди его товарищей, сотрудников и бывших хозяев, собрали все, что могли...

Через два месяца Иван Ильич вернулся из санатории в Париж, страшно исхудавший, почти неузнаваемый. Санатория не помогла.

Близкие уже чувствовали за его плечами смерть. Его брат, Александр Мозжухин, актер Стрижевский и семья О. И. Дмитриевич, цыганской певицы, все эти дни были около больного,— Иван Ильич крестил сына у цыганки Дмитриевич.

Через силу,— он едва мог стоять,— это было две недели тому назад,— он тщательно привел себя в порядок, «как перед парадным спектаклем», и лег: больше не было сил.

Его повезли в клинику. Там ему сделали прокол в легких. На один день ему стало легче. Потом он стал гореть и задыхаться... Скоротечная чахотка.

В клинику к нему приходил его брат певец Александр Ильич, Дмитриевичи и все тот же В. Ф. Стрижевский. Иван Ильич не отпускал от себя Дмитриевичей и даже совершенно детским движением — держал его (Стрижевского — Ред.) за пуговицу пиджака. Стрижевский не раз сам давал ему вдыхать кислород.

У Ивана Ильича уже четыре дня была температура смерти: выше сорока. Но пульс был нормальный, но сердце боролось, и билось отлично. Он горел и просил свежего воздуха...

Я был у него накануне кончины. Ночью поднялся ветер с дождем. Под белым одеялом совершенно иссохшее тело, постаревшее лицо со странными мягкими усами, неузнаваемое лицо, на которое уже легли черты смерти. У его койки собрались все, кто его близко знал. За окнами бушевал ветер. Он умер как Кин. Так же обреченно, театрально и просто.

До 1917 г. Иван Мозжухин переиграл десятки картин. Вспомним среди них «Сатану ликующего», «Данс макабр» («Пляска смерти») и «На вершине славы» — постановка Волкова, и незабытого и теперь «Отца Сергия» по Льву Толстому, в постановке А. А. Волкова и Я. А. Протазанова.

В 1918 г., после нескольких месяцев на юге, вся Ермольевская группа выехала за границу.

В эмиграции имя Ивана Мозжухина разгорелось с мировым блеском.

В Париже, в фирме «Альбатрос», Мозжухин играет в фильмах «Дом тайн» и «Проходящие тени» Волкова и создает знаменитого «Кина», тоже волковской постановки, остающегося до сих пор классическим образцом киноигры времен немого экрана.

Затем «Покойный Матиас Паскаль» в постановке М. Л.'Эрбье и «Король Моголов» в постановке Эпштейна. Потом — «Мишель Строгов» В. К. Туржанского. Иван Мозжухин в «Мишеле Строгове» заполняет все двадцатые годы этого столетия в мировой кинематографии.

После «Мишеля Строгова» — «Казанова» в постановке Волкова, потом поездка в Америку и возвращение уже не в Париж, а в Берлин.

Там он играет «Красное и черное» Стендаля и в фирме «Уфа» — «Манулеско» в постановке Туржанского, и «Адъютант царя» в постановке режиссера Стрижевского. А затем «Белый дьявол» по Толстому, в постановке Волкова.

Эпоха немых фильмов кончалась. Кино заговорило...

В начале тридцатых годов Иван Мозжухин вернулся в Париж.

Здесь он играл роль русского легионера в «Иностранном легионе», в картине «Сержант Х» постановки В. Ф. Стрижевского — и это надо считать последней большой ролью Ивана Мозжухина.

Все его роли были вехами русской кинематографии за границей. Этот актер воистину прославил на весь мир русскую кинематографию, с ее подлинным драматизмом и романтическим дуновением…

Его жизнь была как стремительный и сжигающий полет, слава, деньги, любовь, успех — все… И все сожжено, все пронеслось, как ураган».

Так кончалась статья.

Мне нечего добавить к этой статье… Но один разговор с Мозжухиным невольно вспомнился мне в эти грустные дни.

Как-то в Булонском лесу, сидя в его великолепном бирюзовом «Кадилаке», не помню уже по какому поводу, я спросил его:

— Иван, объясни мне, почему это мы, актеры, сколько бы мы ни зарабатывали, какое бы имя мы ни имели,— обязательно умираем под забором?

Иван нахмурился. Потом улыбнулся, обычная ирония сверкнула в зрачках его серых глаз.

— Вот что,— медленно протянул он.— Надо купить забор! Чтоб уж если нам суждено умирать под забором, так по крайней мере под своим собственным!

Мне не понравилась эта острота. «Это совсем не смешно»,— подумал я.

Остро и больно когда-то давно, еще в России, нас обожгли слова Блока:

Я паяц у блестящей рампы,
Возникаю в открытый люк…
Это бездна смотрит сквозь лампы,
Ненасытно жадный паук…
И пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутясь и звеня,
Но в тени последней кулисы,
Кто-то плачет, жалея меня.

Кто?…

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Стихи А. Ахматовой

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
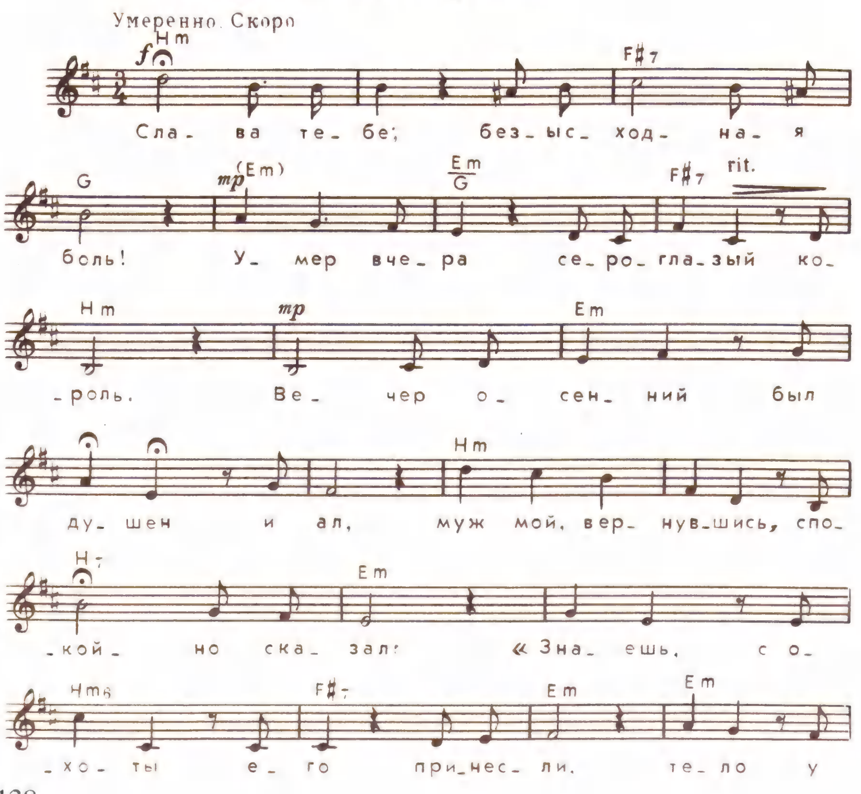
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
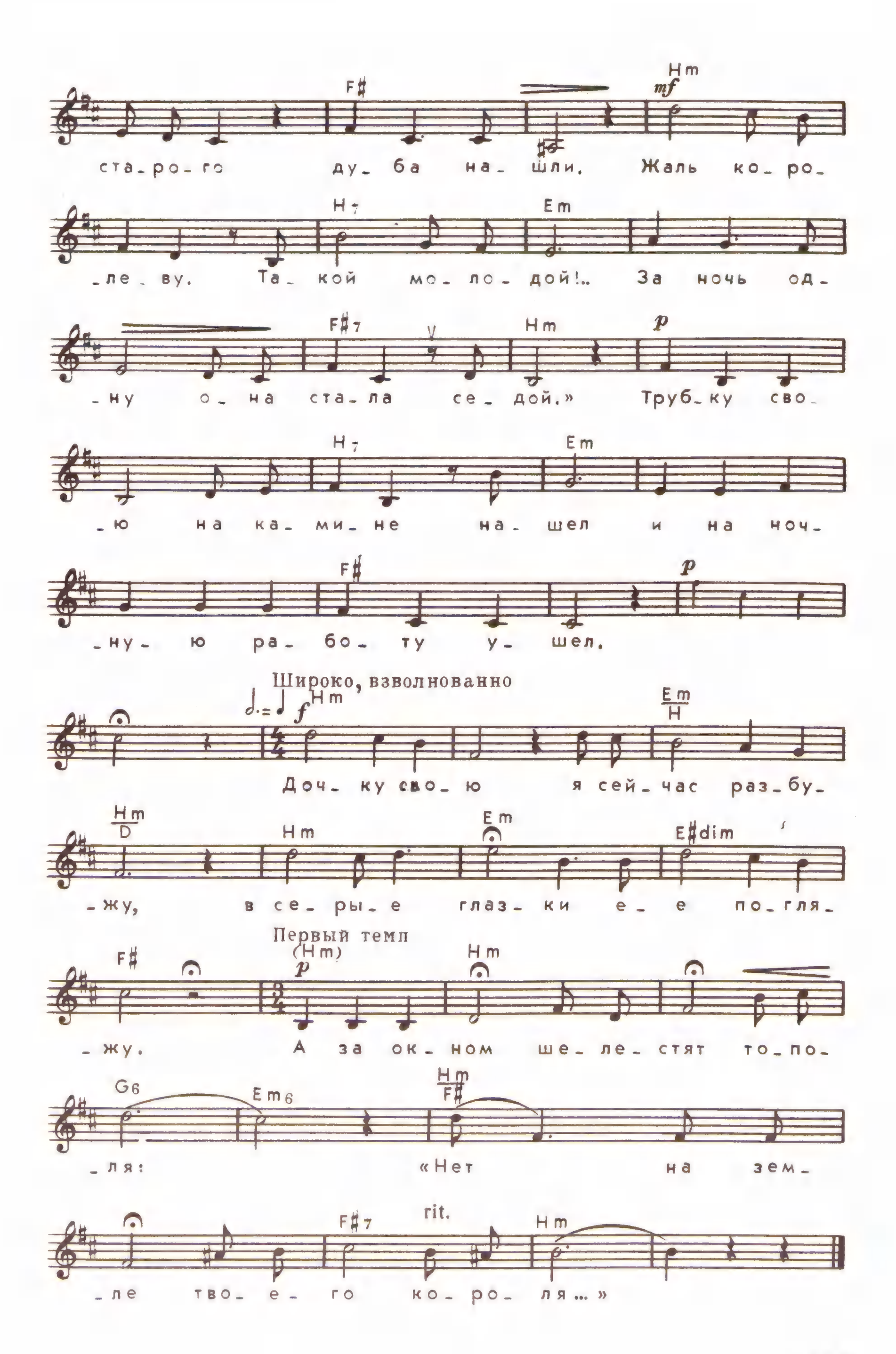
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на ночную работу ушел.

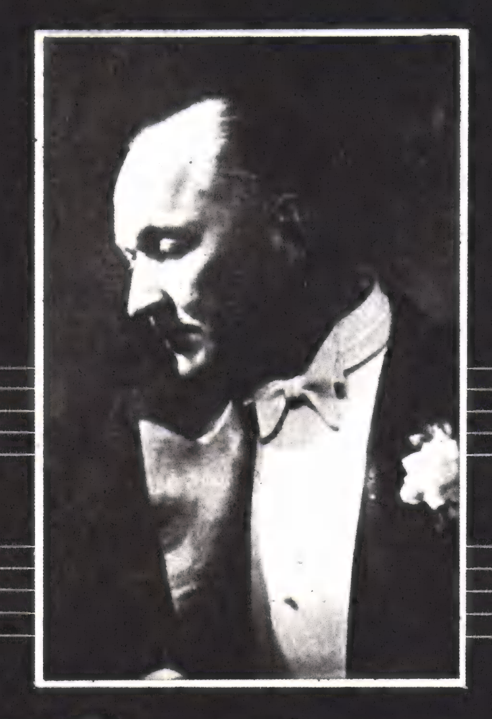
Дочку свою я сейчас разбужу,
В серые глазки её погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»




F♯ Hm mf
ста_ро_го ду_ба на_шли. Жаль ко_ро_
H7 Em
_ле_ву. Та_кой мо_ло_дой!.. За ночь од_
F♯7 Hm p
_ну о_на ста_ла се_дой.» Труб_ку сво_
H7 Em
_ю на ка_ми_не на_шел и на ноч_
F♯ p
_ну_ю ра_бо_ту у_шел.
Широко, взволнованно
Hm f Em/H
Доч_ку сво_ю я сей_час раз_бу_
Hm/D Hm Em E♯dim
_жу, в се_ры_е глаз_ки е_е по_гля_
Первый темп
F♯ (Hm) p Hm
_жу. А за ок_ном ше_ле_стят то_по_
G6 Em6 Hm/F♯
ля: «Нет на зем
F♯7 rit. Hm
_ле тво_е_го ко_ро_ля...»

Александр Вертинский.
МСЬЕ ДАЙБЛЕР



Палестинское танго



Мсье Дайблер

Перебирая в памяти «коллекцию пациентов» своего скромного искусства, припоминая бесчисленные встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми, с которыми сталкивала меня бродячая жизнь актера-одиночки, я, как истый «коллекционер», не без гордости останавливаюсь на особо ценных и редких экземплярах. Некоторыми из них я горжусь не менее, чем какой-нибудь ювелир гордится черным брильянтом или собиратель картин полотном Ван Дейка.

Время от времени я припоминаю эти встречи во всех деталях, сдувая таким образом с них «пыль забвения», и, пережив все сначала, снова кладу их на место в тот угол памяти, где у меня хранятся особо интересные воспоминания. Об одном таком незаурядном знакомстве мне хочется рассказать.

Однажды на одном из моих концертов в Париже, в зале Гаво, за кулисами, во время антракта, появился среди толпы посетителей среднего роста пожилой француз. Познакомившись, он рассыпался целым каскадом комплиментов по поводу концерта. Я не обратил бы на это особого внимания, но меня удивило и заинтриговало то обстоятельство, что мой собеседник был француз, так сказать, «иностранец», не понимавший ни одного слова по-русски, и то, что на концерт он пришел с пачкой довольно недурных переводов моих песен. Следя по ним, он слушал каждую мою песню, уже зная в точности ее содержание. Оказалось, что у него дома есть весь выпуск моих граммофонных пластинок и что это уже не первый концерт, на котором он бывает. Отрекомендовавшись мне мсье Дюпоном, которых во Франции столько же, сколько у нас в России Ивановых, он долго рассказывал мне о каком-то своем старом русском друге, который и научил его любить мои песни. Очень холеный, чуть суховатый, с узкими бледными руками, с седоватыми, гладко причесанными волосами, в обыкновенном смокинге, он ничем не отличался от тысячи таких же французов, и наше знакомство, вероятно, на этом вечере и оборвалось бы, если бы ему не суждено было продолжиться дальше.

Несколько раз я встречал этого человека то в холле отеля, то за стойкой бара, то в фойе театра. Однажды в воскресенье утром мы встретились с ним в Булонском лесу. Я гулял со своим бульдогом, а он, только что закончив прогулку на лошади, шел в костюме для верховой езды со стеком в руке.

Мы сели в маленьком ресторанчике в саду «Порт Дофин» и заказали аперитивы.

— Что вы сейчас намереваетесь делать? — спросил он.

У меня не было определенных планов.

— Надо куда-нибудь поехать завтракать,— ответил я.

— Если вы ничего не имеете против,— предложил он,— мы можем позавтракать у меня. Я живу недалеко отсюда, километрах в пятидесяти. Машина моя стоит тут у входа. Идет?

Я согласился. Светло-серый «Деляж» покатил нас по аллеям Булонского леса. Приблизительно через полчаса мы были у цели.

Серый французский особняк со львами у ворот. Не особенно старый, но довольно мрачный, с маленьким парком и газонами. Стеклянная галерея с десятками клеток. В клетках белые канарейки. На окнах цветы. В большой столовой накрыт стол к завтраку.

Очаровательная девушка с синими лучистыми глазами вышла к нам навстречу.

— Почему так поздно, папа? — спросила она.

Мсье Дюпон поцеловал ее в лоб и объяснил задержку встречей со мной, сообщив, что я и есть тот Вертинский, который поет у них на пластинках. Девушка приветливо улыбалась.

— О, мы так часто вас слушаем. Ваши песни я уже знаю наизусть. Я и сама уже могу петь их. Вот послушайте...

И она с очаровательным акцентом пропела несколько фраз по-русски. Я зааплодировал. Мы засмеялись. Завтрак прошел весело, и время пролетело быстро.

После завтрака мы пили кофе в гостиной и рассматривали канареек, которых, кстати, было великое множество.

— Папа обожает их,— сообщила Магги,— он сам их кормит и следит за ними.

Мы поболтали немного. Расстались друзьями, и через полчаса я уже был дома в Париже, сохранив об этом завтраке самое приятное воспоминание.

Теперь я отойду немного в сторону. Как-то в конце февраля в парижской «Гранд-Опера» был бал. Бал этот был традиционный и давался ежегодно в пользу убежища для престарелых актеров. В этот день программа обычно состояла исключительно из цирковых номеров, которые обязательно исполнялись актерами всех театров Парижа. Все это было, конечно, очень забавно, и публика с удовольствием шла смотреть своих любимцев в таких необычных ролях.

В этой программе участвовали и мы с Мозжухиным. Часа в три ночи мы, закончив программу, решили поехать поужинать в маленький ресторанчик на Монмартре «Клош-д'эр», где подавали чудесный «муль мариньер» и устрицы. Усевшись в углу, мы занялись едой. Народу там собиралось много. Главными же клиентами были артисты многочисленных монмартрских кабаре, которые заходили туда отдохнуть и покушать после работы.

Мы пили вино. Внезапно в вестибюль отворилась входная дверь и на пороге появилась женщина. Это была наша общая приятельница, молодая манекенщица от Пату, очень хорошенькая Клод. Увидя нас, она сразу же направилась к нашему столику и села с нами. Подали ужин. Она ни к чему не прикоснулась. Напрасно мы с Иваном развлекали ее разговорами, стараясь изо всех

сил; она была в состоянии какого-то оцепенения — бледная и дрожащая, она, по-видимому, что-то переживала и пила коньяк большими рюмками, совершенно не пьянея.

Часа в четыре ночи она стала просить нас отвезти ее на одну из площадей. Ивана очень удивила эта просьба. Дело в том, что на этой площади не было жилых домов. Это был район, где помещались заводы, конторы и городские бойни. В центре ее стояла тюрьма.

— Что же ты там будешь делать ночью? — спросил Иван.

Клод не отвечала прямо.

— Мне нужно! Понимаешь, нужно там быть! — твердила она.

Иван задумался и вдруг глаза его сверкнули.

— Я знаю, зачем ей нужно,— тихо сказал он мне.

В этот день на площади была назначена казнь некоего Гоше — молодого юноши, ограбившего ювелира на авеню Мозар и убившего его, его жену и приказчика. Забрав несколько бриллиантовых браслетов, он скрылся и через три месяца был пойман полицией.

— Ты хочешь присутствовать при казни Гоше? — в упор спросил ее Иван. Клод разрыдалась. Гоше был ее любовником. Ее трясло, как от озноба. Чем мы могли ей помочь?

— Ее надо напоить до бесчувствия и отвезти домой,— по-русски сказал мне Иван.

Мы давали ей коньяк стаканами. Но, увы! Возбуждение ее было так велико, что алкоголь не действовал на нее абсолютно. Она настаивала на своей просьбе. Ее губы дрожали, глаза готовы были выскочить из орбит. Она умоляла, грозя самоубийством.

Пришлось согласиться. Иван сел за руль и мы помчались.

На пляс X было еще темно, серый туман застилал все. Площадь была оцеплена полицией. По французским законам казнь должна быть всенародной, но обычно совершается она на рассвете, чтобы не привлекать внимания толпы. Остановив машину в дозволенном месте, мы были очень далеко от нее. Толпу не пускали. Она шумела тут же возле нас, как морской прибой, приподымаясь на цыпочки и вытягивая шеи, в тщетной надежде что-нибудь увидеть. Клод трясла лихорадка. Она повторяла только один звук: Ва-ва-ва...

Мы держали ее за руки, накинув на нее свои пальто. Прошло минут двадцать. Внезапно по толпе прошло какое-то движение. Точно шорох. Или вздох. Это где-то скатилась голова. Клод крикнула и забилась в истерике.

Я выскочил из машины, чтобы достать доктора или как-нибудь еще помочь ей. Но она уже вырвалась из рук Ивана и бежала по мостовой, крича и плача. Потом упала на камни. Засвистели свистки полицейских. Ее подняли и понесли в амбуланс.

Иван, забыв обо мне, круто повернул машину и умчался куда-то. Я остался один.

Светало. Толпа возвращалась к своим будничным заботам. Торговки несли корзины с цветами и фруктами, огромные фургоны, груженные морковью и капустой, скрипя, проплывали мимо. Рабочие спешили на фабрики.

Я стоял во фраке, в цилиндре и вечернем пальто — и являл собой дикое зрелище. Я был близок к обмороку. Все это потрясло меня.

«Только бы добраться до постели и забыться. И уже не встать...» — мелькало у меня в голове. Я оглянулся. Направо через площадь хозяин маленького бистро, где продают уголь,дрова и вино, открывал двери.

Я вошел внутрь. Сев за грязный деревянный столик, я потребовал стакан коньяку. Огненная влага обожгла меня и притушила мои нервы.

Все как-то стало тише... Легкая дремота начала одолевать меня. В этот момент скрипнула дверь. На пороге появился мой приятель-француз, мсье Дюпон.

— Алло! Что вы делаете здесь в этот час? — изумленно спросил он.

Я рассказал ему все. Он покачал головой.

— Вам надо беречь свои нервы, дорогой! Вы — артист. Это слишком сильные ощущения для вас. Берегите себя!

Он выпил рюмку коньяку и крепко пожал мне руку. Уходя, он почти столкнулся в дверях с другим моим приятелем, журналистом К.

— Откуда ты знаешь этого человека? — спросил меня журналист, подойдя к моему столику.

— Это мой поклонник, — нехотя отвечал я.

— А ты знаешь, кто он такой?

— Нет.

— Это Дайблер. Палач города Парижа!

Стая белых канареек вспорхнула и вылетела из моей головы.

ПАЛЕСТИНСКОЕ ТАНГО

Манит, звенит, зовет, поет дорога.
Еще томит, еще пьянит весна,
А жить уже осталось так немного
И на висках белеет седина.
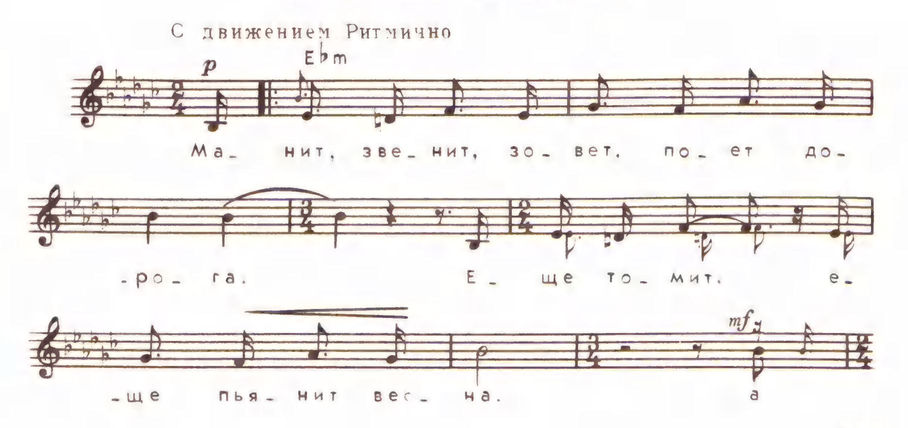
Идут, бегут, летят, спешат заботы,
И в даль туманную текут года.
И так настойчиво и нежно кто-то
От жизни нас уводит навсегда.
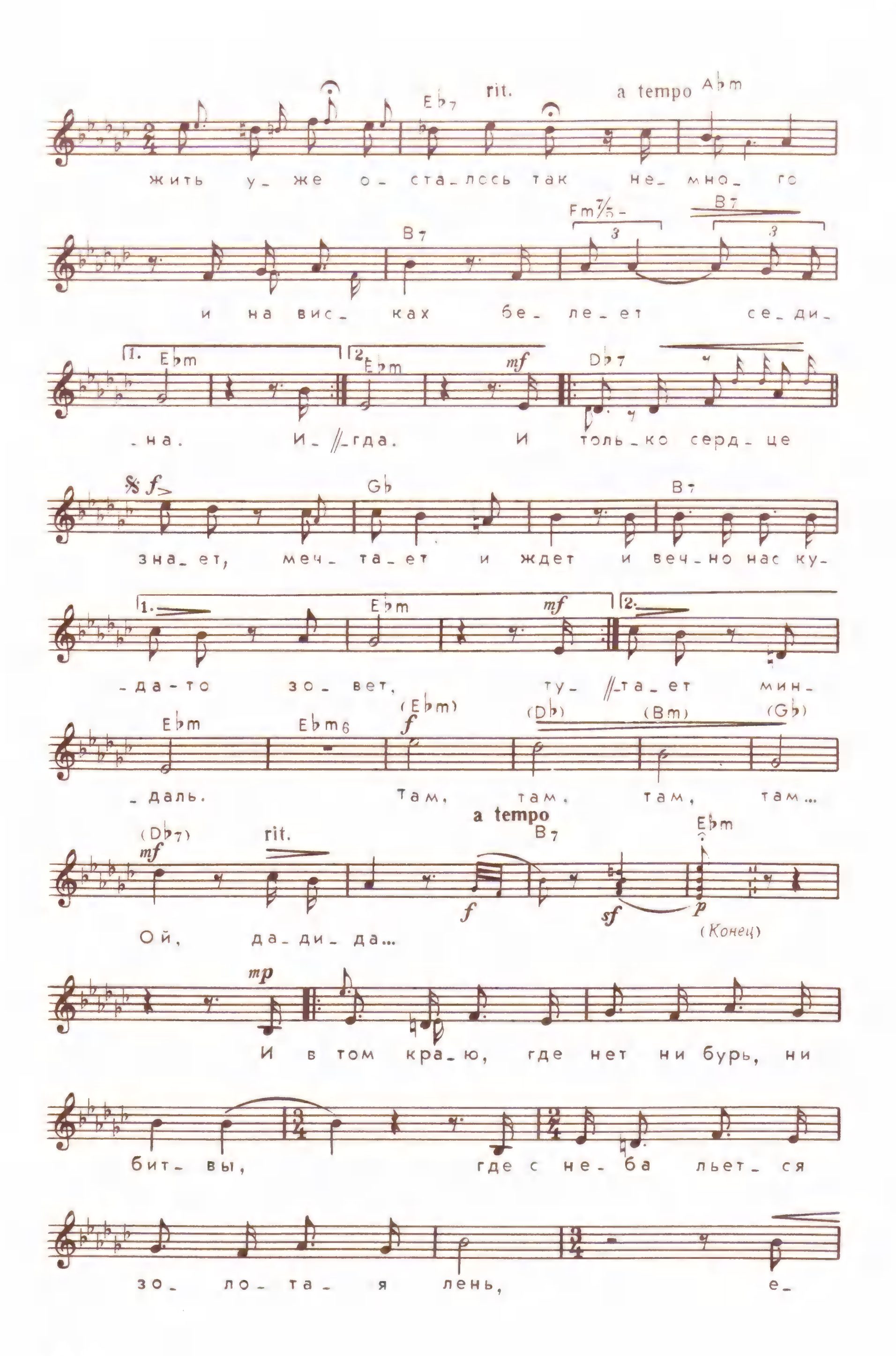
И только сердце знает, мечтает и ждет
И вечно нас куда-то зовет,
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль.

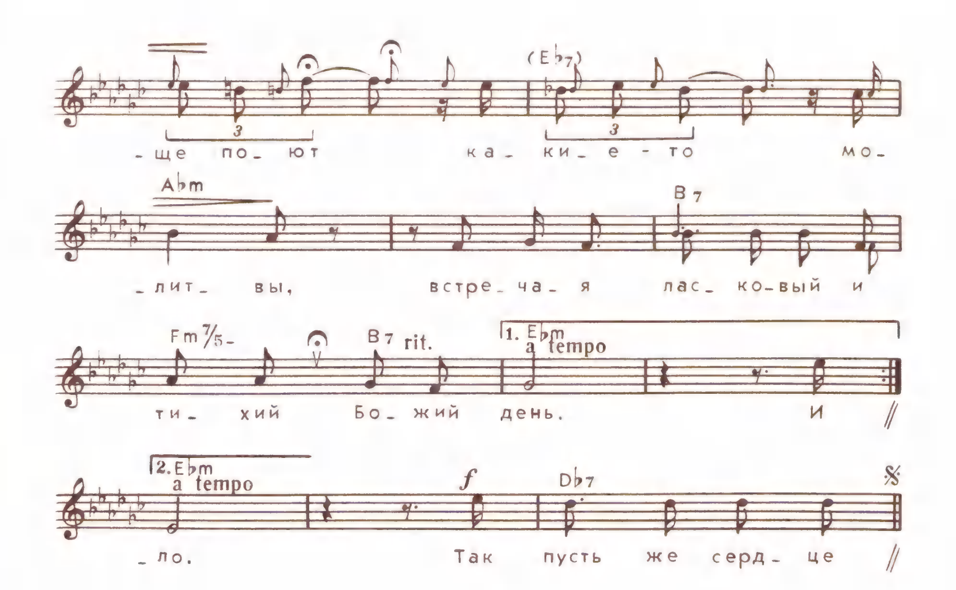
И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы,
Где с неба льется золотая лень,
Еще поют какие-то молитвы,
Встречая ласковый и тихий Божий день.

И люди там застенчивы и мудры.
И небо там, как синее стекло.
И мне, уставшему от лжи и пудры,
Мне было с ними тихо и светло.

Так пусть же сердце знает, мечтает и ждет
И вечно нас куда-то зовет,
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль...

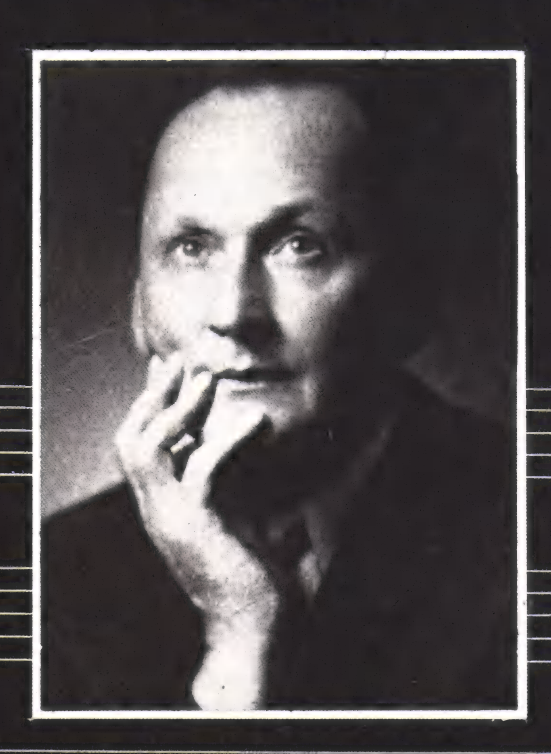



rit.
a tempo
E♭7
A♭m
жить у_ же о_ ста_лось так не_ мно_ го
B7
Fm7/5-
B7
и на вис_ ках бе_ ле_ ет се_ди_
1. E♭m
2. E♭m
mf
D♭7
_на. И_ //_гда. И толь_ко серд_ це
f
G♭
B7
зна_ ет, меч_ та_ ет и ждет и веч_но нас ку_
1.
E♭m
mf
2.
_да-то зо_ вет, ту_ //_та_ ет мин_
E♭m
E♭m6
(E♭m)
f
(D♭)
(Bm)
(G♭)
_даль. Там, там, там, там...
(D♭7)
mf
rit.
a tempo
B7
E♭m
f
sf
p
(Конец)
Ой, да_ди_ да...
mp
И в том кра_ ю, где нет ни бурь, ни
бит_ вы, где с не_ ба льет_ ся
зо_ ло_ та_ я лень, е_



(E♭7)
-ще по- ют ка- ки- е- то мо-
A♭m
B 7
-лит- вы, встре- ча- я лас- ко-вый и
Fm 7/5-
B 7 rit.
1. E♭m
a tempo
ти- хий Бо- жий день. И
2. E♭m
a tempo
f
D♭7
-ло. Так пусть же серд- це

Александр Вертинский.
ФЕДОР ШАЛЯПИН



Последнее письмо



Федор Шаляпин

С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось: мое пребывание на российской сцене длилось меньше трех лет.

В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на пляс де ля Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. По Шам Зелизе непрерывным потоком лились машины. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе.

Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой. Америка — газолином и жженой резиной, Германия — сигарами и пивом, Испания — чесноком и розами, Япония — копченой рыбой... Запах этот запоминается навсегда, и, когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. Это помогает восстанавливать в памяти все, что угодно. И только наша Родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей...

Итак, Париж пах духами.

Я сидел на террасе кафе Фукье и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда свет электричества еще не победил света уходящего дня.

Люди шумели за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь в кафе. Толпа сразу узнала его.

— Шаляпин! Шаляпин! — пронеслось по столикам.

Я оглянулся. Он стоял на фоне заката — огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили — всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. «Только Россия может создавать таких колоссов,— подумал я. — Сразу видно, что вошел наш, русский артист! У французов таких нет. Он — точно памятник самому себе...»

Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошел, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы с Федором Ивановичем были друзьями.

Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией с небывалой роскошью. Чтобы придать его гастролям национальный характер, была создана «Русская опера». Оркестр и хор специально выписали из Риги, декорации писали лучшие

русские художники, находившиеся в то время за границей — Бенуа, Билибин, Бакст. Со всей Европы были собраны лучшие оперные и балетные артисты и дирижеры. Денег не жалели ни на расходы по сцене, ни на рекламу. Первым шел «Борис Годунов». Каким успехом, какими овациями сопровождались выступления Федора Ивановича! Они бушевали с того момента, когда Годунов впервые появляется на сцене, выходя из собора, ведомый под руки боярами и знатью,— строгий, величественный, в драгоценном парчовом кафтане, суровый и властный, мудрый и уже усталый, знающий цену власти и людской преданности.

Настоящий МОНОМАХ. Публика сразу была покорена и зачарована. И все время, пока звучала музыка Мусоргского, пока на сцене развертывалась во всей своей глубине трагедия мятежной души, огромная аудитория театра, затаив дыхание, следила за каждым движением гениального актера.

Как он пел! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова:

— Скорбит душа!..

И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, публика дрожала. Волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать.

Он умирал — мятежный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненый зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова...

Трудно передать этот восторг и эту бурю оваций, которой заканчивался спектакль. Мне кажется, что те оперы, которые я видел с Шаляпиным — уже нельзя больше смотреть ни с кем.

Для меня лично опера немыслима без Шаляпина. Только он один, только его творческий гений мог оживить и наполнить таким глубоким смыслом эти уже отжившие, устаревшие формы.

Опера — это Шаляпин.

На авеню д'Эйля у Шаляпина был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а в четвертом жил он сам. Шаляпин очень гордился своим домом. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет — в шубе нараспашку, в меховой шапке — работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля ждал накрытый стол. Федор Иванович неизменно угощал нас салатом с диковинным названием: «рататуй». Что значило это слово — никто не знал. Он любил волжско-камские словечки.

Кроме вина и коньяка он ничего не пил. Поэтому и то и другое у него было в большом количестве и самых разных сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мозжухиным, конечно, не были, но притворялись ими довольно удачно.

Его сыновья — Борис и Федор — редко бывали с нами. У них была своя жизнь. Борис был художником, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только самая младшая — Дася — жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца.

Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. Как-то вышло так, что почти все его дети не зарабатывали самостоятельно, не были устроены, и Федору Ивановичу приходилось помогать им. А семья была немалая — десять детей. Он работал для семьи. Три раза составлял состояние. Первый раз — в царской России — все оно осталось там после его отъезда. Второй раз — за границей. Он составлял его около десяти лет, объездив весь мир, получая большие гонорары. Он был уже почти у цели.

— Еще год-два попою и брошу,— говорил он мне.

Он работал, не щадя сил. Гонорары его в то время были велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам о забавном эпизоде, происшедшем с ним, кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров устраивал у себя в саду большой прием, на который были приглашены самые видные и богатые лица. Желая доставить гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин запросил за выступление десять тысяч долларов. Миллионера возмутила эта цифра: десять тысяч за два-три романса! Но чтобы задеть и унизить Шаляпина, он заявил:

— Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае не смогу пригласить вас к себе в дом наравне с другими. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за столом. Вы будете петь в кустах...

В назначенный вечер Шаляпин нарочно приехал в самом скромном и старом костюме (все равно никто не увидит) и пел как ни в чем не бывало — деньги с миллионера получил вперед.

Иногда Федор Иванович начинал мечтать вслух:

— Вот... землицу я купил в Тироле. Хорошо! Климат чудесный. Лес, горы. На Россию похоже. Построю дом с колоннами, «дворянский». И баню, обязательно баню. Распарюсь — и в снег!.. А снегу там много будет. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет...

У него была вилла в Сен Жан-де-Люс во Франции, но он не любил ее, его тянуло к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по виду и климату напоминало бы ему Россию.

Почти все свои деньги он держал в американских бумагах. Его состояние было огромно. Но в один день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «черная пятница» на нью-йоркской бирже. В тот день многие из миллионеров стали нищими. Потерпел крах и Шаляпин. Потерял он так много, что

пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью. Он начал в третий раз упорно работать.

Но годы брали свое. Федор Иванович устал. Сборы были уже не те, что прежде, и он пел подряд в любой стране, собирая все, что осталось для него. Только этим и объясняется его приезд в Шанхай и Харбин. Это «третье» состояние едва ли было большим: начал он его делать поздно.

Нельзя сказать, что Шаляпин любил деньги, но в нем наряду с настоящей широтой натуры прекрасно уживалось простое народное уважение к трудовой копейке. Это был хозяин, глава семьи, строгий и справедливый, знавший цену деньгам.

Однажды мы сидели с ним в Праге — в кабачке у Куманова — после его концерта. С нами было несколько журналистов. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать прямо на скатерти. Когда все расплатились и пошли, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, с кем имеет дело, она набросилась на Шаляпина.

— Вы испортили мне скатерть! Заплатите за нее десять крон...

— Хорошо,— сказал он.— Я заплачу десять крон, но скатерть эту возьму с собой.

Хозяйка принесла скатерть и получила деньги. Пока мы ждали машину, ей уже все объяснили.

— Дура,— сказал один из ее приятелей.— Ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе смотреть на нее.

Хозяйка поняла свою ошибку. Она вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося скатерть обратно.

Шаляпин покачал головой:

— Простите, мадам. Скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно, получите ее обратно,— пятьдесят крон...

Хозяйка безмолвно заплатила деньги.

(Эту «историю со скатертью» (как, впрочем, и многие другие) А. Н. Вертинский часто рассказывал в разных аудиториях: в компаниях друзей и знакомых, а то и просто — среди случайных слушателей. И тут он тоже, как и во всем остальном, был художником: по ходу очередного рассказа раскрашивал один и тот же сюжет новыми красками, вводил новые подробности, а зачастую и новых персонажей. Любопытна запись «истории со скатертью», сделанная со слов Вертинского Б. А. Серовым:

— ...Я теперь снова над «Борисом Годуновым» работаю,— как-то преобразившись, сказал Шаляпин.

— Зачем вам над ним работать? Ведь вы уже столько раз с таким триумфом пели его... И там, и здесь в Париже. Этот образ у вас идеальный и в обработке, мне кажется, уже не нуждается,— возразил я.

— Нуждается! Ох, как ну-жда-ется! — проскандировал Федор Иванович, и весь как-то загорелся.— Ты знаешь, я его сейчас совершенно иначе решил показать. Начиная с грима и кончая игрой. Вот смотри...

Он выудил карандаш, по-мальчишески посмотрел по сторонам и на белоснежной скатерти стола быстро мастерски набросал знакомый грим Бориса.

— Раньше я его таким себе представлял. А вот смотри сейчас... — он быстро стал рисовать новый фас и профиль.

— Сейчас я себе его вот так представляю. Вот теперь сравни этот грим и этот. Какой лучше?

И не дожидаясь ответа, сказал:

— Этот. Конечно, этот — убедительнее... И больше человеческой трагедии. А вот еще смотри... — Но тут он умолк и как-то виновато посмотрел в сторону. Я перевел глаза по направлению его взгляда и увидел старого официанта, безмолвно, с почтительным интересом смотревшего со своего места на разрисованную скатерть.

— Испортил я вам... запачкал... — смущенно сказал Федор Иванович, пряча карандаш, и шутя добавил: — Пора нам, а за это... — он ткнул пальцем на рисунки на скатерти: — Поставьте мне в счет за стирку.

Мы расплатились и вышли...

Взволнованный этой встречей, я не хотел ехать домой и побрел по ночным улицам Парижа. Спать не хотелось... И вдруг я вспомнил о «гриме Бориса», оставленном на скатерти ресторана.

Наброски Федора Ивановича... Нужно сохранить их! Сохранить обязательно! Сохранить во что бы то ни стало! И я быстро зашагал обратно в ресторан. Час был поздний. Посетителей почти уже не было. Я подошел к столику, за которым мы сидели с Федором Ивановичем. Он был накрыт новой чистой скатертью. Наброски Федора Ивановича исчезли. Найдя официанта, прислуживавшего нам за столом, я сказал ему:

— Мой коллега час тому назад испачкал тут скатерть... Я хочу заплатить вам за нее... Где она? — и я вынул бумажник.

— Что вы, мсье Вертинский,— вдруг сказал официант.— Еще давно, еще в Петрограде, я был поклонником Федора Ивановича и видел его в «Борисе Годунове». Как он пел! Как играл! А вот сейчас я увидел его в жизни. Я сразу узнал и вас и его. Эту скатерть с собственноручными набросками Федора Ивановича Шаляпина я буду хранить как ценнейшую реликвию.

— Но я заплачу вам, и хорошо заплачу... сколько хотите,— сказал я.

— Нет... Я ее сохраню. Не отдам.

Мне захотелось узнать, кто же мой собеседник. Я спросил его вежливо:

— Если не секрет, с кем я имею честь говорить?

— Честь? — с иронией переспросил мой собеседник.— Честь осталась далеко... На родине... В России... В данный момент я официант ресторана Люка... А раньше? Раньше вы меня, конечно, знали... Меня все знали в Москве и в Питере. Сейчас я ничто. Просто официант, гарсон... А прошлое... — Он глубоко вздохнул... — Как вы поете? «Надо жить, не надо вспоминать!..»

Он умолк и опустил голову.

Я молча пожал ему руку и быстро вышел.)

...Я не мог понять, что заставило Шаляпина, столь любимого народом, столь ценимого правительством, получившего звание первого народного артиста республики, покинуть Родину. Много дней и вечеров провел я в обществе Федора Ивановича. Многие темы и вопросы затрагивались в наших частых дружеских беседах. Но никогда за нашу десятилетнюю дружбу он не раскрыл

до конца передо мной или Иваном Мозжухиным своей души и не объяснил нам ясно причины своего поступка.

Родину он любил. В этом не могло быть никаких сомнений. Любил той крепкой, нерушимой любовью, которой может любить ее только тот, кто плоть от плоти, кровь от крови сын своего народа, чье существование до глубочайших корней связано с русской землей. В его яркой незабываемой личности воплотились гениальность, мощь, величие русского народа — того народа, который сегодня, как маяк надежды и жизни, светит всему миру.

Только Россия могла родить такого гения! Только такой народ! Но как же мог он покинуть Родину?

В беседах с друзьями, в обществе Шаляпин не любил говорить на эту тему, и мне всегда казалось, что он боится говорить об этом потому, что сам не уверен в правоте и смысле своего поступка. Его мемуары «Маска и душа» — книга, которую он подарил мне,— не объяснили истинной причины его ухода из России, хотя и проливают на это некоторый свет.

Кумир дореволюционной молодежи, друг Горького, любимец передовой интеллигенции того времени, вышедший из самых недр великого русского народа, поднятый этим народом на самую вершину славы, он был близок революции. И все же не узнал ее лица. И может быть, лишения, испытания, которые выпали в ту пору на долю каждого, как бы ошеломили, разочаровали Шаляпина. Его характер, твердый и устойчивый, его самолюбие актера-диктатора, его непререкаемый авторитет в искусстве не смогли и не хотели подчиниться духу нового времени…

И все же, повторяю, Россию он любил горячо и нежно, настоящей сыновней любовью.

«Я сознавал,— пишет он в мемуарах,— что уехать отсюда, значит — покинуть Родину навсегда. Как же мне оставить такую Родину, в которой я сковал себе не только то, что можно видеть и осязать, слышать и обонять, но и где я мечтал мечты?..»

«В дни моей петербургской жизни я тосковал о свободной и независимой жизни… Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся к моей милой Родине!..» — восклицает он в своих мемуарах.

«Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью…» — говорит он далее.

«Милая моя, родная Россия!»

Я думаю, что даже этих нескольких выписанных мною фраз достаточно, чтобы видеть, что Шаляпин любил Россию. А таких признаний в его книге множество. Не нам, оказавшимся на чужбине, судить этого величайшего, неповторимого артиста, который, как драгоценный камень, сиял в короне русского искусства, и если я пытаюсь объяснить причину его «ухода», то только потому, что в личных встречах с ним, в наших разговорах и спорах я всегда инстинктивно чувствовал, как сожалел он в душе о том,

что оставил Россию, какое недоумение, тоску и душевную боль вызывали в нем разговоры о России, как мучили они его.

«Всю свою жизнь я прожил в театре и для театра. И теперь я задаю себе вопрос:

— Где же мой театр?

И убеждаюсь, что он там, в России!..»

Так заключает Федор Иванович свои воспоминания.

Я мог бы написать целую книгу о его триумфах повсюду, свидетелем которых я был много раз, разъезжая по свету, часто встречаясь с ним в разных странах.

Без преувеличения можно сказать — ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать,— в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им.

В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты: «Привет Шаляпину!»

Журналисты окружали его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов — целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет...

Он приехал с женой и дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки...

Приехал Федор Иванович больным и сильно утомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин!

За одно то, что он приехал, надо было быть благодарным ему.

Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи, они принесли с собой в театр вату — затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг — разочарование!

— Поет самым спокойным голосом и даже иногда тихо...

— И за что только такие деньги берут?!

— А сборы какие?!

Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают.

У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера? А пароходные билеты из Америки на шесть человек? А отели, а реклама театра, а все остальное? Но их это не интересовало. Им нужно было «рвануть сумму», а такой случай не часто бывает.

Вот тут-то и началось.

Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его седеющую голову.

Около театра, на улице, прохожим раздавали летучки с заголовками:

«Русские люди!

Шаляпин — враг эмиграции!

Ни одного человека на его концерт!

Бойкотируйте Шаляпина!

Ни одного цента Шаляпину!»

Не знаю, читал ли эти летучки Федор Иванович, но на другой день он уехал.

Так «вымазал дегтем» его подножие «русский» Шанхай.

За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в Катей-Отеле. Была ранняя весна. В открытые окна с Вампу тянуло теплым ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на Банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Большой, растрепанный и усталый, он полулежал в кресле и тихо говорил:

— Ты помнишь у Ахматовой?

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы!..

Всем своим обликом, позой он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз. Будто чувствуя, что больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла и поцеловал ему руку...
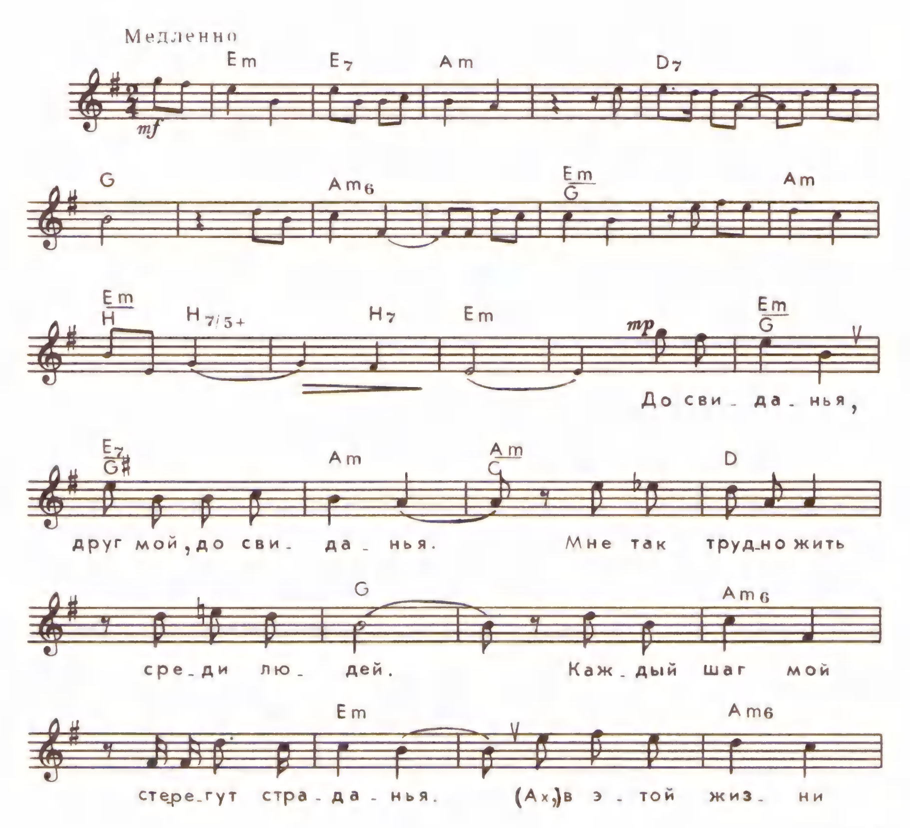
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
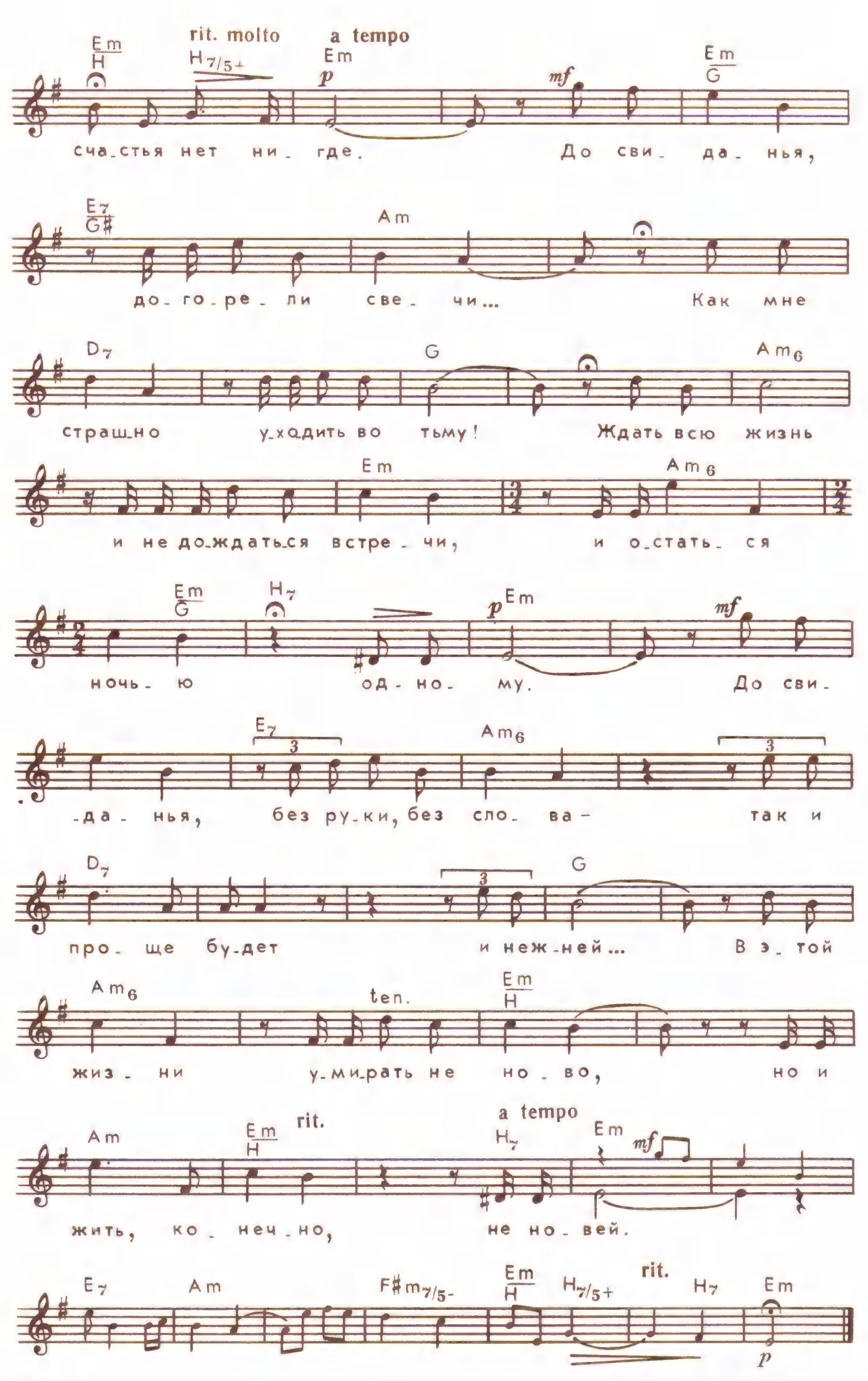
По стихам С. Есенина

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Мне так трудно жить среди людей.
Каждый шаг мой стерегут страданья.
В этой жизни счастья нет нигде.

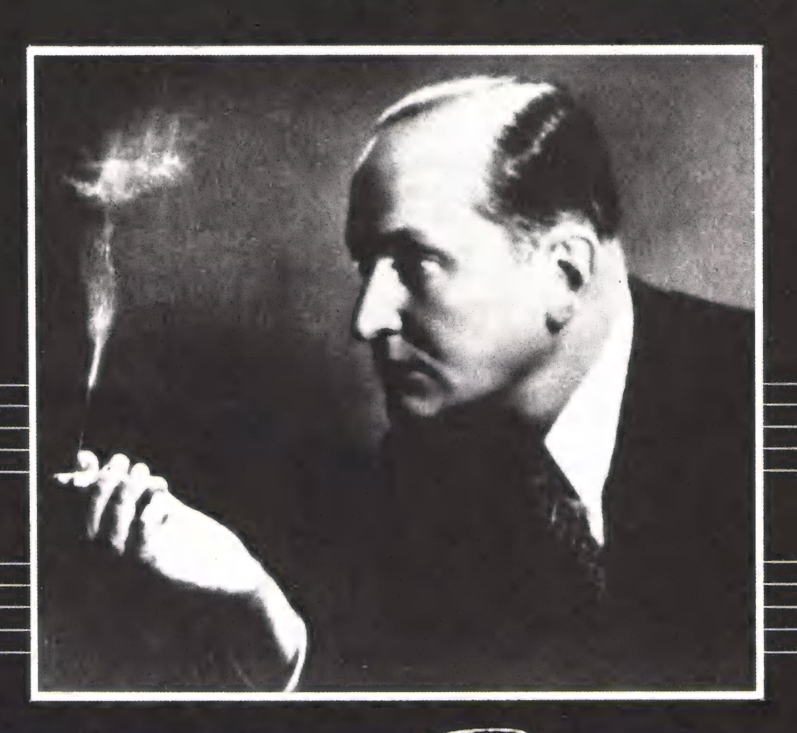
До свиданья, догорели свечи…
Как мне страшно уходить во тьму!
Ждать всю жизнь и не дождаться встречи,
И остаться ночью одному.

До свиданья, без руки, без слова —
Так и проще будет и нежней…
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

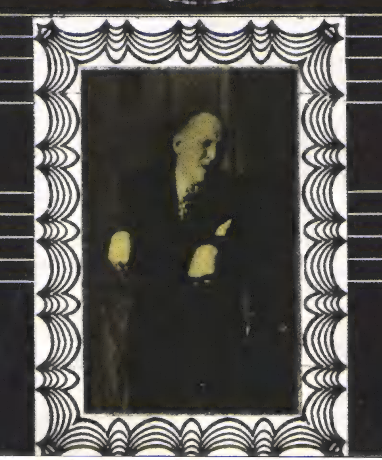



rit. molto
a tempo
сча_стья нет ни_ где.
До сви_ да_ нья,
до_го_ре_ ли све_ чи...
Как мне
страш_но у_ходить во тьму!
Ждать всю жизнь
и не до_ждать_ся встре_ чи,
и о_стать_ ся
ночь_ ю од_ но_ му.
До сви_
_да_ нья, без ру_ки, без сло_ ва –
так и
про_ ще бу_дет и неж_ней...
В э_ той
жиз_ ни у_ми_рать не но_ во,
но и
жить, ко_ неч_но, не но_ вей.
ten.
rit.
a tempo
rit.

Александр Вертинский.
ЮРИЙ МОРФЕССИ



Дни бегут



Юрий Морфесси

За границей, в эмиграции было много наших русских актеров, но я не помню ни одного, который бы в искусстве двинулся вперед, оторвался бы от того, чему он выучился когда-то и что уже безнадежно устарело.

Мой приятель, Юра Морфесси, в свое время имел большой успех в Петербурге — как исполнитель цыганских романсов. Но попав в эмиграцию, он никак не мог сдвинуться с мертвой точки прошлого:

— Гони ямщик!

— Ямщик, не гони лошадей!

— Песня ямщика!

— Ну, быстрей летите кони!

— Гай-да тройка!

— Эй, ямщик, гони-ка к Яру! и т. д.

— Юра,— говорил я ему,— слезай ты ради бога с этих троек! Ведь их уже давно и в помине нет. Кругом асфальт... дороги. Снег в Москве убирают машины...

Куда там! Он и слышать не хотел. И меня он откровенно презирал за мои песни, в которых, по его выражению, ни черта нельзя было понять. И ненавидел моих поклонников. В остальном мы с ним были как будто в неплохих отношениях. Я всегда по-товарищески устраивал и рекомендовал его в те места, где пел сам, и часто мы выступали в одном и том же учреждении. Как только во время своего выступления я открывал рот, он вставал и демонстративно выходил из зала. При нем нельзя было даже говорить о моем творчестве, а уж тем более хвалить меня. Помню однажды, в «Эрмитаже», где я пел, пришел Федор Иванович Шаляпин с инженером Махониным (который изобрел какой-то «карбурант» — нечто вроде синтетического бензина), богатым и неглупым человеком. Федор Иванович заказал себе солянку с расстегаями и ждал, пока ее приготовят. Увидев Шаляпина, я отчаянно перетрусил, петь в его присутствии у меня не хватило бы наглости — поэтому я убежал и спрятался, извините за выражение, в туалете. Каков же был мой ужас, когда открылась дверь и Федор Иванович громовым голосом сказал:

— А! Вот вы куда от меня спрятались? Нет, дорогой, дудки! Пожалуйте петь! Я из-за вас сюда приехал.

Юра стоял тут же и видел эту сцену. Он позеленел. А Федор Иванович бесцеремонно взял меня за руку и повел на эстраду. Что было делать? Пришлось петь.

Первой песней моей было «Письмо Есенина» — «До свиданья, друг мой, до свиданья», написанное в том году.

Шаляпин слушал и... вытирал слезы платком (клянусь вам, что это не актерское бахвальство, а чистая правда). Инженер Махонин сказал ему (так, что я слышал):

— Федор Иванович, солянка остынет.

Шаляпин отмахнулся от него и вдруг, совсем отодвинув стул от своего стола, попросил:

— Еще, дорогой! Пой еще.

Девять песен вместо положенных трех я спел ему в этот вечер. Солянку унесли подогревать. Потом я сидел с ними до закрытия, и с этого началась наша дружба с Федором Ивановичем, если я смею назвать это дружбой.

Юра не мог пережить этого и совсем не пел от злости в этот вечер. Он ушел домой, сославшись на расстройство желудка. А однажды ко мне в «Эрмитаж» пришел знаменитый шахматист Алехин. Он любил мои песни и не скрывал этого — у него были все мои пластинки. Пригласив меня за свой столик, он пригласил также Юру, предварительно спросив меня, не имею ли я чего-нибудь против. Я, конечно, ничего не имел. Разговор зашел обо мне и о моей последней песне, только что напетой в «Колумбии» — «В степи молдаванской». Алехин говорил, что самое ценное в моем творчестве, это неугасимая любовь к Родине, которой пропитаны все мои песни, ну и еще кое-что, что я опускаю. Юра долго терпел все это, потом, не выдержав, обрушился на меня таким потоком злобы, ненависти, зависти и негодования, что даже покраснел и начал задыхаться. Алехин опешил. Я молчал. Мне неудобно было говорить о самом себе. И при том никто не обязан любить мое искусство. У каждого — свой вкус. Но Алехин возмутился.

— Вы позволяете себе обливать грязью моего друга,— сказал он ему и встал при этом.— Я попрошу вас немедленно покинуть мой стол!

Юре ничего не оставалось, как только встать и уйти. Что он и сделал. В дальнейшем мы продолжали служить вместе. Он вел себя так, как будто этого не было. Я тоже сделал вид, что ничего не случилось. Но однажды в откровенной беседе с ним, где-то в кафе, куда мы ходили после работы, я сказал ему:

— Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты необразован, во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни, ты не знаешь ни что такое боль, ни что такое страдания, ни что такое печаль, тоска, душевные муки. Ты не знаешь, что такое Родина и тоска по ней.

И, постепенно обозлеваясь, вероятно, не без влияния алкоголя, я сказал ему:

— Ты, Юрочка, старый «супник». У тебя всегда можно было купить любовницу, встретиться с женщиной на твоей квартире. Ты всю жизнь пел по отдельным кабинетам и получал в руку — на чай — от богатых людей. Ты человек воспитанный, так сказать, «при чужой рюмке водки». Откуда тебе понимать человеческие чувства? Вот когда с тобой случится беда, горе какое-нибудь, ты, может быть, тогда и поймешь что-нибудь во мне!

Он чуть не убил меня за эти жестокие слова, замахнувшись

бутылкой. Но нас развела публика. На этом наши отношения как будто закончились. Но кончились они все же иначе.

Дело в том, что, съездив в Белград на гастроли, Юра познакомился с девицей огромного роста (выше меня на голову), которая была участницей белого движения и жила в Белграде. Звали ее (по-военному) «Танька-Пулемет». Она была намного моложе Юры и была женщиной решительной и энергичной. Она сразу прибрала его к рукам. Юра влюбился в нее. Влюбился жестоко и сразу — он любил «большие куски», как в еде, так, очевидно, и в любви. Уже сильно постаревший к тому времени, этот бывший лев был весьма быстро перестрижен ею в смирного пуделя. Она командовала им и третировала его. Женившись на ней в Белграде, где он отбил ее у богатого серба, не пожелавшего жениться на ней, он привез ее в Париж. Это был ход со стороны этой женщины, которая сыграла на самолюбии своего богатого любовника. А Юра был козлом отпущения. Любовник взвыл. Она нанесла сильный удар. В конце концов он приехал за ней в Париж, они, по-видимому, встретились и... эта особа, которую, кстати, мы называли «молодая лестница», в один прекрасный день, когда Юра был в поездке, бросила его и уехала в Белград, предварительно начисто ограбив его, продав все имущество, даже его квартиру со всей мебелью. Юра затосковал. И как! Он даже похудел от горя. Такого с ним еще никогда не случалось. Это было его первое душевное потрясение.

Как-то вечером он пришел в то место, где я пел. Заказав себе вина, он волей-неволей вынужден был слушать ненавистное ему мое пение.

Я пел довольно безобидный вальс — «Дни бегут». Там есть такие слова:

Сколько вычурных поз,
Сколько сломанных роз,
Сколько мук и проклятий и слез!

Как сияют венцы!
Как банальны концы!
Как мы все в наших чувствах глупцы!

А любовь — это яд!
А любовь — это ад!

Потом шли еще слова. Наконец, я кончил. Юра встал и подошел ко мне. По лицу его ручьями текли слезы.

— Прости меня! — Мог только произнести он.

Я простил.

ДНИ БЕГУТ

Сколько вычурных поз,
Сколько сломанных роз,
Сколько мук и проклятий и слез!
Как сияют венцы!
Как банальны концы!
Как мы все в наших чувствах глупцы!
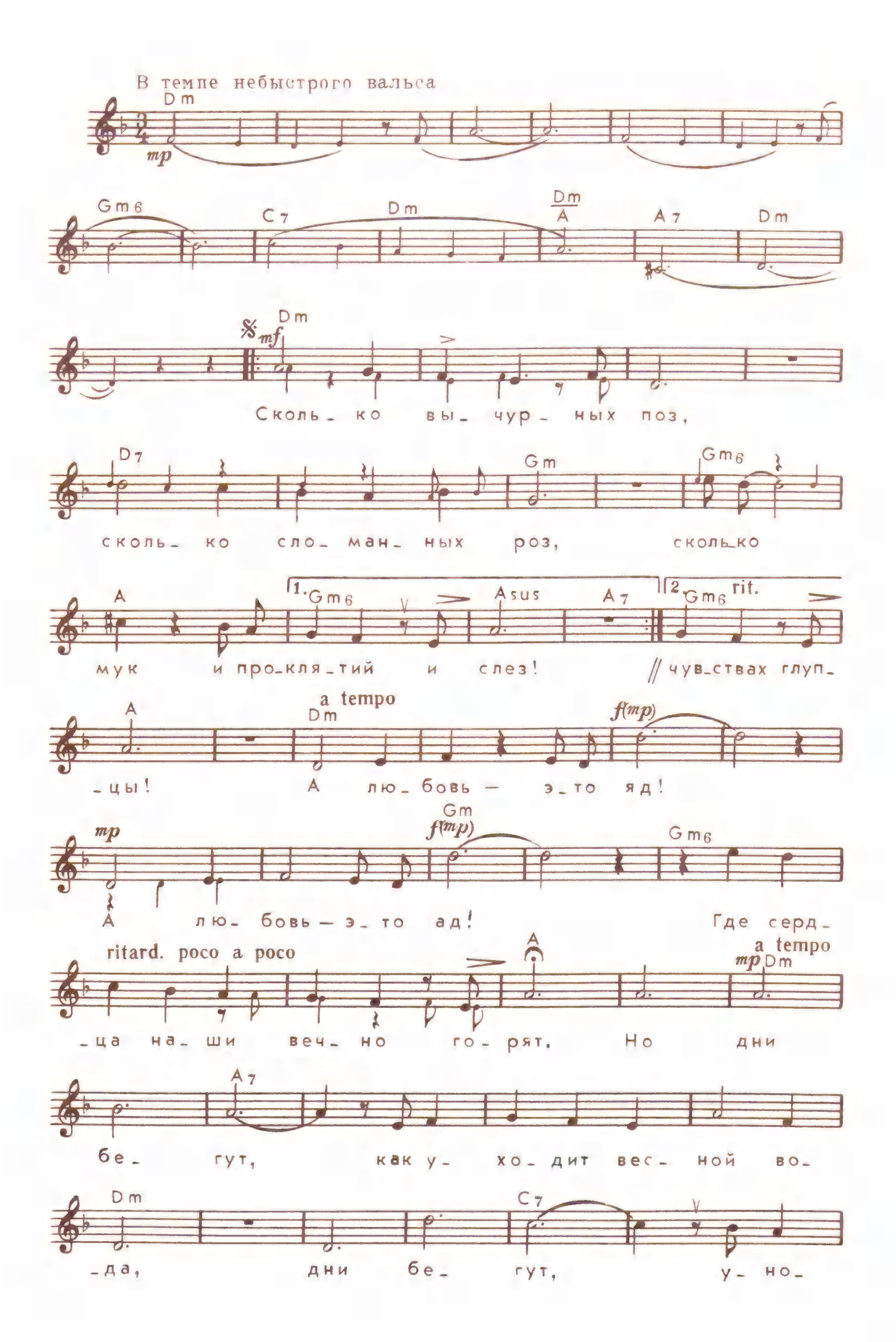
А любовь — это яд!
А любовь — это ад!
Где сердца наши вечно горят.
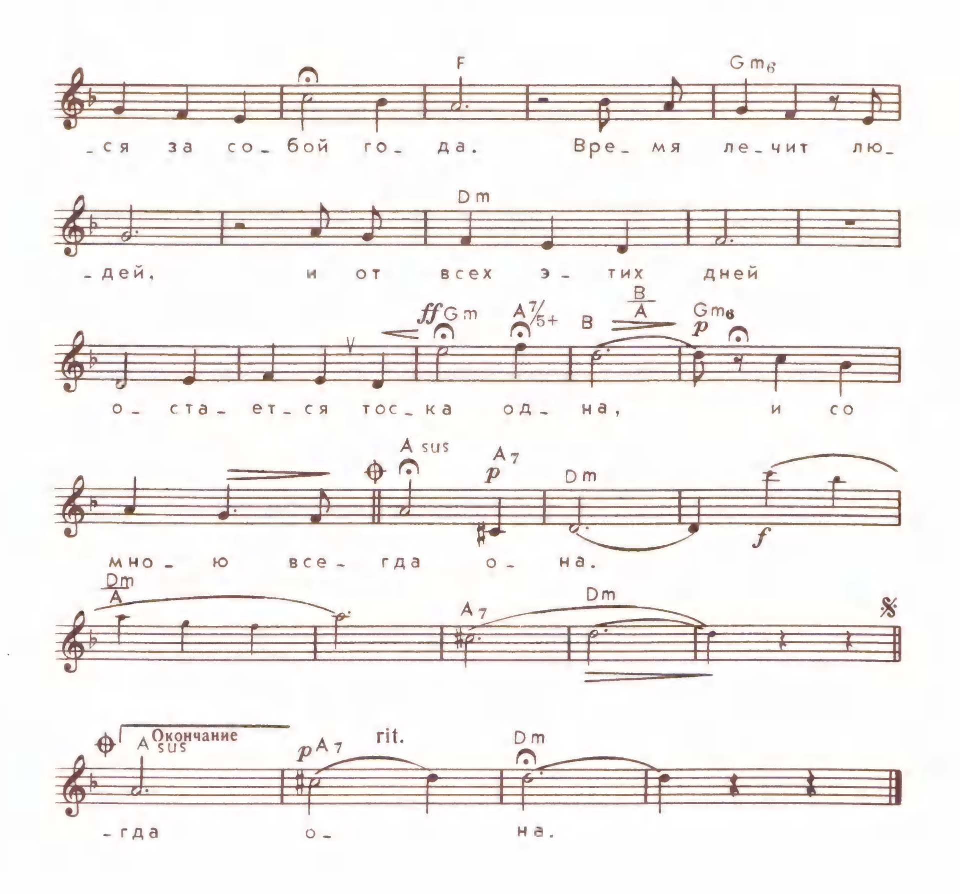
Но дни бегут,
Как уходит весной вода,
Дни бегут,
Унося за собой года.
Время лечит людей,
И от всех этих дней
Остается тоска одна,
И со мною всегда она.

Но зато, разлюбя,
Столько чувств загубя,
Как потом мы жалеем себя!
Как нам стыдно за ложь,
За сердечную дрожь,
И какой носим в сердце мы нож!

Никому не понять,
Никому не сказать,
Остается застыть и молчать.

А дни бегут...
Как уходит весной вода,
Дни бегут,
Унося за собой года.
Время лечит людей,
И от всех этих дней
Остается тоска одна,
И со мною всегда она...


В темпе небыстрого вальса
Dm
mp
Gm6
C7
Dm
Dm
A
A7
Dm
Dm
mf
Сколь- ко вы- чур- ных поз,
D7
Gm
Gm6
сколь- ко сло- ман- ных роз, сколь-ко
A
1. Gm6
Asus
A7
2. Gm6
rit.
мук и про-кля-тий и слез! // чув-ствах глуп-
A
a tempo
Dm
f(mp)
-цы! А лю- бовь — э- то яд!
mp
Gm
f(mp)
Gm6
А лю- бовь — э- то ад! Где серд-
ritard. poco a poco
A
a tempo
mp Dm
-ца на- ши веч- но го- рят. Но дни
A7
бе- гут, как у- хо- дит вес- ной во-
Dm
C7
-да, дни бе- гут, у- но-


F
Gm6
-ся за со-бой го-да. Вре-мя ле-чит лю-
Dm
-дей, и от всех э-тих дней
ff Gm
A7/5+
B
B/A
Gm6
p
о-ста-ет-ся тос-ка од-на, и со
A sus
A7
p
Dm
f
мно-ю все-гда о-на.
Dm/A
A7
Dm
Окончание
A sus
p A7
rit.
Dm
-гда о-на.

Александр Вертинский.
ИСТОРИЯ С СОБАКОЙ



Пес Дуглас



История с собакой

Обожаю Францию и французов. Особенно Париж. Пятнадцать лет я прожил в нем, и каждый камень его мне дорог как-то особенно,— лично знаком, дружески, задушевно приятен и незаменим, как старый боевой товарищ, с которым столько пережито и передумано... И каков-то он теперь? И что с ним?..

А сами французы? О, этот светлый галльский ум! Это прирожденное изящество мысли! Эта обаятельная простота и легкость в обращении! Эта находчивость, ирония, блестящее остроумие! Эта портативная жизненная философия в любом жилетном кармане! Этот восхитительный и преступный оптимизм в самые тяжелые моменты! Это умение жить при всяких обстоятельствах, дышать полной грудью и... по возможности, ни в чем себе не отказывая, если даже за порогом твоего жилища тебя стережет дракон, готовый растерзать в любую минуту!

Сколько раз и какой ценою платили французы за это легкомыслие! Но... таков уж характер нации, и ничего с ним не поделаешь. Пока они «отдыхали» от войны, танцуя фокстроты, немцы вооружались... И в один прекрасный день... Впрочем, это всем уже давно известно.

В двадцатых и тридцатых годах, едва только закончилась Первая мировая война, Париж точно с ума сошел. Никогда еще не было такого изобилия и излишества в жизни парижан. Это была какая-то вакханалия роскоши и мотовства!

На женщин тратились безумные деньги. Ни одна кокотка не появлялась два раза в одном и том же туалете. Что же касается так называемых «приличных» женщин, то для того, чтобы блистать в обществе, им приходилось иметь не меньше трех-четырех любовников. Одного — для туалетов. Другого — для драгоценностей. Третьего — для «выходов»... чтобы ее «лансировать», то есть «выводить», делать ей «марку» в «свете». Четвертым был муж, на обязанности которого было только оплачивать квартиру и давать на расходы по дому. И пятый — он был, так сказать, «для души». Это был молодой и красивый «жиголо», который ей лично стоил приличные деньги. Ему покупалась машина лучшей марки, его одевали у первоклассных портных, для него снималась где-нибудь в Булонском лесу уютная маленькая «гарсоньера» и давались карманные деньги на расходы. С ним приходилось встречаться только в «выходной» день, ибо все остальные дни были заняты. Открыто, с ним не показывались.

Французы любят и умеют жить. Эмигрантский фельетонист милюковской газеты «Последние новости», Дон-Аминадо, писал о них:

Там, где немец рассуждает,
Англичанин хмурит брови,
Горячится итальянец
И кичится славянин,

Там сверкает и играет
Каждой каплей галльской крови
С юных дней — республиканец,
С колыбели — гражданин.

И французы — эти прирожденные республиканцы и граждане, а главное, их галльский темперамент, уже ничем не сдерживаемый,— взыграли бурно и пенисто, как искрометное шампанское...

Левая рука актрисы мадемуазель Ивон Прэнтан, от плеча до кисти украшенная брильянтовыми обручами, была застрахована в пять миллионов франков. Знаменитая «ведетта» мюзик-холлов, маститая Мистангет, выходившая на сцену в окружении молодых и красивых женщин, совершенно голых, в одних коротеньких юбочках из страусовых перьев, выступала в манто из настоящих «парадизов», самых дорогих в мире птичьих перьев хвостов райской птицы. Манто хранилось в сейфах Банка Де Франс, и его привозили на спектакль артельщики банка, вооруженные револьверами. Пока Мистангет была на сцене в нем, они зорко следили из-за кулис, чтобы ни одно перо не исчезло, а затем увозили его в глухой каретке с решетками обратно в банк, где оно хранилось в бетонированных подвалах. Манто тоже было оценено в несколько миллионов.

Все знаменитости мировой эстрады того времени выступали в «Казино-де-Пари», «Мулен Руж» и «Фоли Бержер». Среди сказочных, экзотических декораций по причудливым лестницам вверх и вниз скользили обнаженные юные женщины — бесконечным потоком — в цветах, перьях и шлемах, как нагие римские воины.

Этот поток женских тел утомлял глаз, дикая музыка джаза раздражала слух, но они продолжали скользить, точно по какому-то конвейеру, и, рассчитанные на «возбуждение зрителя», окончательно убивали его.

Скромный и талантливый поэт Владислав Ходасевич, горько переживавший свое «самоизгнание» в эмиграцию, брезгливо писал об этих «ревю»:

И под двуспальные напевы,
На полинялый небосвод,
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.

Конкурсы красоты чередовались с конкурсами платьев, где участвовали все «Мэзон-де-Кутюр» * мира. Конкурсы брильянтов, устраиваемые великосветскими благотворительницами в пользу инвалидов «ля гель кассе» — «разбитых морд», т. е. раненых в лицо, искалеченных войной людей, чередовались с кон-

* «Мэзон-де-Кутюр» — Дома Платьев.

курсами самых элегантных машин частных владелиц, которые в умопомрачительных туалетах лично правили ими на конкурсе.

Голливудская кинозвезда Марлен Дитрих появилась на одном из таких состязаний в черном «Ролл-Ройсе», весь наружный капот которого был сделан из чистой платины, а на дверцах красовались монограммы его владелицы, сделанные из розовых брильянтов. Зато на ней самой не было ни одного украшения! Это было верхом снобизма.

Лопались банки, горели дела, трещали репутации. В игорных домах и клубах нескончаемым потоком лилось золото. Автомобильный король Ситроен давал карту на пять миллионов. Известный сенатор Клотц надавал фальшивых векселей и сел в тюрьму из-за двадцатилетней девчонки, прошедшей высшую школу любовного пилотажа на парижских бульварах. В тюрьме ему больше ничего не оставалось как отравиться. Яд ему принесла любящая супруга. После его смерти эта респектабельная вдова уехала в провинцию со взрослыми дочерьми до конца дней своих — носить траур великосветского позора.

Только что всколыхнуло Париж дело Стависского, авантюриста и мошенника мирового размаха. «Событий» было хоть отбавляй, и все они были сенсационными. Париж не может жить без сенсаций.

Сегодня приезжает в столицу магараджа Капуртала, о котором говорят, что он богаче всех богачей мира, сложенных вместе, завтра — полусумасшедший эмигрант Горгулов стреляет в президента Республики — неизвестно зачем, и идет на гильотину, всего на три дня заинтересовав Париж своей особой. Но дни бегут. Нужны новые сенсации...

Прославленный парикмахер Антуан, король женских причесок, законодатель и мэтр парижанок, почувствовав «творческую усталость», ложится в хрустальный гроб и спит в нем, как белоснежка, «чтобы набраться чистых видений». Через две недели все женщины Парижа становятся похожими одновременно на ангелов и на болонок. Кому как идет!

«Гранд-дюк-де-Рюсси» Дмитрий Павлович сходится со знаменитой портнихой Шанель. Об этом говорит весь Париж. Шанель — богатая женщина и может позволить себе такого «люксового» любовника, ее дело стоит миллионы. Но, увы, через полгода она «выходит из игры», будучи не в состоянии поддерживать «трэн жизни» этого первого красавца Европы. Она «выдает его замуж» за американскую миллионершу и с горя уезжает в Африку — «забыться и отдохнуть среди примитивных чернокожих».

И все-таки, это еще не самое главное. Три события потрясли Париж. О них, захлебываясь, писали газеты, не щадя красок, фантазии и темперамента. Первым был «Полет Икара», как его окрестили парижане. Однажды утром особый поезд президента Республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой стан-

ции. Президент стоял у окна своего вагона, высунувшись из него до пояса. По-видимому, машинист паровоза неудачно затормозил состав и… президент вылетел на платформу как был — в полном «дезабилье», т. е., в одних подштаниках — прямо на руки ожидавших его приезда депутатов. Три недели все куплетисты Монмартра и Монпарнаса воспевали этот изумительный полет главы правительства.

Вышеупомянутый поэт Дон-Аминадо, отдавая дань этой божественно легкомысленной расе, патетически восклицал:

Где еще в подлунном мире
Из вагонного окошка
Вылетают президенты
В полосатых пижама?..

Событие сие надолго оттеснило на второй план политические события того времени.

Вторым сенсационным событием было возвращение знаменитой парижской «ведетты» Мистангет, ездившей на гастроли в Америку. Уехав туда на три года, она вернулась через три месяца. По-видимому, ее там «не поняли». Кстати, в это время ей шел 75-ый год, что, впрочем, не мешало ей блистать на сцене. В Париже женщина не имеет возраста, и до сорока лет вообще считается «подростком». Молодых женщин парижане не любят.

Парижане прирожденные конферансье. Стоя на углу бульвара Распай, я однажды слышал следующий разговор двух уличных продавцов, из которых один продавал подтяжки, а другой — пятновыводчик. Каждый из них расхваливал свой товар, ловко пересыпая свою речь злободневными остротами на политические и иные темы:

— Ты слышал, Жан,— кричал один из них другому,— американцы с нас требуют военные долги? А? Что ты на это скажешь?

— Хороши союзнички! — не переставая освежать пятновыводчиком чью-то грязную фуражку, отвечал Жан.— Чего они от нас хотят в конце концов, эти янки? Мы же им послали Мистангет! — возмущался он.

— Да, но ведь они ее нам вернули! — добросовестно пояснял первый.

— Ну и что же из этого? Мы ведь их об этом не просили,— спокойно парировал Жан.

Толпа грохотала. Французы любят шутку. Товар распродавался легко.

А третьим событием была «История бедного Фифиса». Это уже была мировая сенсация. Дело в том, что одному профессору медицины — крупному французскому ученому, производившему опыт над животными, понадобилось испробовать свою вновь изобретенную сыворотку на собаке. Поймав где-то на улице приблудившегося фокстерьера, «рассеянный» профессор, привел его в свою лабораторию и сделал ему прививку. До сих пор все

шло благополучно, однако безутешная владелица пропавшего фокстерьера вскоре разнюхала эту историю и подала на профессора в суд. Парижане заволновались. Эдак каждой собаке может грозить подобная опасность! Сердобольные хозяйки всех этих «жужу» и «бижу» проливали горючие слезы над судьбой фокстерьера, прижимая к сердцу своих любимцев.

«Повр Фифис!» — бедный Фифис! — рыдая, восклицали они. Поймав профессора где-то на улице, они забросали его камнями. В письмах его жизни откровенно угрожали, консьержки, лавочницы, молочницы и домашние хозяйки требовали для него суда Линча.

За профессора вступилась пресса. Ведь это же на пользу человечества! Газеты раздували мировой пожар. Печатались статьи знаменитых собаковедов, собаководов и собакопромышленников. Лучшие умы Франции в течение целого месяца были заняты этим вопросом. Газеты давали интервью с самыми неожиданными лицами, вплоть до владельцев колбасных фабрик. Опрос был всенародный, как плебисцит. В кино показывались картины, воспроизводившие опыты над собаками, причем посетители делились на два лагеря — «за» и «против». Показы этих картин обычно заканчивались драками.

Парижане были возмущены до предела. Собирались огромные средства для Общества защиты животных. Какой-то старый маркиз пожертвовал собакам свое огромное поместье с особняком в 46 комнат.

Если бы половина этих слез, пролитых над судьбой Фифиса, была пролита над судьбой тех же «ля гель кассе», если бы четверть этих «собачьих» денег была отдана в распоряжение этих несчастных, бедные инвалиды войны, проливавшие свою кровь за отчизну, были бы до самой своей смерти обеспечены материально.

Но... таков Париж. И в день взятия Бастилии — 14-го июля,— когда народ танцует на всех площадях и по Шам Зелизе утром двигается обычная в этот день демонстрация, ее и на этот раз торжественно открывали везомые в колясочках и ведомые под руки слепые изуродованные инвалиды «ля гель кассе».

Эту историю с Фифисом я рассказал специально для того, чтобы дать понять моему читателю ту особую «прособачью» атмосферу, которая царила в Париже в те дни, когда со мной случилось это весьма незначительное происшествие. Впрочем, все по порядку.

Я в это время жил в Пасси. Рядом со мной, буквально за моим домом, начинался знаменитый Булонский лес — краса и гордость парижан. Бесконечные пространства хвойного и лиственного леса в самом центре города, где можно укрыться от летнего зноя в тени деревьев, гулять, кататься верхом или в собственной машине,— десятки и сотни километров асфальтированных прекрасных

дорог, рестораны, дансинги, старинные замки французской аристократии, обедневшей и вымирающей (почти все уже давно проданное американцам) — словом, все удовольствия мира, вплоть до «фавнов», блуждающих в чаще леса и пугающих непристойными жестами замечтавшихся гувернанток и бонн!

У меня была собака. Это была белая красавица — боксер с единственным пятном в виде коричневого «монокля» вокруг правого глаза. Звали ее Долли. У нее был в общем спокойный характер, и когда мы с ней приходили в кафе и садились за столик прямо на улице, она непринужденно вскакивала на стул и сидела, окидывая публику полным достоинства взглядом. Когда к нам подходил гарсон, чтобы принять заказ, я неизменно сперва обращался к ней, как к даме:

— Что вы хотите, Долли? — спрашивал я.

— Гав! — коротко и выразительно отвечала она.

На собачьем языке это означало «бриошь», то есть сдобную булочку. Я заказывал, гарсон подавал. Долли скромно съедала свой бриошь и продолжала спокойно сидеть, разглядывая соседей. Ее уже хорошо знали в Пасси. У нее были кой-какие недостатки. Она не выносила кошек, крыс, мотоциклистов и верховых лошадей. Во всем остальном она была «настоящая леди». В Париже собак надо держать на «лэсс», то есть на ошейнике и ремне или цепочке, и ни в коем случае нельзя отпускать их от своей ноги. А ведь собаки, как дети, им тоже хочется побегать по душистой траве, покувыркаться, погоняться за птицами или — не дай Бог! — за лебедями в прудах, где дремлют в воде жирные ручные карпы. Вот тут-то и начинаются трудности. Булонский лес кишит «ажанами» — строгими полицейскими в синих кепи и пелеринах, которым совершенно нечего делать среди свободолюбивых парижан и которые всю свою служебную энергию направляют на борьбу с собаками, осмелившимися дать волю своей звериной жизнерадостности.

Каждое утро я брал Долли на лэсс и мы шли гулять в Булонский лес. Там, выбрав местечко поглуше, где совсем не видно ажанов, я спускал ее с привязи и она устраивала такие собачьи бега со случайными подругами, что у меня захватывало дух от восхищения. Когда вдалеке показывался ажан, я свистел ей и в одну секунду она уже сидела рядом со мной, привязанная на лэсс, и с нескрываемым презрением разглядывала приближающегося ажана. Ажан окидывал ее подозрительным взглядом и проходил дальше, придраться ему было не к чему. Тем не менее, он все прекрасно понимал и собаку мою держал, так сказать, «на учете» в своей профессиональной памяти.

Однажды я сидел на скамейке в самом уединенном уголке Булонского леса и читал газету. Вокруг меня на дорожках и полянах резвились десятки собак разных пород и мастей, спущенные с лэсс своими сердобольными хозяевами, которые также читали газе-

ты, курили или рассуждали о трагической судьбе «бедного Фифиса». Ко мне подошел ажан.

— Мсье! — корректно сказал он, приложив руку к козырьку,— я попросил бы вас взять вашу собаку на лэсс!

Я отрицательно покачал головой.

— Это невозможно, мсье! — отвечал я.

Владельцы «фифисов» заволновались и стали спешно собирать своих питомцев. Образовалась кучка людей, из нее слышались негодующие замечания:

— Какой осел придумал эти правила! Бедные животные не могут даже побегать полчаса!

Подошел еще один ажан.

— Ваш префект Кьяпп, г-н лейтенант,— старый корсиканский осел! Его самого надо посадить на цепь, чтобы он поменьше самовольничал у нас в Париже! — злобно ворчал какой-то старичок с ленточкой Почетного легиона в петлице.— Это ему не Корсика...

Лейтенант был глух и нем. Он был олицетворением закона. Во Франции можно ругать правительство сколько угодно, это никому не возбраняется, и поэтому до ушей лейтенанта подобные речи просто не доходили.

— Я еще раз прошу вас, мсье,— взять вашу собаку на лэсс, иначе мне придется принять другие меры! — настойчиво и строго повторил он.

— Увы, я не могу этого сделать,— отвечал я.

Лейтенант засвистел. Подошли еще трое ажанов.

— Этот мсье не желает взять свою собаку на лэсс,— заявил он пришедшим. Ажаны строго переглянулись и потребовали, чтобы я следовал за ними в префектуру.

Мрачно скрестив руки на груди, я твердо заявил:

— Никуда не пойду! — и демонстративно уткнулся в газету.

Образовалась уже довольно большая толпа, из которой, как из грозовой тучи, временами сверкали молнии гнева и сочувствия мне.

— Я вас заставлю повиноваться французским законам! — вскипел лейтенант. Один из ажанов подошел к телеграфному столбу, открыл ключом ящичек полицейского телефона и позвонил куда-то. Через пять минут передо мной стояла каретка полиции с решетками на окнах. Дело принимало дурной оборот. Толпа уже свистела и улюлюкала:

— Мор, сюр ля ваш! — Смерть коровам! — неслись из нее бешеные возгласы.

Ажаны были неумолимы. Сомкнутым строем они двинулись ко мне, чтобы, связав меня в случае сопротивления, засунуть в каретку и, доставив в префектуру, закатить штраф в пятьсот франков, а попутно намять мне бока — для порядка.

Я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я встал со

скамьи, подошел к старшему из них и спокойно спросил:

— Что вам от меня угодно, мсье?

— Нам угодно, чтобы вы немедленно взяли вашу собаку на лэсс, которая гоняется в данную минуту за породистыми утками на показательном пруду.

Я пристально взглянул ему в глаза и с невозмутимостью англичанина еще раз твердо произнес:

— Я не стану этого делать!

— Почему? — в бешенстве крикнул ажан.

— Потому, что это... не моя собака!

В это утро Долли со мной, действительно, не было.

Толпа завыла от восторга. Меня обнимали, целовали, жали мне руки и хохотали, как сумасшедшие, пытаясь даже качать меня. Они улюлюкали вслед уходящим сконфуженным ажанам. И были в восторге. Французы умеют ценить шутку.

ПЕС ДУГЛАС

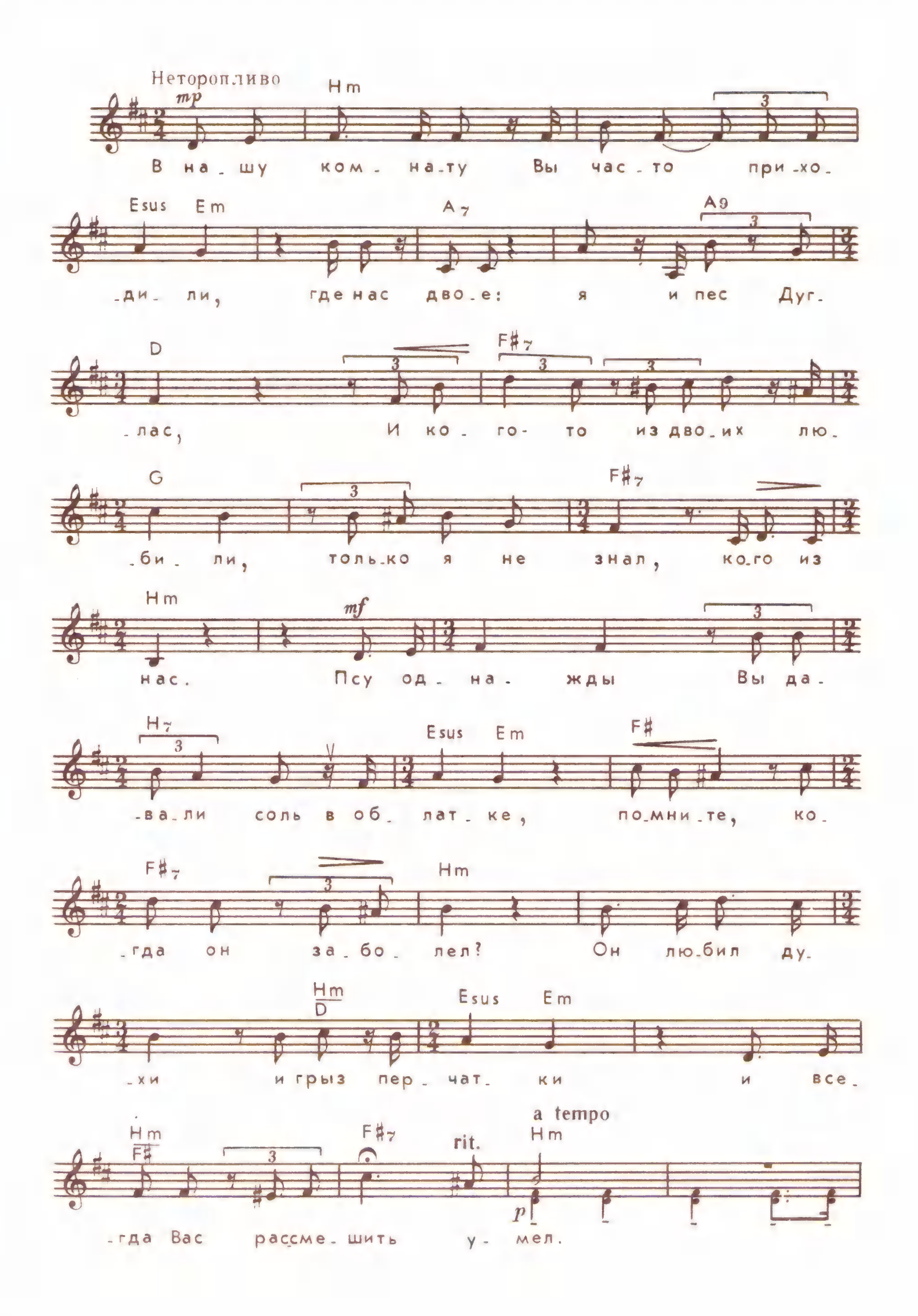
В нашу комнату Вы часто приходили,
Где нас двое: я и пес Дуглас,
И кого-то из двоих любили,
Только я не знал, кого из нас.
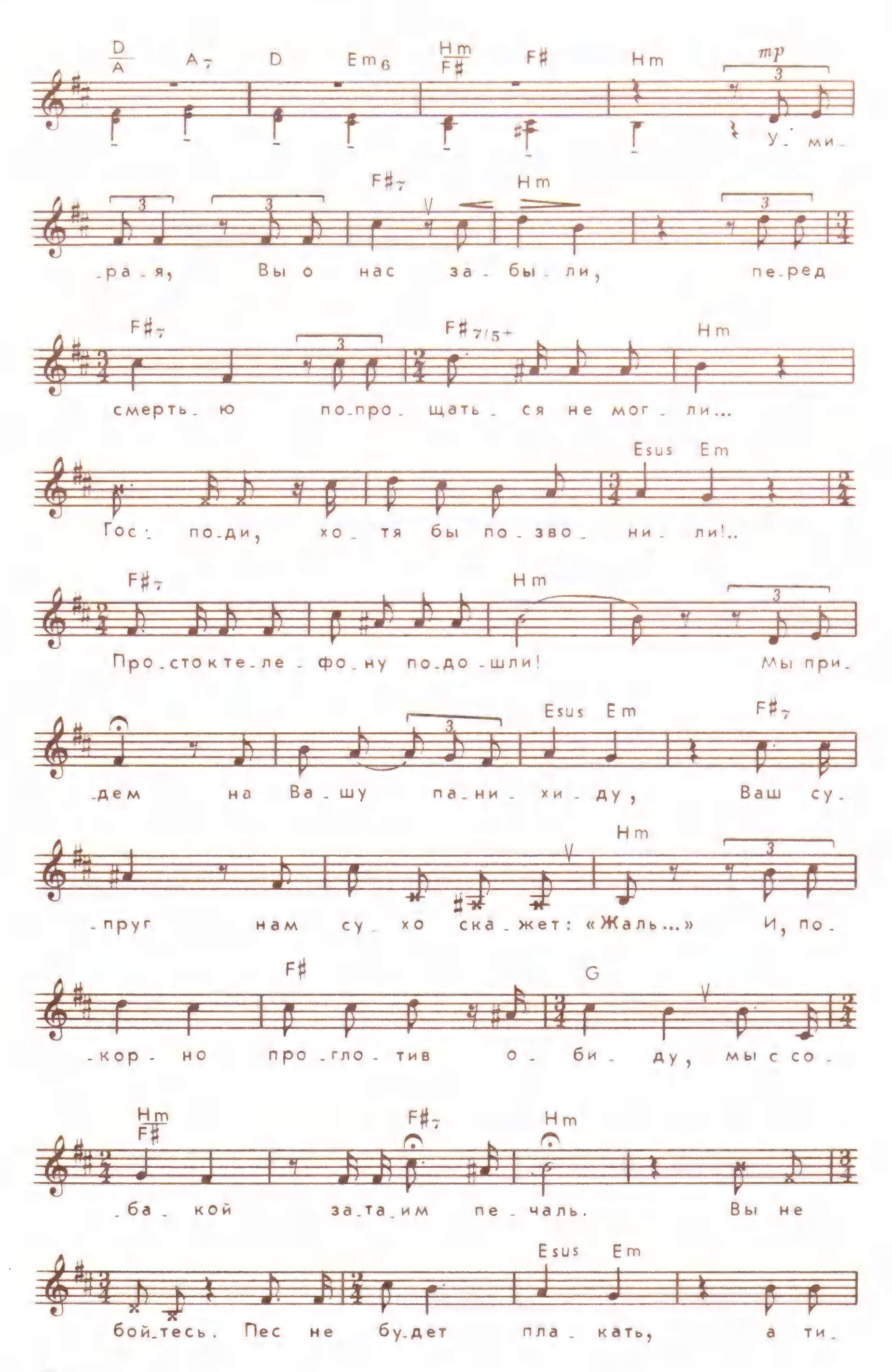
Псу однажды Вы давали соль в облатке,
Помните, когда он заболел?
Он любил духи и грыз перчатки
И всегда Вас рассмешить умел.

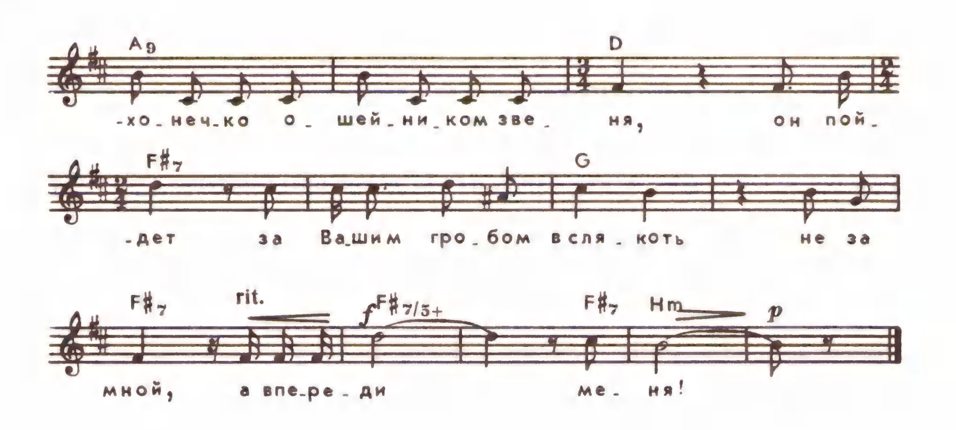
Умирая, Вы о нас забыли,
Перед смертью попрощаться не могли...
Господи, хотя бы позвонили!..
Просто к телефону подошли!

Мы придем на Вашу панихиду,
Ваш супруг нам сухо скажет: «Жаль...»
И, покорно проглотив обиду,
Мы с собакой затаим печаль.

Вы не бойтесь. Пес не будет плакать,
А тихонечко ошейником звеня,
Он пойдет за Вашим гробом в слякоть
Не за мной, а впереди меня!

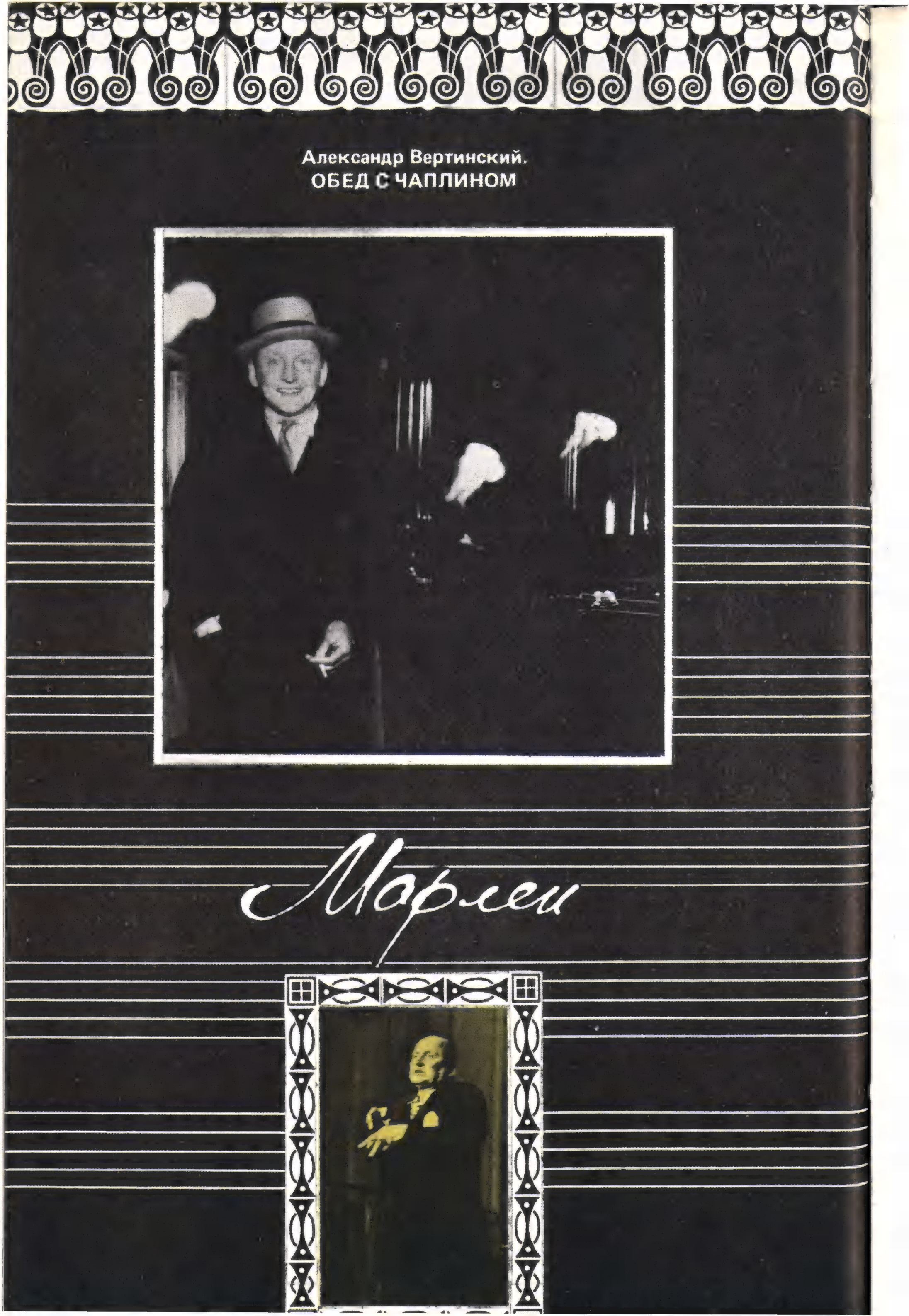

Неторопливо
mp
Hm
В на_шу ком_на_ту Вы час_то при_хо_
Esus Em A7 A9
_ди_ли, где нас дво_е: я и пес Дуг_
D F#7
_лас, И ко_го-то из дво_их лю_
G F#7
_би_ли, толь_ко я не знал, ко_го из
Hm mf
нас. Псу од_на_жды Вы да_
H7 Esus Em F#
_ва_ли соль в об_лат_ке, по_мни_те, ко_
F#7 Hm
_гда он за_бо_лел? Он лю_бил ду_
Hm/D Esus Em
_хи и грыз пер_чат_ки и все_
Hm/F# F#7 rit. a tempo Hm
_гда Вас рассме_шить у_мел.
p


D/A A7 D Em6 Hm/F# F# Hm mp
У_ми_
F#7 Hm
_ра_я, Вы о нас за_бы_ли, пе_ред
F#7 F#7/5+ Hm
смерть_ю по_про_щать_ся не мог_ли...
Esus Em
Гос_по_ди, хо_тя бы по_зво_ни_ли!..
F#7 Hm
Про_сто к те_ле_фо_ну по_до_шли! Мы при_
Esus Em F#7
_дем на Ва_шу па_ни_хи_ду, Ваш су_
Hm
_пруг нам су_хо ска_жет: «Жаль...» И, по_
F# G
_кор_но про_гло_тив о_би_ду, мы с со_
Hm/F# F#7 Hm
_ба_кой за_та_им пе_чаль. Вы не
Esus Em
бой_тесь. Пес не бу_дет пла_кать, а ти_





Концертная программа, выпущенная к выступлениям А. Вертинского в Америке. Середина 30-х годов


Александр Вертинский.
ОБЕД С ЧАПЛИНОМ

Обед с Чаплином

Когда в Париж приехал Чарли Чаплин, леди Детерлинг, русская по происхождению, решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля «Крийон», на плас Вандом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и Лифаря она посадила рядом с Чаплином. За обедом мы разговорились с ним и даже успели подружиться. Американцы сходятся очень быстро за дринком.

После обеда начались наши выступления. Лифарь танцевал, я пел, Жан Гулеско играл «Две гитары», Настя Полякова пела старые цыганские песни и «чарочки» гостям. Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, метрдотель «Крийона» мсье Альбер подал свои знаменитые наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновскими «N»,— сервиз, которым гордился отель «Крийон» — личный сервиз императора, оставшийся еще с тех пор, как Наполеон останавливался в этом отеле.

Цыгане запели «чарочки». Первую они поднесли Чаплину.

Чаплин выпил бокал до дна и к моему ужасу разбил его об пол.

Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Метрдотеля переворачивало. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы.

— Мсье Вертинский,— шепотом сказал он,— ради Бога, скажите этому «парвеню», чтобы он не бил бокалов. Мало того, что мы поставили леди Детерлинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер. Это сервиз исторический. Заменить его нечем.

Он искренне волновался.

Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку.

— Чарли,— спросил я,— зачем вы бьете бокалы?

Он ужасно смутился.

— Мне сказали, что это русская привычка, каждый бокал разбивать,— отвечал он.

— Если она и «русская»,— сказал я,— то, во всяком случае, дурная привычка. И в обществе она не принята. Тем более, что это наполеоновский сервиз и второго нет даже в музеях.

Он извинялся и горевал как ребенок, но больше посуды не бил.

МАРЛЕН

Марлен Дитрих

Вас не трудно полюбить,
Нужно только храбрым быть,
Все сносить, не рваться в бой
И не плакать над судьбой,
Ой-ой-ой-ю!

Надо розы приносить
И всегда влюбленным быть,
Не грустить, не ревновать,
Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,
Ваши фильмы вслух хвалить
И смотреть по двадцать раз,
Как актер целует Вас,
Прижимая невзначай…
Гуд-бай!

Все журналы покупать,
Все портреты вырезать,
Все, что пишется о Вас,
Наизусть учить тотчас.

Попугая не дразнить,
С камеристкой в дружбе жить
(«Здрасьте, Марья Семеновна!»),
Чистить щеточкой «бижу»
И водить гулять Жужу
(«Пойдем, собачечка!»).
На ночь надо Вам попеть,
С поцелуями раздеть,
Притушить кругом огни —
Завтра съемка… ни-ни-ни
(«Что вы, с ума сошли?»).
И сказать, сваривши чай:
— Гуд-бай!
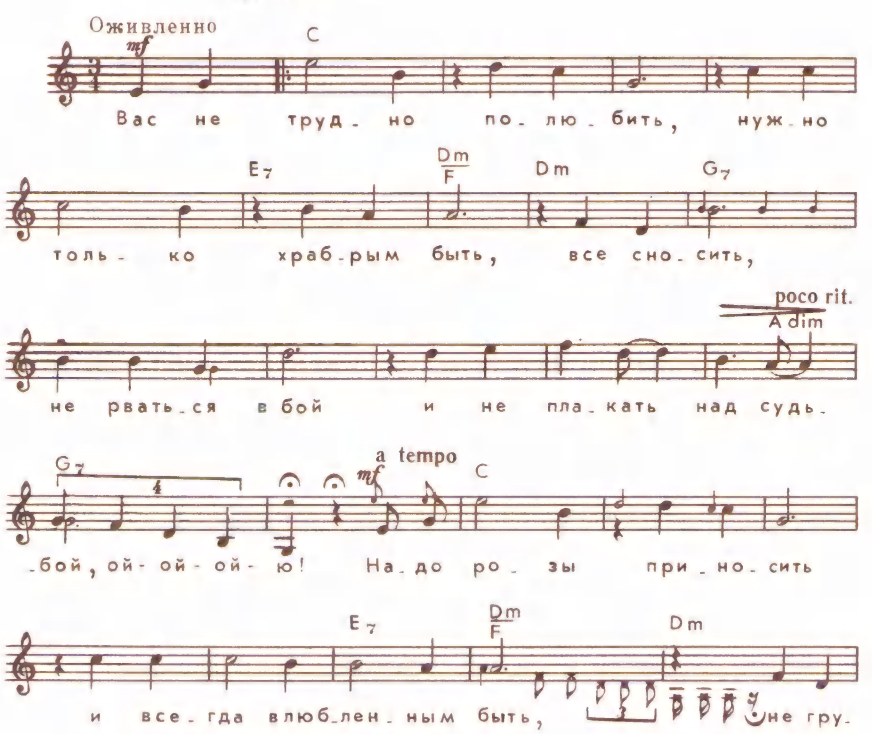
Ожидая Вас — не спать,
В телефон — не проверять,
Не совать свой нос в «дела»,
Приставая: «Где была?»
(«А вам какое дело?»)
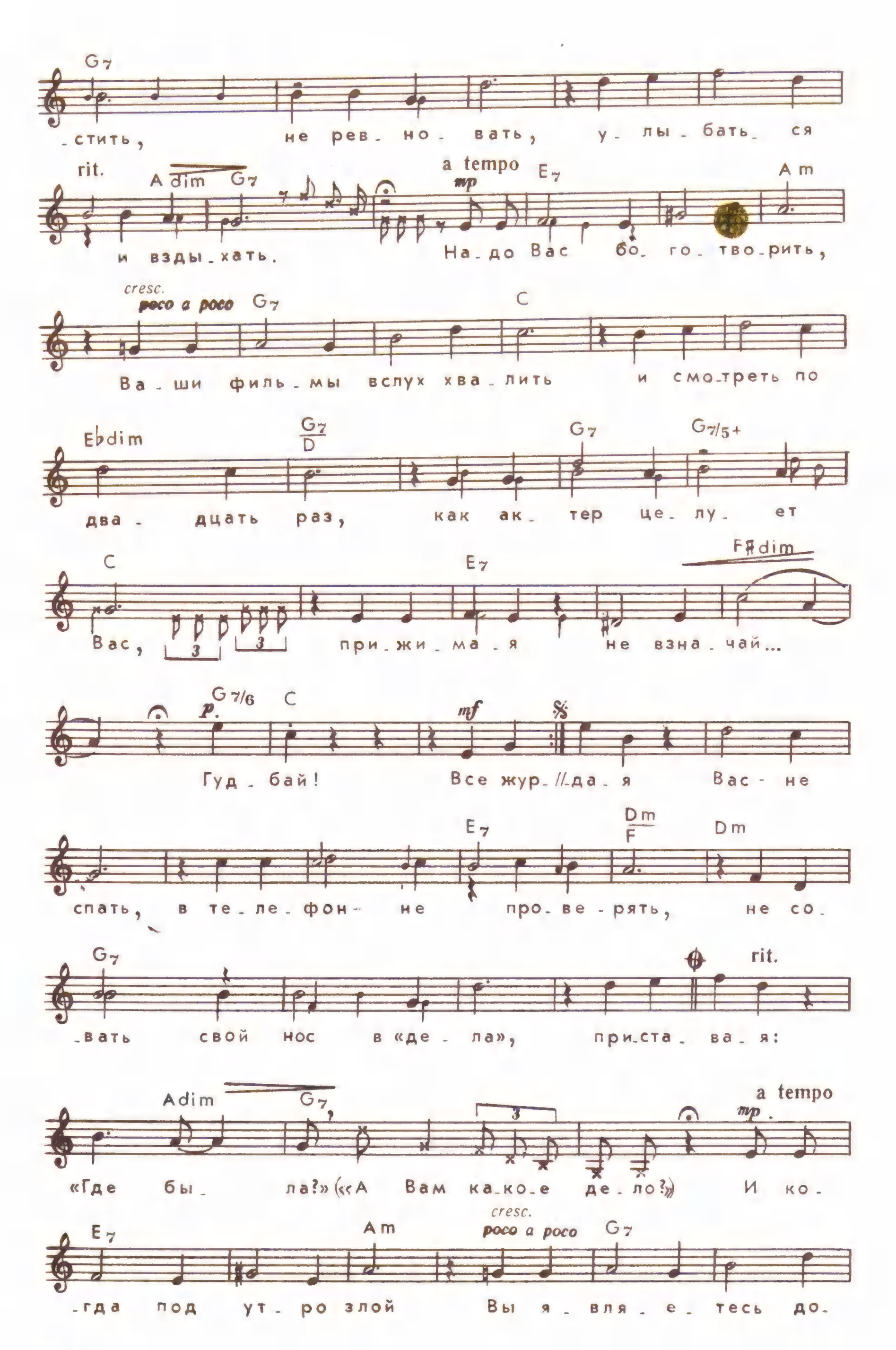
И когда под утро злой
Вы являетесь домой —
Не вылазить на крыльцо,
Сделать милое лицо.
— Замолчи, Жужу, не лай!..
Гуд-бай!

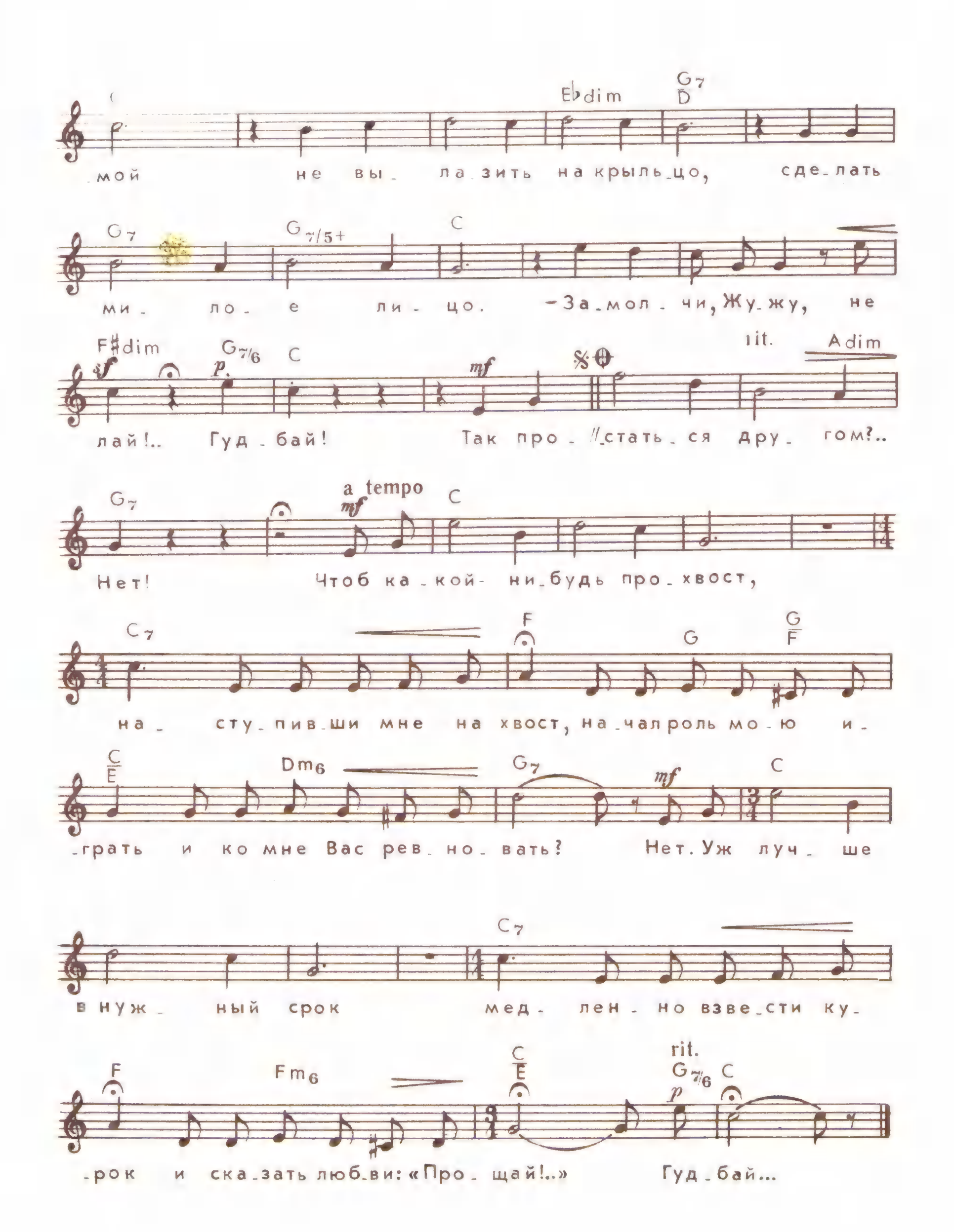
Так проживши года три,
Потерять свое «эспри»,
Постареть на десять лет
И остаться другом?.. Нет!

Чтоб какой-нибудь прохвост,
Наступивши мне на хвост,
Начал роль мою играть
И ко мне Вас ревновать?

Нет. Уж лучше в нужный срок
Медленно взвести курок
И сказать любви: «Прощай!..»
Гуд-бай...




G7
-стить, не рев - но - вать, у - лы - бать - ся
rit. Adim G7 a tempo mp E7 Am
и взды - хать. На - до Вас бо - го - тво - рить,
cresc. poco a poco G7 C
Ва - ши филь - мы вслух хва - лить и смо - треть по
E♭dim G7/D G7 G7/5+
два - дцать раз, как ак - тер це - лу - ет
C E7 F♯dim
Вас, при - жи - ма - я не взна - чай...
p. G7/6 C mf
Гуд - бай! Все жур - да - я Вас - не
E7 Dm/F Dm
спать, в те - ле - фон - не про - ве - рять, не со -
G7 rit.
-вать свой нос в «де - ла», при - ста - ва - я:
Adim G7 a tempo mp
«Где бы - ла?» («А Вам ка - ко - е де - ло?») И ко -
E7 Am cresc. poco a poco G7
-гда под ут - ро злой Вы я - вля - е - тесь до -


E♭dim G7/D
мой не вы ла_зить на крыль_цо, сде_лать
G7 G7/5+ C
ми_ ло_ е ли_ цо. –За_мол_ чи, Жу_жу, не
F♯dim G7/6 C sf p. mf rit. Adim
лай!.. Гуд_бай! Так про_ //_стать_ся дру_ гом?..
G7 a tempo mf C
Нет! Чтоб ка_кой- ни_будь про_хвост,
C7 F G G/F
на_ сту_пив_ши мне на хвост, на_чал роль мо_ю и_
C/E Dm6 G7 mf C
грать и ко мне Вас рев но_ вать? Нет. Уж луч_ ше
C7
в нуж_ ный срок мед_ лен_ но взве_сти ку_
F Fm6 C/E rit. G7/6 C p
_рок и ска_зать люб_ви: «Про_ щай!..» Гуд_бай...



Из интервью и бесед
(Нью-Йорк, 1935 г.)



Рождество



Нью-Йорк, 1935 год

«Я ВОШЕЛ НА СЦЕНУ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ДВЕРИ»

Беседа сотрудника «Нового Русского слова» со знаменитым автором и исполнителем «печальных песенок Пьеро» А. Вертинским.

Кто не знает эти печальные песенки Пьеро, в которых, как в зеркале, отражается целая эпоха жизни нашего, «второго» поколения...

В период героической войны, когда «цена жизни» упала необыкновенно низко, потом гражданская война... когда цена жизни уже стала почти равна нулю... и среди густого дыма, полусумасшедшего опьянения, нежный звон гитары и... песенки Вертинского...

И вот теперь, в совершенно иной обстановке, среди каменных громад Нью-Йорка, я сижу в тихой комнате и смотрю в живые, немного усталые глаза Вертинского.

— Здравствуйте, Александр Николаевич,— говорю ему, как старому другу, прошедшему вместе со мной этапы жизни от окопов на реке Бзуре до бродвейского экспресса. Да, мы старые знакомые ; он это тоже чувствует и в пожатии его руки я ощущаю дружескую теплоту.

«СБРОШЕНА МАСКА И СМЫТЫ РУМЯНА»

— Теперь я уже не тот,— говорит он.— Теперь я не любитель, выходящий на сцену в маске Пьеро и напевающий свои песенки. Маска Пьеро отброшена, и я выхожу на сцену самим собой. Любительское пение забыто, теперь я певец с правильно поставленным голосом...

— Я вошел на сцену через другие двери,— говорит «новый» Вертинский.— Я не могу причислить себя к артистической среде, а скорей к литературной богеме. К своему творчеству я подхожу не с точки зрения артиста, а с точки зрения поэта. Меня привлекает не только одно исполнение, а подыскание соответствующих слов и одевание их в мои собственные мотивы.

По внешнему виду совсем нельзя сказать, чтобы Вертинский очень «устал от белил и румян и от вечной трагической маски». Он выглядит очень моложаво и по отзывам друзей, не видевших его давно, за последние десять лет почти не изменился. В жизни он обаятелен, прост, прекрасный собеседник, остроумный и несколько экспансивный. К своим песенкам Вертинский относится как к женщинам — он любит их, ухаживает за ними и думает о них только до тех пор, пока они находятся в периоде творчества — как женщина в периоде «ухаживания». Потом, когда они закончены, пропеты, они становятся уже прошлым, и на их место приходят новые, новые волнующие слова, новые мотивы, новые переживания, новая «влюбленность» в песенку.

— Каждая песенка связана с какими-нибудь переживаниями,— говорит Вертинский.— Но не обязательно, чтобы они немедленно выливались в песню. Обычно они укладыва-

ются в каких-то далеких уголках сердца. И лежат там непотревоженными до тех пор, пока огонь творчества не призовет их оттуда.

Вертинский в Нью-Йорке впервые. Он давно собирался посетить Америку, но «боялся». Нью-Йорк произвел на него ошеломляющее впечатление.

— Пароход подходил к Нью-Йорку вечером,— рассказывает Вертинский,— и вдруг передо мной раскрылась поразительная панорама подымающихся к небу букетов и венков огней. Мне показалось, что я подъезжаю к городу, в котором происходит вечный праздник, в котором люди живут в какой-то другой, вечно счастливой жизни. Вы знаете, в Париже значительно спокойней и тише.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОСПИТЫВАЕТСЯ НА ПЕСЕНКАХ

— Как-то, после одного моего концерта в Праге, ко мне за кулисы пришла группа русских студентов и курсисток. Это были скромные, тихие молодые люди, застенчиво стоявшие у дверей моей уборной. И вот от них я получил один из самых приятных в моей жизни комплиментов. «Без ваших песенок жизнь была бы еще противней»,— сказали они. Фактически на моих песнях воспитывается уже третье поколение. Первое сейчас уже состарилось; второе — это те, кто в начале моей карьеры были юношами, и, наконец, теперешние юноши. В Париже на мой концерт пришли советские футболисты — славные молодые ребята нового советского поколения, которые не имеют в своей душе никакого озлобления и которые не понимают, что творится вокруг них. Они слушали меня внимательно и благодарили так же, как и пражские студенты.

Я слышал о своей популярности в Советской России. Очень часто в берлинские музыкальные магазины приходят возвращающиеся в Советскую Россию и говорят: «Дайте мне полный комплект Вертинского»... Я убедился в том, что мои песни входят в глубину русской жизни. Особенно это замечается теперь, когда мы оторваны от родины. Песня создает какую-то туманную, но красивую иллюзию... Когда жена одного шофера, русского шофера такси в Париже, уходит к другому, то это не простой, шаблонный случай. Для нее он имеет красиво-трагическую окраску, и, уходя, она говорит себе: «Я уйду холодной и далекой, укутав сердце в шелк и шиншиля». И она действительно верит в то, что она кутается «в шелк и шиншиля» и что она уходит не просто так, по-мещански, а «холодной и далекой»... И вот так ей песни заполняют недостаток иллюзий.

НЕТ НИ ПОДРАЖАТЕЛЕЙ, НИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

— Есть ли у меня подражатели и последователи? Первые были, но больше не будет. Вторых никогда не было и не будет. Раньше всякий, кто надевал маску Пьеро и напевал мои песенки, считался моим подражателем. Теперь я скинул эту маску и перестал быть любителем. У меня слишком много своего собственного, чтобы можно было так легко подра-

жать. Последователей у меня не может быть потому, что нужно сразу соединить в себе четыре главных качества: быть поэтом, композитором, певцом и артистом. Пусть даже не в большой мере, но все эти данные необходимы. Для своих песен я ищу особые слова особые мотивы, особо их исполняю и вкладываю в исполнение особую игру. Очень редко я беру чужие слова, потому что они редко подходят к моему стилю. Недавно я взял слова поэта Георгия Иванова «Над розовым морем», которые необыкновенно соответствуют моему стилю. Эту песню я буду петь в Нью-Йорке...

ЛЮБОВНЫХ ПИСЕМ ТЕПЕРЬ НЕ ПИШУТ

— Много мне пишут писем? Нет, теперь не очень много. Раньше я получал по 50 писем в день. И большая часть из них была любовных. Все такие письма всегда начинались стереотипной фразой: «Когда вы откроете это письмо, вы будете очень удивлены... Но только, пожалуйста, не смейтесь». Я безошибочно узнавал эти письма и, не раскрывая, выбрасывал. Теперь письма приходят иного рода. В эмиграционной жизни не до любви. Теперь на первом месте стоят письма с просьбой о деньгах, потом просьба прислать карточку, потом принципиальные споры («Что вы хотели сказать этой песней?») и, наконец, очень немного писем со словами любви. Да, теперь становится странным говорить о любви...

Нью-Йорка я очень боюсь и сильно волнуюсь перед выступлением. Как встретят меня здесь? Лик американской публики очень загадочен. В течение семи лет я собирался приехать сюда, но мне казалось, что для американцев все равно: я или дрессированная собака... Теперь меня пригласили сюда мои друзья, и им я верю. После Нью-Йорка я еду в Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и в Филадельфию...

РОЖДЕСТВО
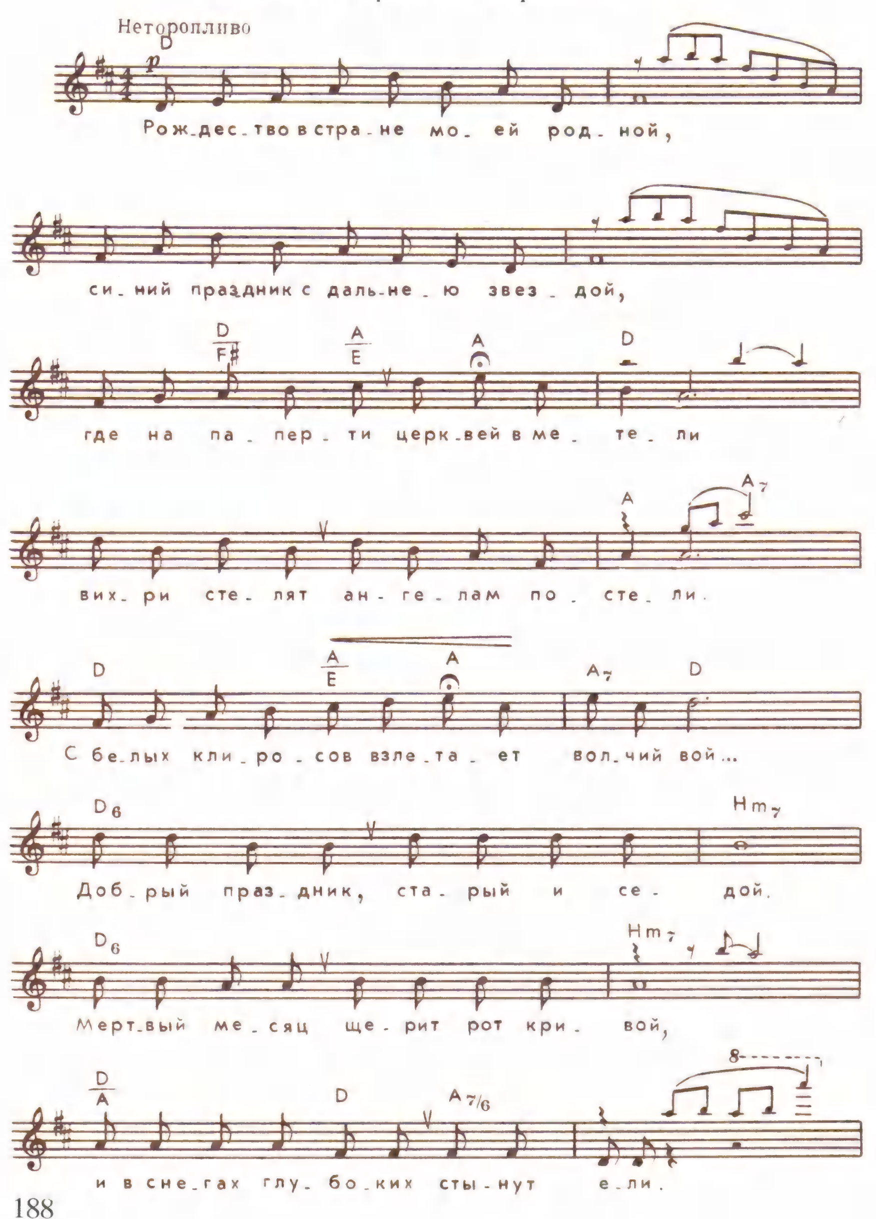
Рождество в стране моей родной,
Синий праздник с дальнею звездой,
Где на паперти церквей в метели
Вихри стелют ангелам постели.

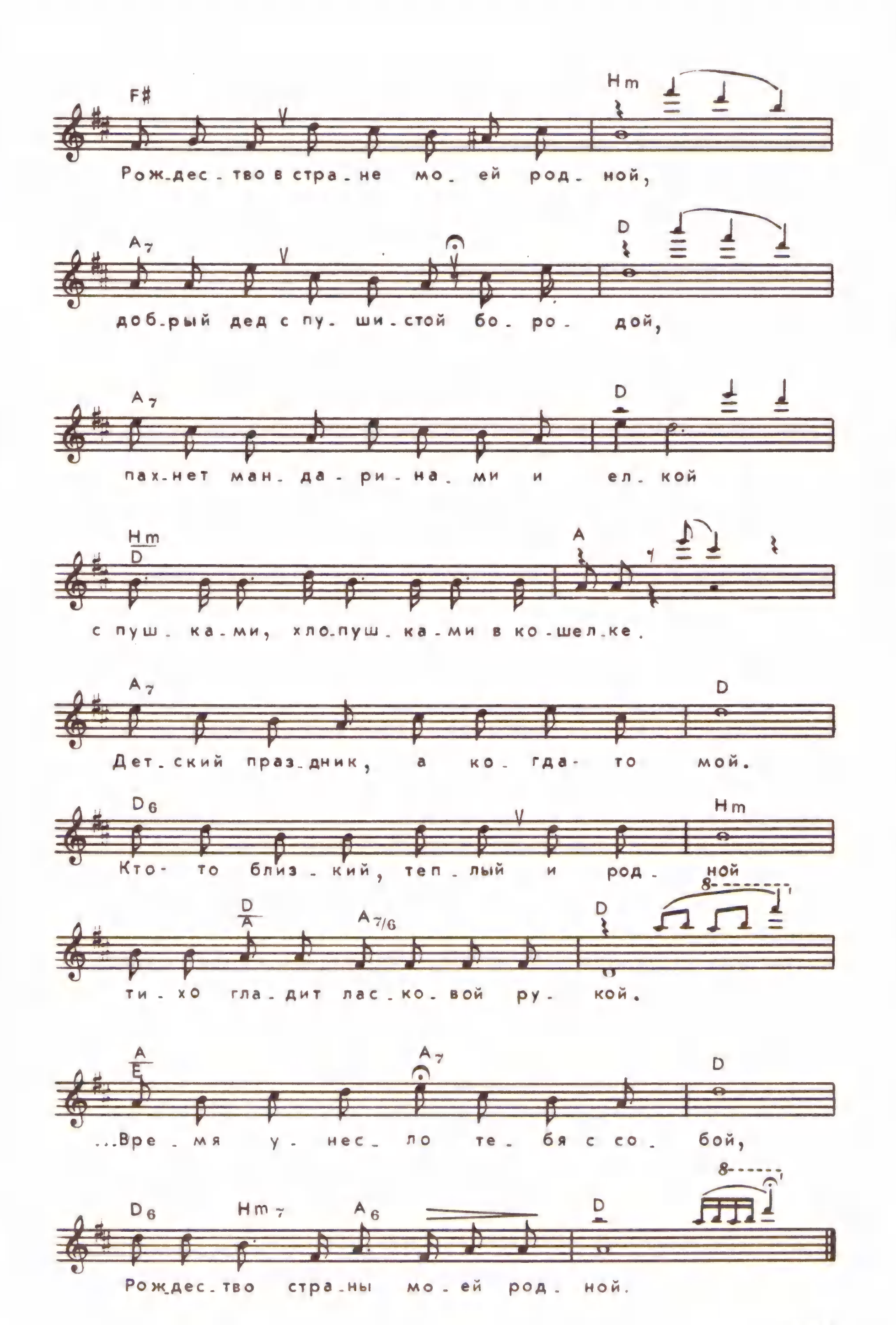
С белых клиросов взлетает волчий вой...
Добрый праздник, старый и седой.
Мертвый месяц щерит рот кривой,
И в снегах глубоких стынут ели.

Рождество в стране моей родной,
Добрый дед с пушистой бородой,
Пахнет мандаринами и елкой
С пушками, хлопушками в кошелке.

Детский праздник, а когда-то мой.
Кто-то близкий, теплый и родной
Тихо гладит ласковой рукой.

...Время унесло тебя с собой,
Рождество страны моей родной.




F#
Hm
Рож_дес_тво в стра_не мо_ ей род_ ной,
A7
D
доб_рый дед с пу_ ши_стой бо_ ро_ дой,
A7
D
пах_нет ман_ да_ ри_ на_ ми и ел_ кой
Hm
D
A
с пуш_ ка_ми, хло_пуш_ ка_ми в ко_шел_ке.
A7
D
Дет_ский праз_дник, а ко_ гда- то мой.
D6
Hm
Кто- то близ_ кий, теп_лый и род_ ной
D/A
A7/6
D
8
ти_ хо гла_ дит лас_ ко_ вой ру_ кой.
A/E
A7
D
...Вре_ мя у_ нес_ ло те_ бя с со_ бой,
8
D6
Hm7
A6
D
Рождес_тво стра_ны мо_ ей род_ ной.

Из интервью и бесед
(Шанхай, 1938 г.)



Дорогая пропажа



Понравился ли Шанхай прославленному русскому певцу и композитору? Успел ли он войти в соприкосновение с русской колонией Шанхая? Долго ли намерен пробыть в Шанхае? И куда предполагает направиться отсюда, после двух своих концертов?

Эти вопросы можно было задать А. Н. Вертинскому только вчера.

Ранее артист был лишен возможности принимать не только представителей прессы, но и вообще кого бы то ни было. Как известно, на следующий день по приезде, А. Н. занемог и некоторое время должен был провести в своем апартаменте «Катей Меншион», в условиях полной изоляции, под неослабным наблюдением врача.

Однако, как только представилась первая возможность, сотрудник нашей газеты посетил знаменитого артиста и был принят им для продолжительного интервью, занявшего час...

Знаменитый творец жанра настроений выглядит вполне здоровым. И по уверениям присутствующего врача, находится в хорошей форме. Следовательно, всякая опасность для предстоящих концертов миновала.

Обстановка самая благоприятная для беседы с артистом, в речи которого значителен каждый штрих, каждый оттенок.

Седьмой час глядит в широкие окна расцвеченной вдали неонами темнотою шанхайского вечера. Монастырская тишина большого европейского отеля. Цветы. И одиночество.

Третьим при беседе присутствует лишь доктор. И это подчеркивает интимность слов Вертинского.

Впрочем, беседа началась не с разговора.

«В этой комнатке проснемся мы с тобой»... в исполнении Вертинского, вот первое, что услышал наш сотрудник, едва успев поздороваться с Вертинским.

Своей песней, но не из уст, а с диска портативной виктролы, приветствовал его Вертинский.

Скромно приютившийся на столике кожаный аппарат дал серебряное вступление рояля, затем мощно и нежно запел, с теми непередаваемыми бархатными оттенками, которых до сих пор никто из сонма подражателей не смог украсть у Вертинского.

Вертинский пел в присутствии Вертинского!

Вертинский слушал Вертинского!

И как слушал... Это надо было видеть! Вернее, это сложное психологическое ощущение надо было осознать.

Артист ушел в себя! Он, вероятно, мысленно пел с аппаратом фразу за фразой, букву за буквой, нюанс за нюансом...

За его спиной неоновым пожаром пламенела глубоко внизу реальная шанхайская улица. А он сам пошел — и двух слушателей за собой властно повел — по сказочной тропинке нереальной русской песни настроения.

По необычайно выразительному, словно чеканному, лицу тени несомненного экстаза артиста неслись мгновения. Чертили взлеты и падения. Экранно отражали бездонную глубину души большого художника.

Видеть Вертинского, безмолвно переживающего плывущие со стороны стоны своего сердца, зрелище — сильное! Близкое к оккультному.

Конечно, такой колдун торжественной магии звуков может быть трибуном рвущихся к нему миллионных масс. Теперь это понятно.

— Это одна из моих последних вещей! — нарушает очарование А. Н., снимая с пластинки мембрану.— Сейчас послушайте вот это. Тоже одна из новых.

Опять щемящие звуки. Снова их отражение на лице Вертинского.

«Как хороши, как свежи были розы»... в звуках ярче и благоуханнее, чем если бы вся комната мгновенно была засыпана свежими розами.

— Акварель! — кратко поясняет артист.— Я чуть касался темы — акварельно, боязливо. Я почти прошел мимо нее! Я поставлю ее в концертную программу.

И снова подходит к виктроле.

— А вот сейчас прослушайте «Сероглазочку». Она уже стара. Ей столько лет, сколько само́й русской эмиграции.

Послушно льется старая знакомая «Сероглазочка», сотканная из нежнейших кружевных вздохов.

— Сла́бо! — качает головой артист.— Это мои первые робкие взлеты. Нет, «Сероглазочку» я не поставлю. Она хороша теперь как память.

Еще несколько песенок, из которых властно берет слушателя за сердце сопровождаемая гитарой «Я так хочу, чтоб ты была со мною»...

— Здесь придется с роялью! — поясняет артист.— Хотя, совершенно неожиданно мне повезло на аккомпаниатора. Это Георгий Ротт, один из лучших, когда-либо игравших со мною. Художник аккомпанемента!

Каждые три минуты, самое большее, звонит звонок.

И каждый раз один и тот же разговор артиста с кем-то, каждый раз новым, из провала черной шанхайской ночи...

— Вертинский у телефона... Что?.. Очень приятно!.. Спасибо, спасибо... Напрасно беспокоитесь... Это очень для меня лестно... Вблизи вы получите возможность увидеть меня на эстраде... Конечно, это буду я сам... Я не вожу с собою двойника... Не можете дождаться концерта? Но это же так скоро!

Артист добродушно улыбается.

— Повеситься можно! — комически сообщает он, отходя от телефона.— Эта музыка начинается с утра и тянется до поздней ночи. Выключить телефон, конечно, я не могу. И вот страдаю.

И снова подходит к телефону, чтобы и на этот раз повести очередной разговор...

Однако А. Н. нисколько не раздражается телефонной атакой на его одиночество.

— Русская речь мне мила за границей при всех обстоятельствах! Русаки же мои милые мне звонят, не иностранцы. И, в конечном итоге, я, разумеется, только рад, что мои со-

отечественники так тепло встречают меня в далеком и чужом Шанхае.

Легко и непринужденно вступает А. Н. в беседу, показывая себя блестящим собеседником.

— Понравился ли мне Шанхай? Я его почти не видел, но то, что видел, меня очаровало. Это — действительно экзотический город, несмотря на подчеркнуто европеизированный вид. Чувствуется дыхание мирового центра. Но, к моей радости, оно не заглушило движений русской жизни. Она здесь властно чувствуется на самой поверхности. В Европе и Америке этого не замечается. Там внешняя русскость растворяется в основном потоке каждой страны. В Берлине, Париже, Сан-Франциско и пр. вы русского не отличите на улице от аборигена. А здесь, наоборот, иностранцы тонут в русской массе авеню Жоффр, которую я видел краешком глаза.

Вы спрашиваете, что на меня произвело большее впечатление? Китайские женщины! Я был ими ошеломлен. Не был подготовлен, вернее, просто не думал на эту тему, когда сюда ехал. Китаянки, особенно полуевропеизированные, какие-то маленькие идолы, для которых можно строить разукрашенные, маленькие же, храмы и жечь курения! Это — совершенная экзотика. Конечно, эти странные женщинки с другой планеты!

К сожалению, пять дней у меня совершенно пропали и я был лишен возможности познакомиться с милой моему сердцу русской колонией, о которой так много слышал еще в Париже, затем в Америке. Я ехал сюда, словно возвращался на Родину. Хотя в Китае вообще впервые. И вдруг — на несколько дней заболел. Вы понимаете мое огорчение? Впрочем, концерт уже близок. И я скоро встречусь со своими соотечественниками. Ведь я пою, а значит, и живу только для них! Только для русских. На других языках я не пою. Петь на другом языке, значит, вовлекать иностранцев в невыгодную сделку. Весь смысл моего пения исчезнет и люди уйдут разочарованными.

Тяжело без Родины. Ой, как тяжело! Всем художникам тяжело. Посмотрите на наших старых русских писателей. Бунин. Куприн. Они же не могут писать ни о чем, кроме России. А России нет. Как писать? Так и мы — артисты. Мы оторваны от истоков родной жизни, от ее животворящей почвы. Сколько артистов погибло в этой оторванности! Сколько растворилось в чужой атмосфере! Мне было так же тяжело, как и каждому. Но я избег страшной участи. Я спасся от растворения в иностранщине только тем, что подвижнически замкнулся в святости русского слова и русской песни. Я закрыл во внешний мир окна и двери. Я замуровал себя в кельи моей песни. Я отбросил все легкие соблазны. Жизнь моя стала сплошным служением русскому искусству и ничему больше. И страшная чаша меня миновала...

Вертинский внезапно возвращается к основной для него теме — технике творческого мастерства, и сразу вспыхивает внутренним огнем.

— Мое творчество является до сих пор загадочным для меня самого процессом. Это необъяснимо! Оно приходит ко мне непрошеным и властно повелевает моей душе. Вот почему я не люблю на концертах биссировать. Повторять пропетую вещь, это то же самое, что раскрывать перед слушателями тайны колдовства. И если мне все-таки приходится петь на бис, я каждый раз пою по-новому. Кроме того, разве биссированье не напоминает вам... вторичное объяснение в любви любимой женщине. Это то же самое. Вы объяснились ей один раз. И она откликнулась вам всем своим сердцем. Это — чудно хороший миг! Но вы недовольны результатом и желаете объясниться вторично... Как будет ваша женщина слушать во второй раз те же пламенные слова? Ясно, что уже с оттенком легкого анализа, с закрадывающимся сомнением в искренности...

ДОРОГАЯ ПРОПАЖА

Стихи М. Волина и А. Вертинского
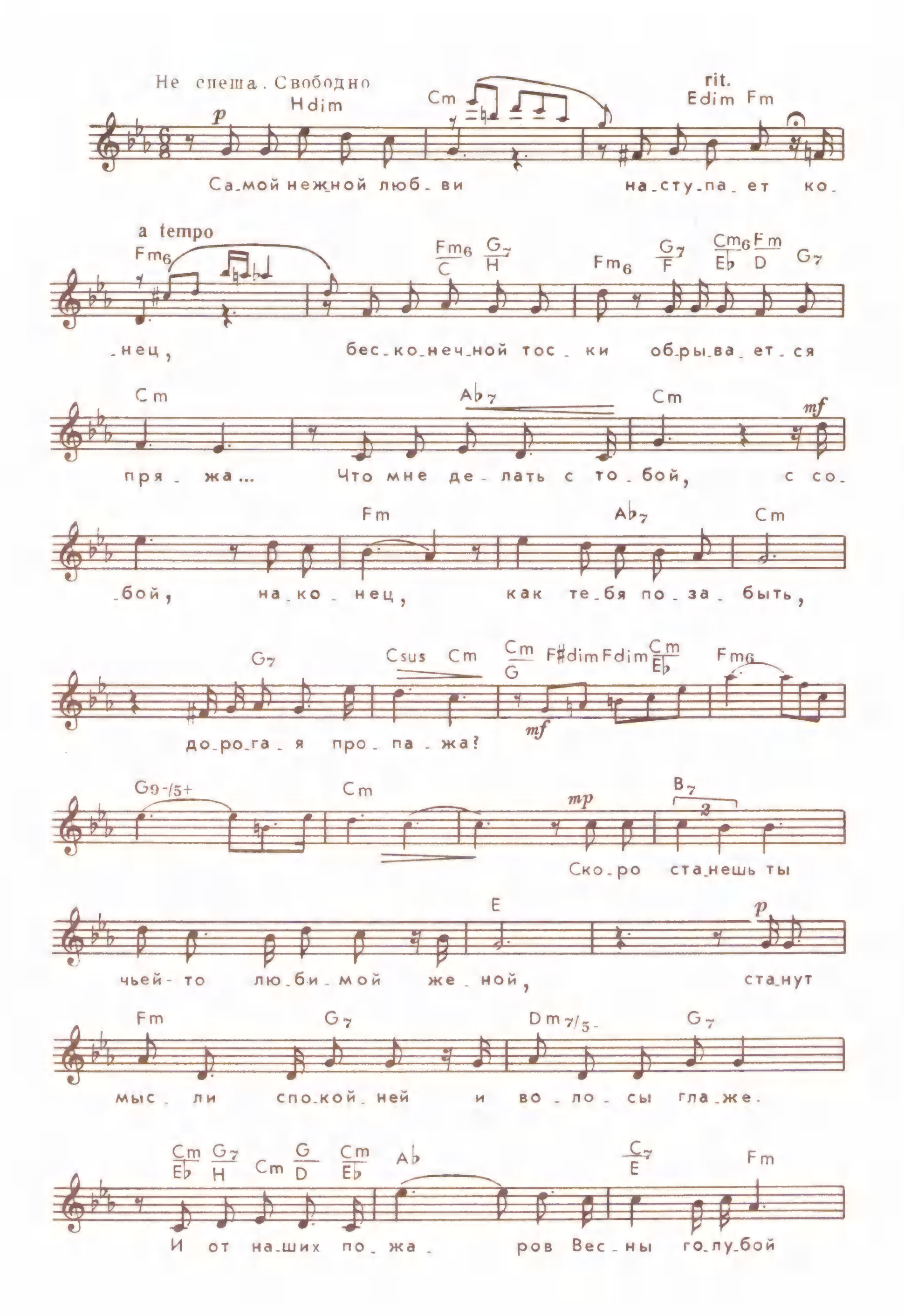
Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа...
Что мне делать с тобой, с собой, наконец,
Как тебя позабыть, дорогая пропажа?
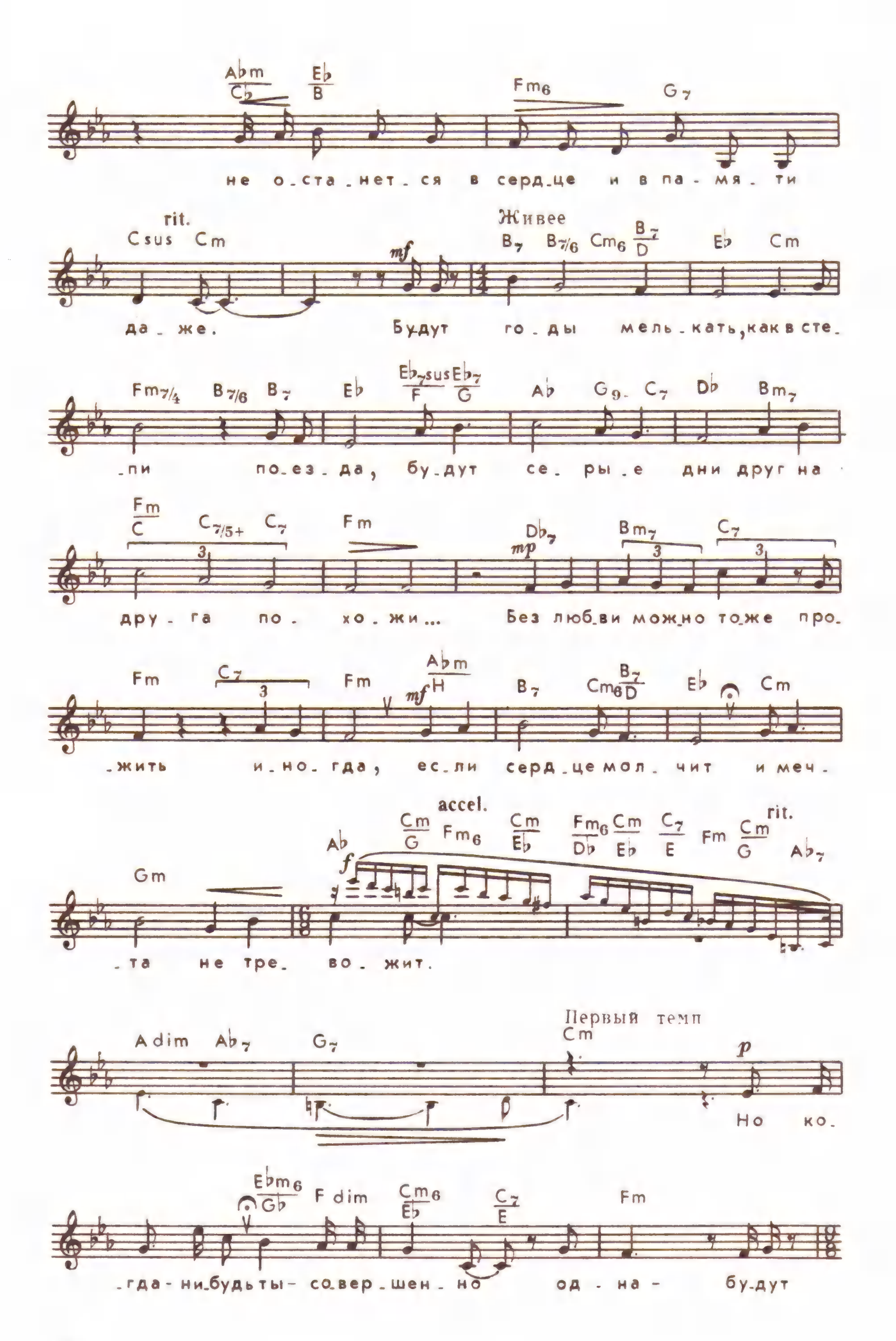
Скоро станешь ты чьей-то любимой женой,
Станут мысли спокойней и волосы глаже.
И от наших пожаров Весны голубой
Не останется в сердце и памяти даже.

Будут годы мелькать, как в степи поезда,
Будут серые дни друг на друга похожи...
Без любви можно тоже прожить иногда,
Если сердце молчит и мечта не тревожит.
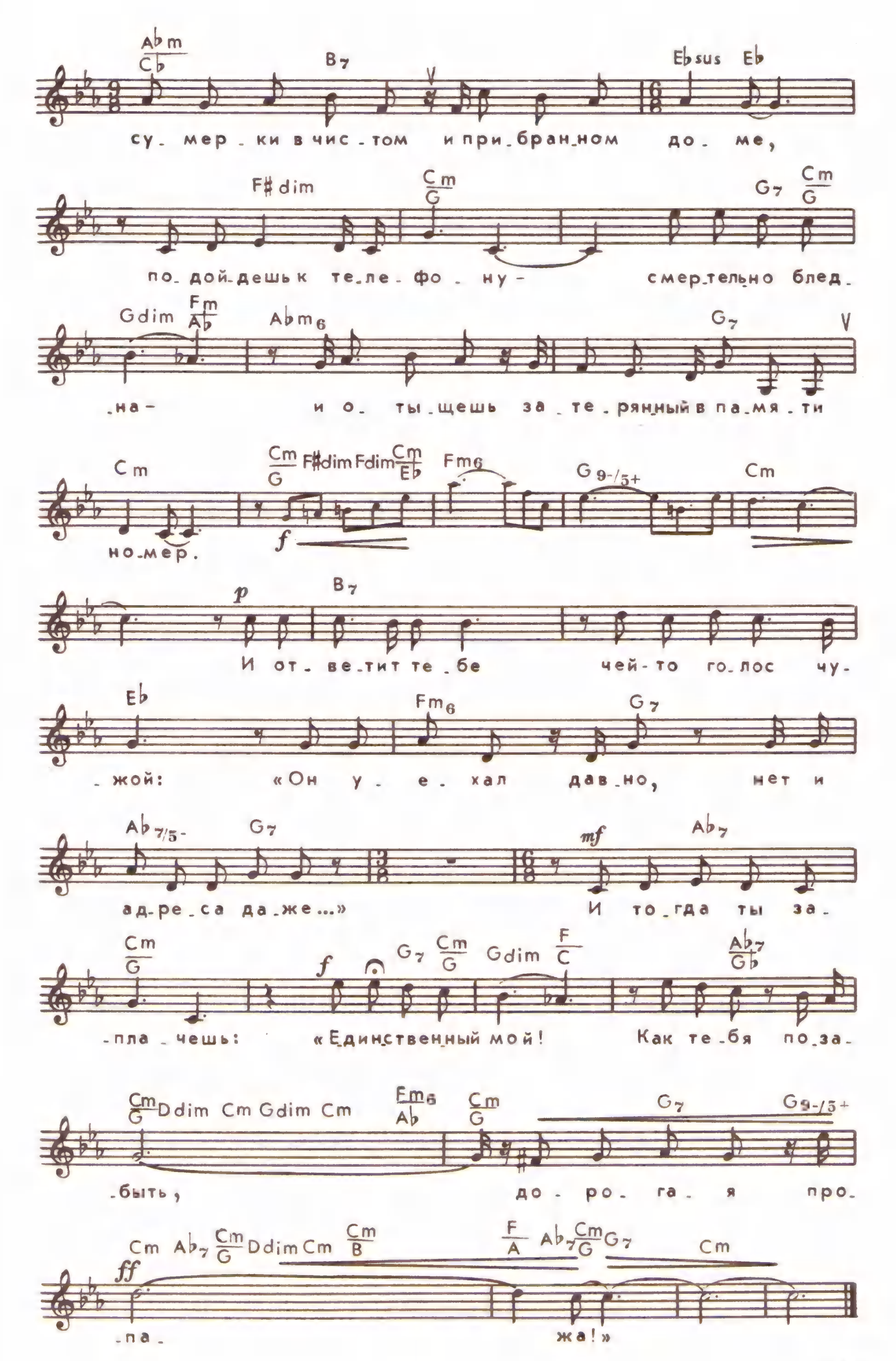
Но когда-нибудь ты — совершенно одна —
Будут сумерки в чистом и прибранном доме,
Подойдешь к телефону — смертельно бледна —
И отыщешь затерянный в памяти номер.

И ответит тебе чей-то голос чужой:
«Он уехал давно, нет и адреса даже...»
И тогда ты заплачешь: «Единственный мой!
Как тебя позабыть, дорогая пропажа!»

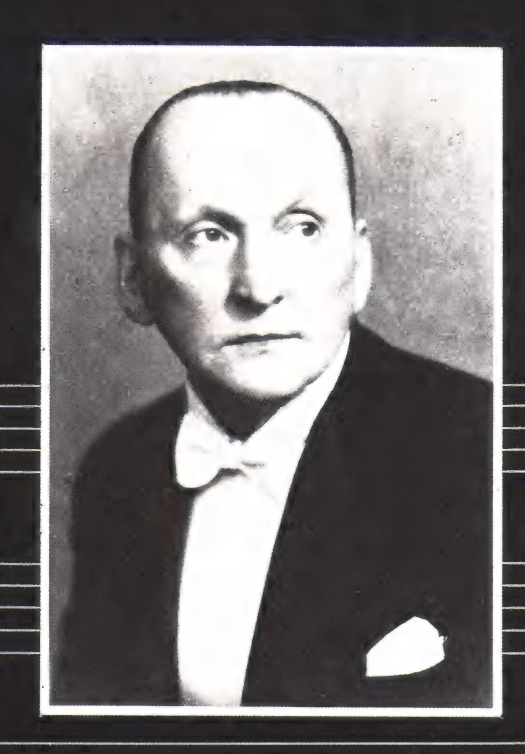

Не спеша. Свободно
rit.
Hdim Cm Edim Fm
Са-мой неж-ной люб-ви на-сту-па-ет ко-
a tempo
Fm6 Fm6/C G7/H Fm6 G7/F Cm6/Eb Fm/D G7
-нец, бес-ко-неч-ной тос-ки об-ры-ва-ет-ся
Cm Ab7 Cm
пря-жа... Что мне де-лать с то-бой, с со-
Fm Ab7 Cm
-бой, на-ко-нец, как те-бя по-за-быть,
G7 Csus Cm Cm/G F#dim Fdim Cm/Eb Fm6
до-ро-га-я про-па-жа?
G9-/5+ Cm B7
Ско-ро ста-нешь ты
E
чьей-то лю-би-мой же-ной, ста-нут
Fm G7 Dm7/5- G7
мыс-ли спо-кой-ней и во-ло-сы гла-же.
Cm/Eb G7/H Cm G/D Cm/Eb Ab C7/E Fm
И от на-ших по-жа-ров Вес-ны го-лу-бой



Abm/Cb Eb/B Fm6 G7
не о_ста_нет_ся в серд_це и в па-мя-ти
rit.
Csus Cm
Живее
B7 B7/6 Cm6 B7/D Eb Cm
mf
да_же. Будут го_ды мель_кать, как в сте_
Fm7/4 B7/6 B7 Eb Eb7sus/F Eb7/G Ab G9 C7 Db Bm7
_пи по_ез_да, бу_дут се_ры_е дни друг на
Fm/C C7/5+ C7 Fm Db7 Bm7 C7
mp
дру-га по- хо-жи... Без люб_ви мож_но то_же про_
Fm C7 Fm Abm/H B7 Cm6 B7/D Eb Cm
mf
_жить и_но_гда, ес_ли серд_це мол_чит и меч_
accel.
Gm Ab Cm/G Fm6 Cm/Eb Fm6/Db Cm/Eb C7/E Fm Cm/G Ab7
rit.
f
та не тре во_жит.
Adim Ab7 G7
Первый темп
Cm
p
Но ко_
Ebm6/Gb F dim Cm6/Eb C7/E Fm
_гда-ни_будь ты- со_вер_шен_но од-на- бу_дут


су_ мер _ ки в чис _ том и при_бран_ном до _ ме,
по_дой_дешь к те_ле _ фо _ ну _ смер_тель_но блед_
_на _ и о_ ты_щешь за _ те _ рян_ный в па_мя _ ти
но_мер.
И от _ ве_тит те _ бе чей-то го_лос чу-
_жой: «Он у _ е _ хал дав_но, нет и
ад_ре_са да_же...» И то_гда ты за_
_пла _ чешь: «Е_дин_ствен_ный мой! Как те_бя по_за_
_быть, до _ ро_ га _ я про_
_па _ жа!»

Об Александре Вертинском
(Вс.Ник.Иванов)



Классические розы



Вс. Ник. ИВАНОВ

Рояль на сцене Лайсеума и талантливо аккомпанирует Георгий Ротт. А у рояля — высокая, сильная фигура во фраке, с белым пластроном, с белым цветком в петлице.

ВЕРТИНСКИЙ!

Вертинский — это в сущности символ. Это имя так часто видишь в газетах, его мелодии, слова, манеру передачи так часто встречаешь повсюду, слышишь из всех черных жерл радио, что когда его видишь в живых перед собой, то не веришь:

— Неужели — вот это-то и есть Вертинский?

Вертинский — это эпоха. Вертинский — это целое поколение, недаром на афише его концерта в углу скромно стояли загадочные три цифры «XXX».

Вертинский впервые запел в то душное предгрозье перед Великой войной, когда мир еще не знал, что соскальзывает в бездны истории.

Вертинский тогда в своем печальном образе Пьеро явился контрастом, приговором, предостережением тому жадному, жирному, глотающему семгу благополучному реакционному обществу и прошелся перед всей Россией под ручку с девочкой с бульвара, «в мокрой горжеточке». В сущности, это было тоже «эпатирование буржуа», вроде футуризма, но совершенно по-другому, нежели то делали Маяковский и другие.

Искусство Вертинского — это настоящее, русское искусство, необычайно доброе, немного, я сказал бы, «юродивое». От любовного Вертинского рукой подать к монастырю, к тихому свету лампад, к куполам церквей, что золотыми свечами горят в синем небе. Недаром его «Игуменья» пронизана этой подлинной мистикой Терезы из Неттесгайма. Вертинский необычайно добр по душе: он тогда стал на сторону этой «девушки в горжеточке», как когда-то Достоевский развернул как знамя невыразимо жалкий «драдедамовый платочек» Сони Мармеладовой. С другой стороны он любит жизнь и плоть, и «вкус ея и цвет, и душный, смертный плоти запах»...

Вероятно, Вертинский хотел бы, чтобы на пиру жизни сидели именно потрясенные ею Сонечки, чтобы в этом звучном, жирном, крепком мире была какая-то нежность, чуть надорванная. Нужно ведь хотя бы немного расстроиться, чтобы быть чутким... А потом пришла война... И тот «прапорщик Володя», который садился в вагон —

У меня блестят погоны,
У тебя дрожит рука...
Эти пыльные вагоны
Ждут последнего звонка...

— этот прапорщик слышал песенки Вертинского в мокрых окопах на Равве Русской, и под Барановичами, и под Ригой, и когда

широкие просторы Польши озаряли зеленым огнем ракеты и сияли на пятнах снега — в блиндажах граммофоны пели слова Вертинского о том, что жизнь-то, в сущности, прекрасна, что женщины — изумительны, нежны, что на свете и в то время бессмысленной и грубой войны — были и любовь и счастье.

Вертинский связан с толпой, а толпа всегда верит, даже в самой жестокой борьбе за существование, что жизнь прекрасна, ведь иначе и бороться за существование было бы нечего. Прошла революция, и Вертинский шагнул в эмиграцию, говоря все про то же, про чудные плечи принцессы Ирен, про то, что даже бедная прогулка в Булонском лесу с женой — чудесная вещь, что, в сущности, надо ждать, что все обернется в хорошую сторону.

Вертинский, пожалуй, единственный из эмигрантов, нежный голос которого звучит в Советской России. В Москве, говорят, можно жить месяц в комнате за одну пластинку Вертинского... Московская «Литературная газета» полемизирует с его «упадочническими настроениями», в советских книгах-романах мелькает его имя как нарицательное.

А Вертинский в Шанхае... Роковое «XXX»! Но сдался ли Вертинский?

Нет, о нет!.. Его песенки растут, приобретают другой, нигде невиданный, неслыханный характер — каких-то морально-философских и житейски-умных трактатов. Тут и ласковое обличение женщин, и похвала мужской дружбе, и чего угодно... И все это в неслыханной форме стиха, куплета, отточенного, драматизированного чудесной декламацией, оправленного в мелодию, оперённого аккомпанементом Георгия Ротта.

«XXX»!... Стоит ли Вертинский на месте? Нет, он шагает в ногу с настроениями эмиграции, со всем русским народом... Он понимает, что «тот ураган прошел», и он, трубадур, веселый и печальный, насмешливый и наблюдательный, звенит на своей лютне новые напевы. В отчетном концерте появились совершенно новые мотивы — А. Блок, В. Маяковский.

«Вот тебе и «песенки Пьеро»,— подумалось мне, когда со сцены Лайсеума грохотали, как падающие скалы, строфы Маяковского. Это «Сумасшедший маэстро» обрушил из оркестра трагический плач медных тромбонов, визг перепуганных скрипок, и так, что деловой человек, аппетитно глотавший семгу,— вдруг побежал из зала в ужасе... Что делать, «девочкам в горжеточках» его, очевидно, пробрать не удалось! Надо средства посильнее. И теперь у Вертинского плачет не девочка в горжеточке, а плачет оглушительно грозными слезами-словами сам медно-горлый оркестр. И неожиданно мощно, оглушительно почти, звучит и сам голос Вертинского...

Вертинский — это то, что думает масса, думает толпа. Толпа вечна, и с ней вечен и Вертинский. Толпа умна, а с ней умен и Вертинский. Надо положительно удивляться, как в нашем городе,

среди этого всеобщего «безрыбья», «бесптичья» и «безлюдья» Вертинский в одиночку, в самом себе, вынашивает и решает вопросы, которые предъявляют ход нашей истории.

Прямо удивительно, что о Вертинском не написано книги; эта мощная фигура стоит книги. А то люди, которые случайно бок о бок сидят с ним в «Ренессансе», актеры, которые не умеют отличить театра от балагана, пошлые и злые пародисты, актрисы, тревожно ожидающие, когда будет окончательно расшифровано, что они уже никому не нужны,— все они действительно думают, что они запанибрата с «Александром Николаевичем».

А тут не то. Нет! Тут «талант, талант с головы до ног», талант могучий, великий талант великого артиста, который говорит с народом через головы всех исчезающих претенциозных временных авторитетов.
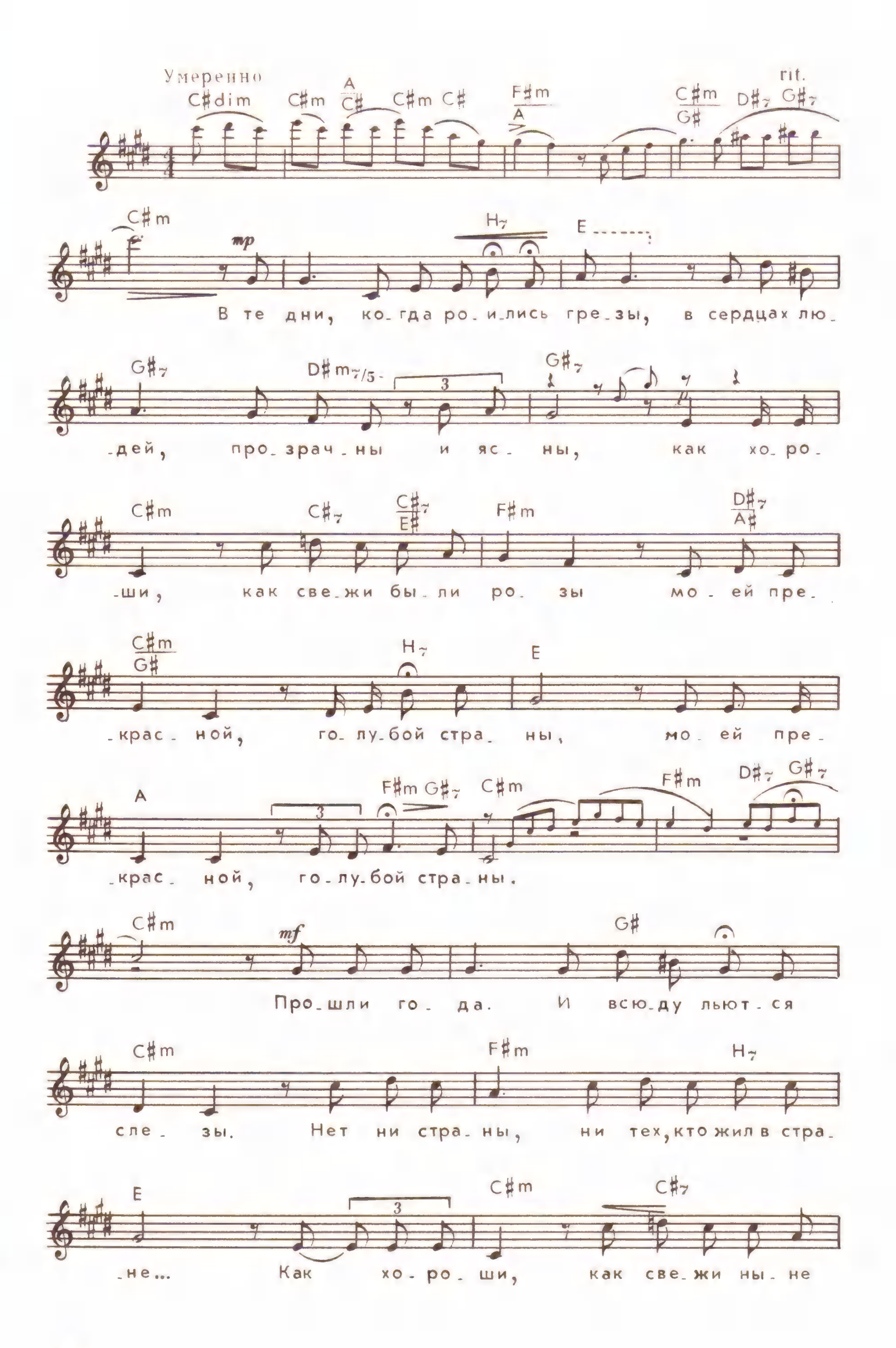
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ
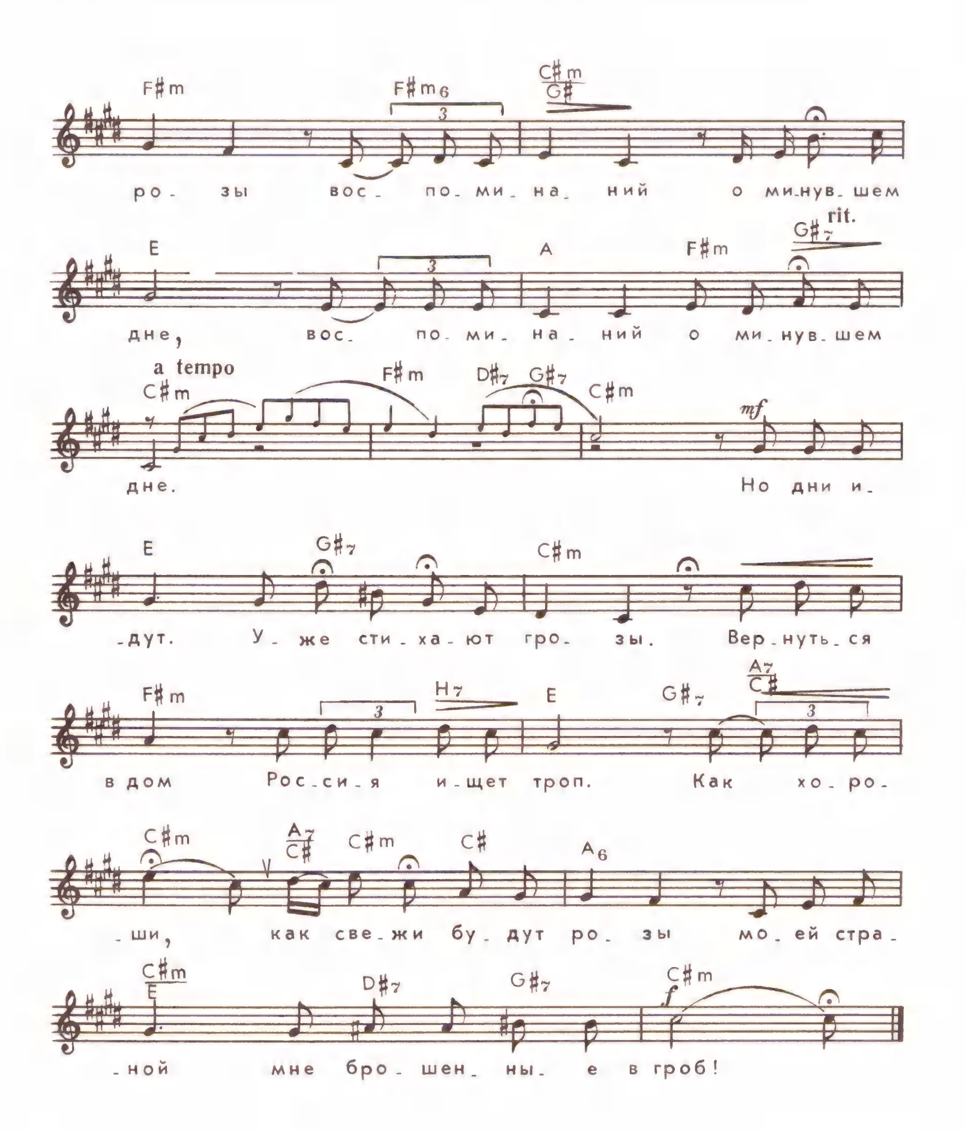
Стихи И. Северянина

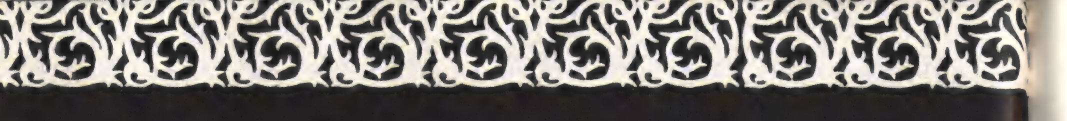
В те дни, когда роились грезы,
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей прекрасной, голубой страны.

Прошли года. И всюду льются слезы.
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне.

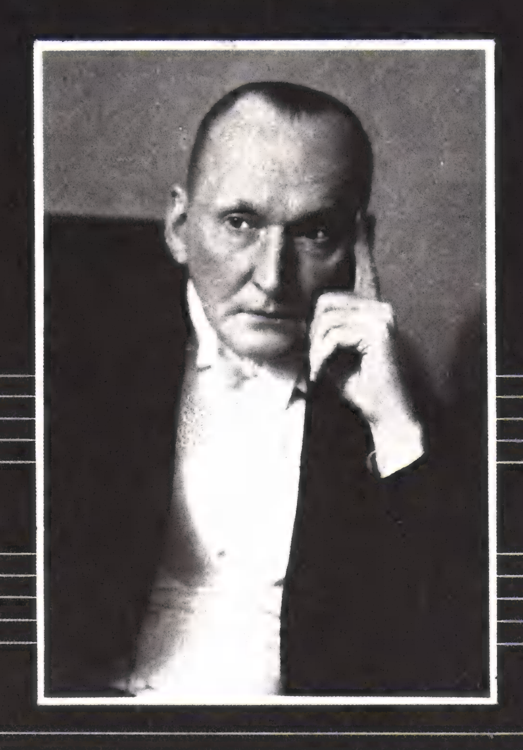
Но дни идут. Уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп.
Как хороши, как свежи будут розы
Моей страной мне брошенные в гроб!


Умеренно
rit.
C#dim
C#m
A/C#
C#m C#
F#m/A
C#m/G#
D#7 G#7
C#m
mp
H7
E
В те дни, когда родились грезы, в сердцах людей, прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей прекрасной, голубой страны, моей прекрасной, голубой страны.
G#7
D#m7/5-
C#7
C#7/E#
F#m
D#7/A#
A
F#m G#7
mf
G#
Прошли года. И всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне


F♯m F♯m6 C♯m/G♯
ро- зы вос- по- ми- на- ний о ми-нув- шем
rit.
E A F♯m G♯7
дне, вос- по- ми- на- ний о ми- нув- шем
a tempo
C♯m F♯m D♯7 G♯7 C♯m
mf
дне. Но дни и-
E G♯7 C♯m
-дут. У- же сти- ха- ют гро- зы. Вер- нуть- ся
F♯m H7 E G♯7 A7/C♯
в дом Рос- си- я и- щет троп. Как хо- ро-
C♯m A7/C♯ C♯m C♯ A6
-ши, как све- жи бу- дут ро- зы мо- ей стра-
C♯m/E D♯7 G♯7 C♯m
f
-ной мне бро- шен- ны- е в гроб!



Об Александре Вертинском
(Наталья Ильина)



Бразильский крейсер

Наталья ИЛЬИНА

В 1935 году Вертинский из Америки приехал на Дальний Восток, обосновался в Шанхае и посетил Харбин...

Какой он большой, широкоплечий, а в походке, в манере кланяться что-то развинченное, капризное, чуть ли не женственное, но это идет ему, это в стиле его песенок, он — прекрасен. И зал считал, что — прекрасен! Эта элегантная фигура, прибывшая к нам из парижских ресторанов и притонов Сан-Франциско, не вписывалась в провинциальность Харбина, она чудом появилась на его подмостках, Харбин это чувствовал, был признателен, исходил аплодисментами...

...Стихами началось наше знакомство, стихами и продолжалось. Вертинский знал их великое множество, недурная память была и у меня. Вскоре возникла игра в «откуда это?»... «О, этот Юг! О, эта Ницца!» — с отвращением произносил Вертинский мучительно влажным шанхайским летом, когда и вечер не приносил облегчения. Вытирал взмокший лоб — и тут же, хитро прищурившись: «А кстати! Откуда это?.. Молчите? А просто Тютчев! Тютчева надо знать, драгоценнейшая мисс...» Вскоре мне удалось отомстить. Я цитировала две-три строчки и — торжествующе: «Не знаете? А просто Блок!»

...Вертинский — ночной человек. Встретить его в первую половину дня удавалось не часто, а если удавалось, то лишь в пустом и темном зале «Ренессанса»...

Утренний Вертинский угрюм, хмур, на лице выражение брезгливости...

Ночной Вертинский весел, бодр, шутлив. Прекрасный рассказчик, импровизатор, мистификатор... «Видел сегодня на улице рикшу. На спине надпись: «Рикша-экспресс».— «Александр Николаевич, вы выдумали!» — «Что вы! Клянусь вам!» Или утверждал с серьезнейшим лицом, что одна портниха, у которой шьет его знакомая, сочинила стихи: «Сегодня мотор переехал собачку, ах, ужасти, больно глядеть! Стояла, бедняга, просила подачку, а он переехал, и тут же ей смерть! Так знай же, о, знай же, шофер ты жестокий, а может, в собачки есть дети и муж, и маму к обеду они дожидают, а ихняя мама погибла к тому ж!» Я смеялась: «Это вы сами сочинили!» — «Клянусь — портниха! Живет на Рут Валлон. Я вас с ней познакомлю!» Однажды заявил, что не мог под утро заснуть и явственно слышал разговор кошек на крыше: «Маррруся!» — говорил кот. «Я не Маррруся, а Варвара!» — отвечала кошка... Рассказ был длинный, очень смешной, но запомнилось мне лишь начало...

Нас смешили шутки друг друга, это всегда почва для сближения. Вертинский часто влюблялся, но я никаких романтических чувств не вызывала в нем, наши отношения с самого начала сложились и продолжались как отношения друзей, я бы даже сказала — подруг. Рассказывали друг другу о своих романах, советр-

вались, сплетничали, издевались над богатыми посетителями «Ренессанса» — не любили богатых.

Всегда элегантный (умел носить вещи, к тому же рост, фигура, манеры), аккуратный, подтянутый (ботинки начищены, платки и воротнички белоснежны), внешне на представителя богемы не похож совершенно. А по характеру — богема, актер ...цены деньгам не знал, были — разбрасывал, раздавал, прогуливал, не было — мрачнел, сидел без них... Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал (хотя и впадал иногда в мнительность!) и всегда был готов поделиться с теми, кто беднее его...

Капризный и раздражительный, утром он двигался во враждебном мире (хмур, нелюдим), к вечеру же оживлялся, веселел, ощущал симпатию к ближним — свойство, присущее нервным людям, в особенности тем, кто ведет ночную жизнь... Никаких нарушений психики, однако, не замечалось в нем. Тем, кто видел его только на эстраде, кто знал его лишь как исполнителя песенок о «бананово-лимонном Сингапуре», о «лиловых неграх» и «испано-суизах», — этим людям трудно представить себе, каким шутником, острословом, юмористом, любителем розыгрышей бывал Вертинский. И с какой быстротой сам реагировал на шутку, хохотал до слез, весь отдаваясь смеху.

А до смеху ли ему было тогда?

Он вернулся на родину в 1943 году. Я — пятью годами позже... Помню, как изумили меня рассказы о Вертинском, услышанные от моих новых знакомых. В рассказах фигурировал «вагон с медикаментами», который Вертинский подарил фронту, и уж не помню, что еще, но смысл сводился к тому, что Вертинский приехал в СССР богатым человеком. Я же, слушая эти легенды, видела перед собой одну и ту же картину. Ночь. Авеню Жоффр. Фигура Вертинского в коляске педикаба (рикша на велосипеде). Рикша жмет на педали, коляска открыта, сырой ветер, седок ежится, вобрав голову в плечи, кутается в пальто — путь предстоит далекий: «Роз-Мари» на Ханьчжоу-Роуд. Я знала, что он там поет, даже слушала его там однажды, но каким образом он туда добирается, об этом не думала, и вот увидела воочию (а он не видел меня!) и замерла на тротуаре, провожая глазами эту согбенную фигуру...Было это незадолго до его отъезда в Россию...

Какой там вагон! Коляску родившейся в Шанхае дочке не на что было купить (кто-то подарил подержанную), американское сухое молоко «для малюток» тоже было не по карману, доставали друзья. Если вагон с медикаментами и в самом деле был подарен фронту, то это Вертинский мог себе позволить лишь на деньги, заработанные здесь, в России. Именно и только здесь один за другим шли концерты, дававшие полные сборы. Ничего подобного в Шанхае не было. И быть не могло.

Приехав в СССР с репатриацией, я стала жить в Казани, работала там стенографисткой. В апреле 1948 года взяла десятидневный отпуск и в Москве остановилась у дяди, родного брата

матери, Ивана Дмитриевича Воейкова. От него я узнала о существовании Литературного института имени Горького, и с того момента все помыслы мои были направлены к одному — стать студенткой этого института. Я там побывала, узнала, что нужно для поступления, затем прислала из Казани требуемые документы и сборник, изданный в Шанхае, куда вошли мои лучшие фельетоны, опубликованные в «Новой жизни». В последних числах июля я вновь появилась в Москве.

...Перед дверью в канцелярию я суеверно перекрестилась («Господи, помоги!»), готовила себя к худшему, худшего не произошло, пока пути не отрезаны, лишь в августе станет известно, допустили меня к экзаменам или нет, но мне сказали: «Хорошо бы вам заручиться поддержкой писателя, писателя с именем! Чтобы он поддержал ваше заявление о приеме, рекомендовал бы вас!»

Дальнейший ход был таков. Столкнутые друг с другом мужчина и я одновременно извинились, отпрянули, после чего тоже одновременно воскликнули: «Боже мой!» Он к этому добавил: «И вы здесь! Когда приехали?» В руке его пакетик — что-то съестное в пергаментной бумаге. «Можете себе представить,— сказал он,— тут нет вестфальской ветчины! Мало того! О ней тут даже не слыхивали!»

Все тот же. Барственная осанка, грассирует, и вестфальской ветчины ему не хватает, гурману!

«А вы? Где вы? Как вы?» Не просто вежливость. Истинное желание узнать, вникнуть, помочь, если потребуется...

Богат и славен — об этом я знала еще в Шанхае. А в Казани мне говорили, что некоторые репатрианты, попав в Москву, первым делом кидаются разыскивать Вертинского, надоедают ему просьбами. Именно поэтому видеть его я не собиралась — слишком неравны наши положения. И вдруг эта неожиданная встреча на улице, и я вижу, он рад мне, и я польщена, и мне приятно...

На следующий день Вертинский давал концерт в зале ВТО. Я сижу рядом с женой Вертинского, и она называет мне имена лиц, заполняющих зал... Это громкие имена знаменитых актеров, певцов, поэтов, и если какое-нибудь имя я слышу впервые, то все равно знаю, тот, кому оно принадлежит, тоже знаменит, ибо чуть не у каждого мужчины и у многих женщин значки лауреатов. Одна лишь я, по-видимому, не знаменита в этом зале, чем и выделяюсь среди присутствующих.

После концерта мы ужинали в ресторане ВТО вместе со знаменитым Утесовым, его женой и дочерью. К нашему столику беспрестанно подходили еще разные знаменитости как мужского, так и женского пола, было много хорошо одетых дам, пахло духами, и мне казалось, что я попала на Олимп, нахожусь среди небожителей.

Вот когда я догадалась, что проникнуть к «писателю с именем» мне поможет именно Вертинский. Он и помог. Очень охот-

но. Тут же, не успела я договорить, написал письмо своим хорошо мне знакомым крупным и острым почерком... С этим письмом я явилась к писателю, мне было велено оставить свою книжку фельетонов и вновь прийти через неделю. Книжка была прочитана, одобрена, писатель счел возможным рекомендовать меня в Литературный институт. Я была допущена к экзаменам.

Переехав в Москву, я стала бывать у Вертинского. Бывала вместе с другими гостями, бывала и одна.

Вечером телефонный звонок. Вертинский требует, чтобы я явилась к нему немедленно, безотлагательно. Когда такое приказание было дано в первый раз, я мчалась на улицу Горького, себя не помня, думала, что-то случилось, зачем-то нужна моя помощь... Позже требование срочно явиться меня уже не пугало. Знала: ничего не случилось. Просто у него пустой вечер. Ему скучно.

Кончились годы скитаний, шаткости, неустроенности, бездомности. Этот бродяга «с душою цыганской» на склоне лет обрел семейный очаг, прочность, признание, материальное благополучие. А вот — тосковал. И только ли пустыми вечерами? И как вообще жилось ему душевно? Не знаю. Я видела его все реже.

Занята я в те годы была выше головы: училась, на жизнь зарабатывала (в журнале «Крокодил»), да еще роман «Возвращение» затеяла писать. Выше головы занят был и Вертинский, к тому же часто уезжал. Жизнь разводила нас в разные стороны.

Однажды кто-то из общих знакомых передал мне: Вертинский обижен, сердится — дескать, пропала, исчезла, знать о себе не дает. Меня кольнула совесть: обещала себе непременно позвонить ему, повидаться. Собиралась и прособиралась.

Он скончался в Ленинграде в 1957 году.

Умер той легкой смертью, которую Бунин просил у Бога, той смертью, о которой все мы будем молить.



Шанхай, кабаре «Гардения», в котором выступал А. Вертинский в конце 30-х годов

БРАЗИЛЬСКИЙ КРЕЙСЕР

Стихи И. Северянина

Вы оделись вечером кисейно
И в саду сидите у бассейна,
Наблюдая, как лунеет мрамор
И проток дрожит на нем муаром.
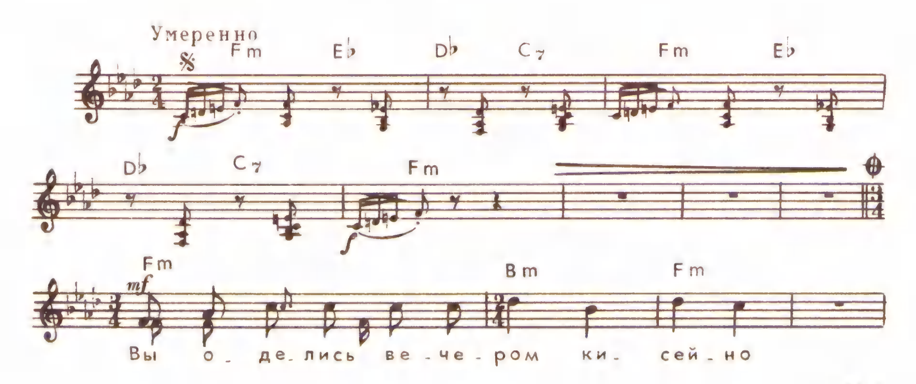
Корабли оякорили бухты:
Привезли тропические фрукты.
Привезли узорчатые ткани,
Привезли мечты об океане.
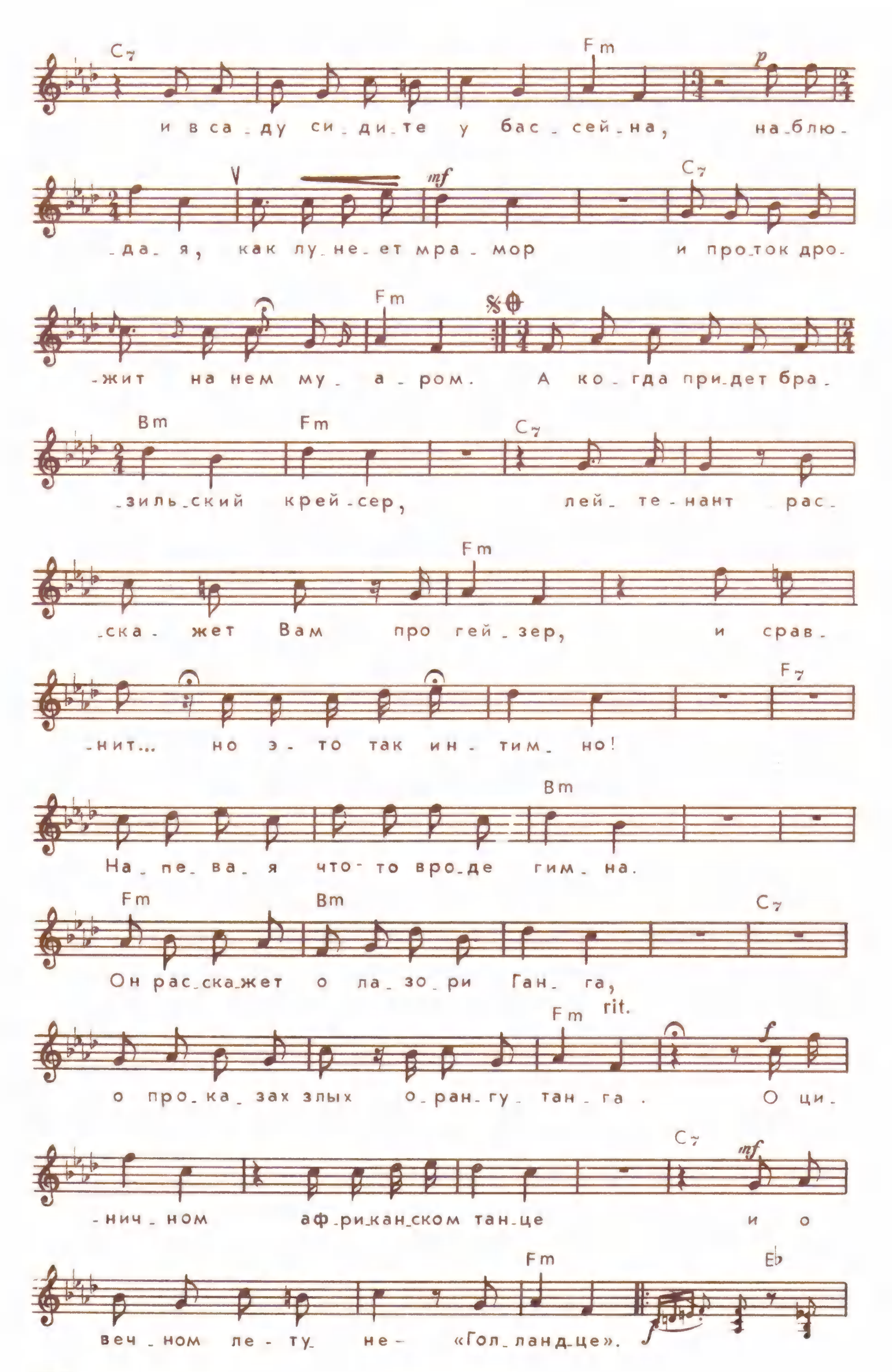
А когда придет бразильский крейсер,
Лейтенант расскажет Вам про гейзер,
И сравнит... но это так интимно!
Напевая что-то вроде гимна.
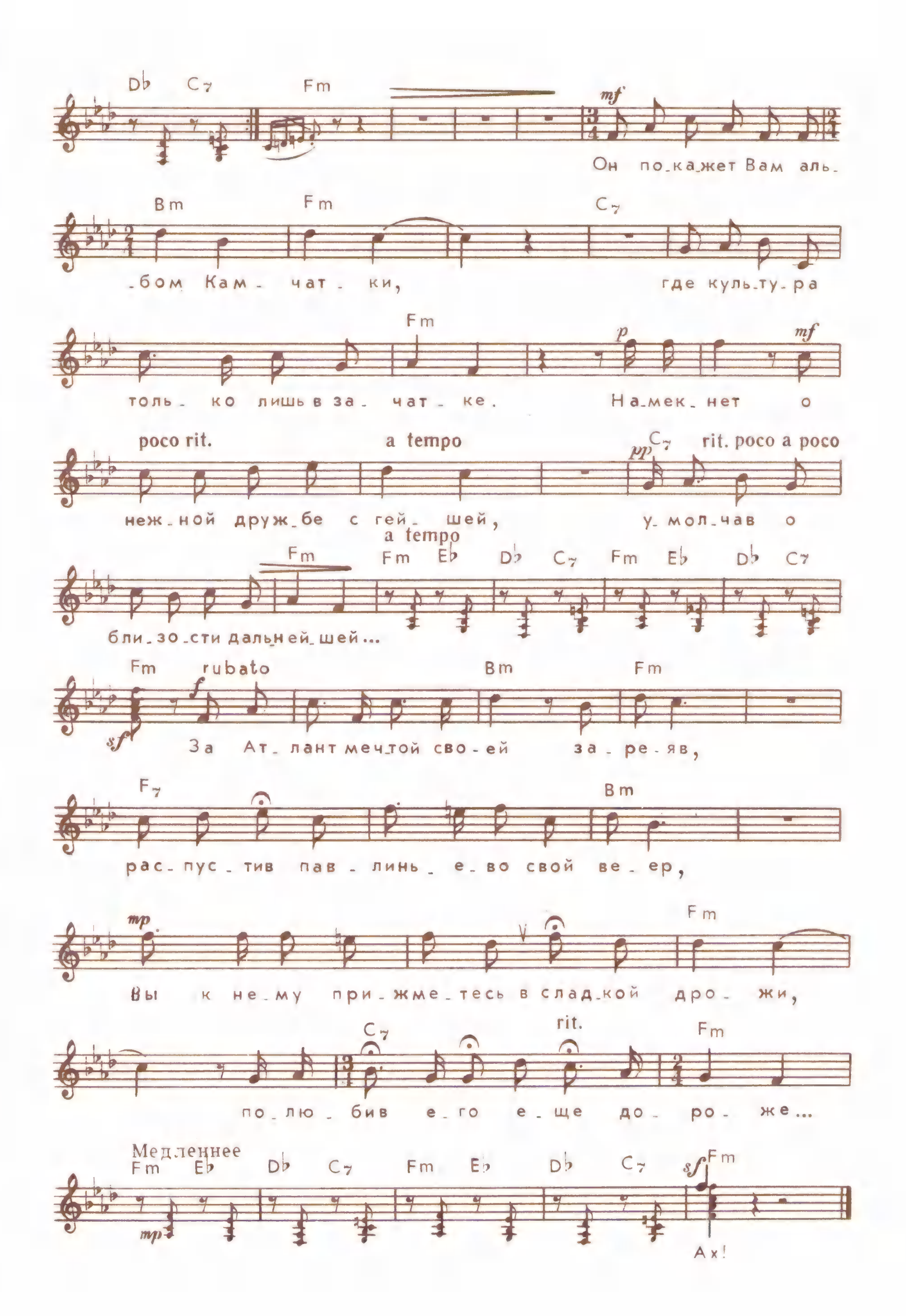
Он расскажет о лазори Ганга,
О проказах злых орангутанга.
О циничном африканском танце
И о вечном летуне — «Голландце»

Он покажет Вам альбом Камчатки,
Где культура только лишь в зачатке.
Намекнет о нежной дружбе с гейшей,
Умолчав о близости дальнейшей...

За Атлант мечтой своей зареяв,
Распустив павлиньево свой веер,
Вы к нему прижметесь в сладкой дрожи,
Полюбив его еще дороже...




C7 Fm p
и в са - ду си - ди - те у бас - сей - на, на - блю -
mf C7
- да - я, как лу - не - ет мра - мор и про - ток дро -
Fm
- жит на нем му - а - ром. А ко - гда при - дет бра -
Bm Fm C7
- зиль - ский крей - сер, лей - те - нант рас -
Fm
- ска - жет Вам про гей - зер, и срав -
F7
- нит... но э - то так ин - тим - но!
Bm
На - пе - ва - я что - то вро - де гим - на.
Fm Bm C7
Он рас - ска - жет о ла - зо - ри Ган - га,
Fm rit. f
о про - ка - зах злых о - ран - гу - тан - га. О ци -
C7 mf
- нич - ном аф - ри - кан - ском тан - це и о
Fm E♭
веч - ном ле - ту - не - «Гол - ланд - це».


D♭ C7 Fm
mf
Он по_ка_жет Вам аль_
Bm Fm C7
бом Кам чат_ ки, где куль_ту_ра
Fm p mf
толь_ ко лишь в за_ чат_ ке. На_мек_ нет о
poco rit. a tempo C7 pp rit. poco a poco
неж_ной друж_бе с гей_ шей, у_ мол_чав о
a tempo
Fm Fm E♭ D♭ C7 Fm E♭ D♭ C7
бли_зо_сти даль_ней_шей...
Fm rubato Bm Fm
sf f
За Ат_ лант меч_той сво_ей за_ ре_ яв,
F7 Bm
рас_ пус_ тив пав_ линь_ е_ во свой ве_ ер,
mp Fm
Вы к не_ му при_ жме_ тесь в слад_кой дро_ жи,
C7 rit. Fm
по_ лю_ бив е_ го е_ ще до_ ро_ же...
Медленнее
Fm E♭ D♭ C7 Fm E♭ D♭ C7 sf Fm
mp
Ах!

Александр Вертинский.
(Шанхай, 1941 г.)

Джимми-пират



ШАНХАЙ, 1941-й год

Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния. И также быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов Биржи. Какой-нибудь Яша — маленький агент по распространению пива «Ю-би» в кабаках на Банде, — который еще вчера не имел ни гроша за душой, сегодня покупает особняк. Он «заработал» на черной Бирже! Шанхай кипит жуликами. Кто служит в контрразведках, кто «работает с японцами», кто просто шарит по карманам.

У меня два «внука». Это у нас такая игра. Я — Великий, вечно юный Дед, а они мои внуки. Старший — любимый, и Младший — любимый, чтоб никого не обидеть. Оба бездельники. Шалопаи. Младший хоть на гитаре играет. А старший занимается только спортом. Оба драчуны и скандалисты и, к сожалению, самые сильные из ребят. Их все боятся и тронуть их не решается никто. Оба красавцы. Младший — грузин. Старший — русский. Вид у них необычайно приветливый. Обаяния хоть отбавляй. Младший шатен — у него разные глаза. Один — карий-золотой, другой — голубой, небесного цвета. Иногда это встречается у породистых кошек. Старший — такой же стройный и с такой же ослепительной улыбкой, но весь седой. Глаза у него детски голубые. Оба чудные парни. Если не вдумываться. Они и обожают меня, своего «Великого Деда», и ходят за мной по пятам, как борзые. Боже сохрани меня тронуть! Они просто убьют такого человека. С утра они уже у меня. Мы завтракаем в «Ренессансе». Внуки выбирают самые дорогие блюда.

— Дед, выдержишь филе с шампиньонами? — из вежливости спрашивают они. Я зову кельнершу и строго говорю:

— Две порции манной каши!

Почему-то она приносит им филе. После этого они пьют вино, потом кофе с ликером. Я задумчиво говорю:

— За эти деньги, что вы мне стоите, я бы мог угощать ежедневно двух чудных девочек 18-ти и 19-ти лет! Возможно, что какая-нибудь из них мне понравилась бы и я, быть может, женился бы на ней.

— Не надо было плодить внуков! — говорят они.

— И притом молоденькая за тебя не пойдет. Тебе уже слава Богу...

Назвать мой возраст они не решаются. Мне еще нет пятидесяти, а им за тридцать каждому. После обеда выходим на улицу. Я люблю спать после обеда. Но на улице дождь. До моего отеля два шага. Однако огромная лужа преграждает нам путь.

— Я не пойду дальше! — заявляю я.

Посовещавшись, внуки делают из своих рук кресло, сажают меня и несут по авеню Жоффр до моего отеля. Прохожие шарахаются. Знакомые хохочут. У дверей отеля разыгрывается ежедневно одна и та же сцена.

— Дед, ты будешь дрыхнуть? Дай нам на кино.

— Не дам!

— Тебе же хуже. Мы пойдем просить милостыню и опозорим твое имя.

Прижатый к стене, я говорю:

— Я дам вам два доллара, но… как нищим!

И я бросаю на тротуар две скомканных бумажки. Они бросаются поднимать их и дерутся из-за них. Вечером та же картина. Пока я работаю, т. е. пою, они сидят за моим столиком и что-нибудь пьют. Боже сохрани, если кто-нибудь не желает меня слушать. Старший — любимый — кивком головы вызовет его в коридор и убьет.

— Я пришел сюда ужинать, а не слушать песни! — говорит клиент. И он прав по-своему.

— Бери свой ужин и иди с ним в сортир,— любезно предлагает ему старший.

— А пока Дед поет, я тебе заткну глотку твоим бифштексом!

Редко кто решается продолжать этот разговор. Иногда завязывается драка. Все равно из-за чего. Они никому ничего не прощают. Зацепил ли кто-нибудь их во время танцев или нечаянно толкнул их даму. Скандал. Но какой! Все летит. Столы, блюда, посуда. Потерпевший, весь в крови, уже лежит на полу. Никто и ничто не может удержать их.



А. Вертинский с владельцами ресторана «Шехерезада». Шанхай, начало 40-х годов

Я жду пока все кончится и они снова сядут за стол.

Если скандал затеял младший, я строго говорю:

— За это ты на неделю останешься без сладкого.

Если виноват старший, я говорю ему:

— Выйди сейчас же из-за стола и стань в угол!

Он покорно встает и идет в гардероб, где и становится в угол лицом к стене.

Но сердце не камень. Через две минуты я его прощаю.

— Шалопаи! Бездельники! — сержусь я. А что им делать здесь в Шанхае? Здесь нет ни высших техникумов, ни университетов, ни школ специального назначения. В конце концов, они не виноваты в том, что их родители покинули Родину в свое время и они родились на чужой земле.

Это тоже надо учитывать. Они ненавидят англичан и американцев, и если кто-нибудь при них дурно отзовется о Советском Союзе, они бьют его без предупреждения, совершенно не считаясь ни с тем, кого они бьют, ни с количеством врагов!

Меня это восхищает.

— Босяки! — ворчу я. — Скандалисты!

Но они прекрасно знают, что в душе я ими горжусь. Чудные парни!

ДЖИММИ-ПИРАТ

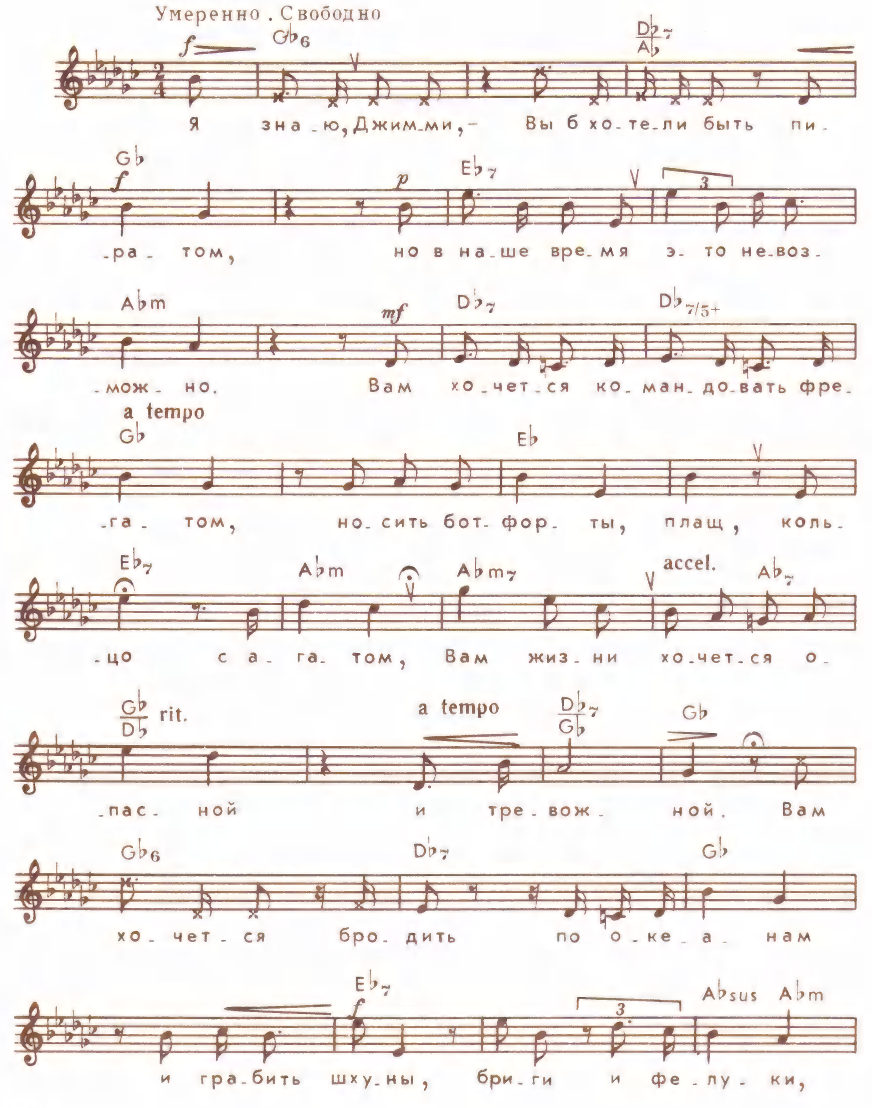
Я знаю, Джимми, — Вы б хотели быть пиратом,
Но в наше время это невозможно.
Вам хочется командовать фрегатом,
Носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом,
Вам жизни хочется опасной и тревожной.
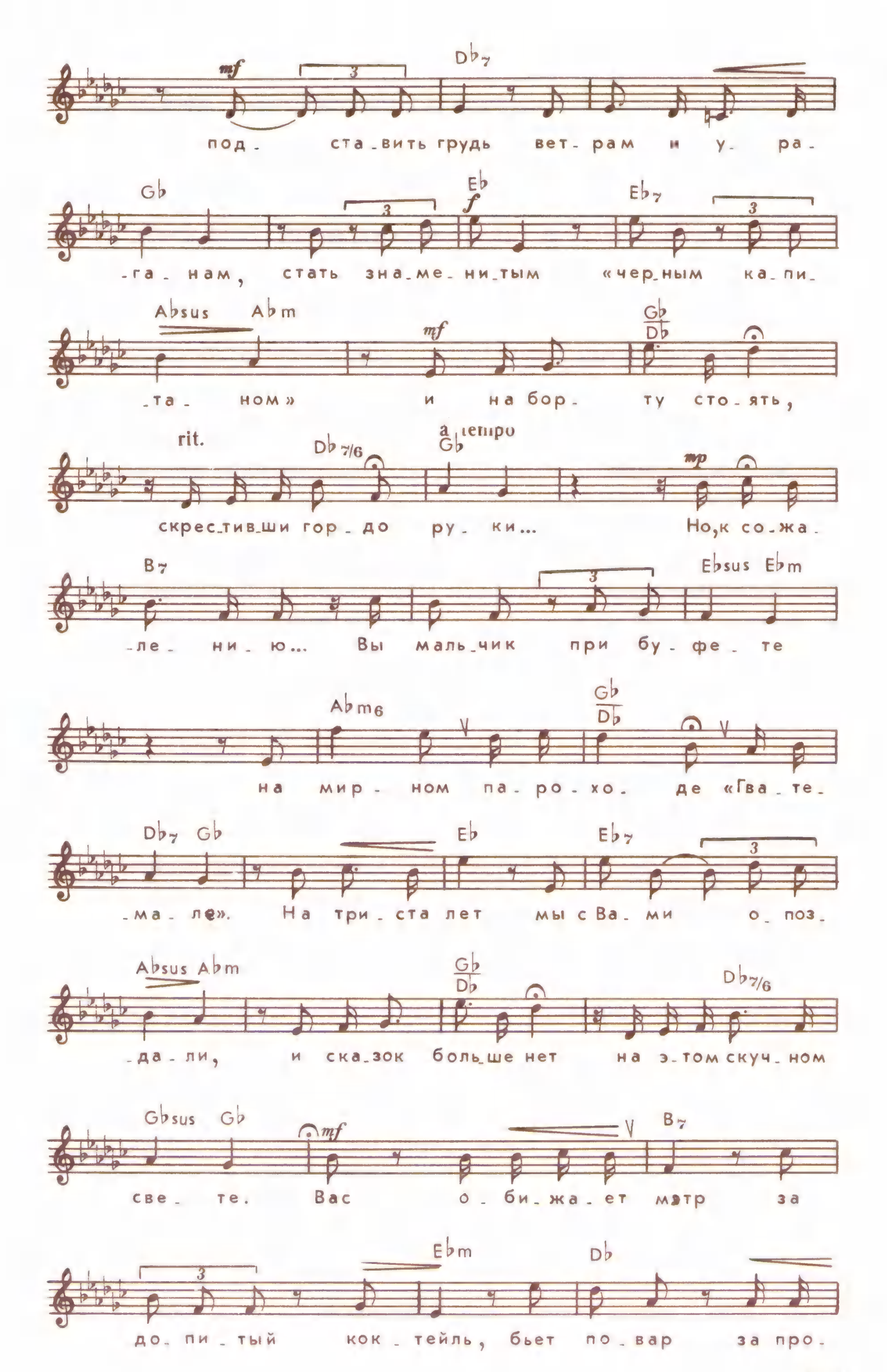
Вам хочется бродить по океанам
И грабить шхуны, бриги и фелуки,
Подставить грудь ветрам и ураганам,
Стать знаменитым «черным капитаном»
И на борту стоять, скрестивши гордо руки…
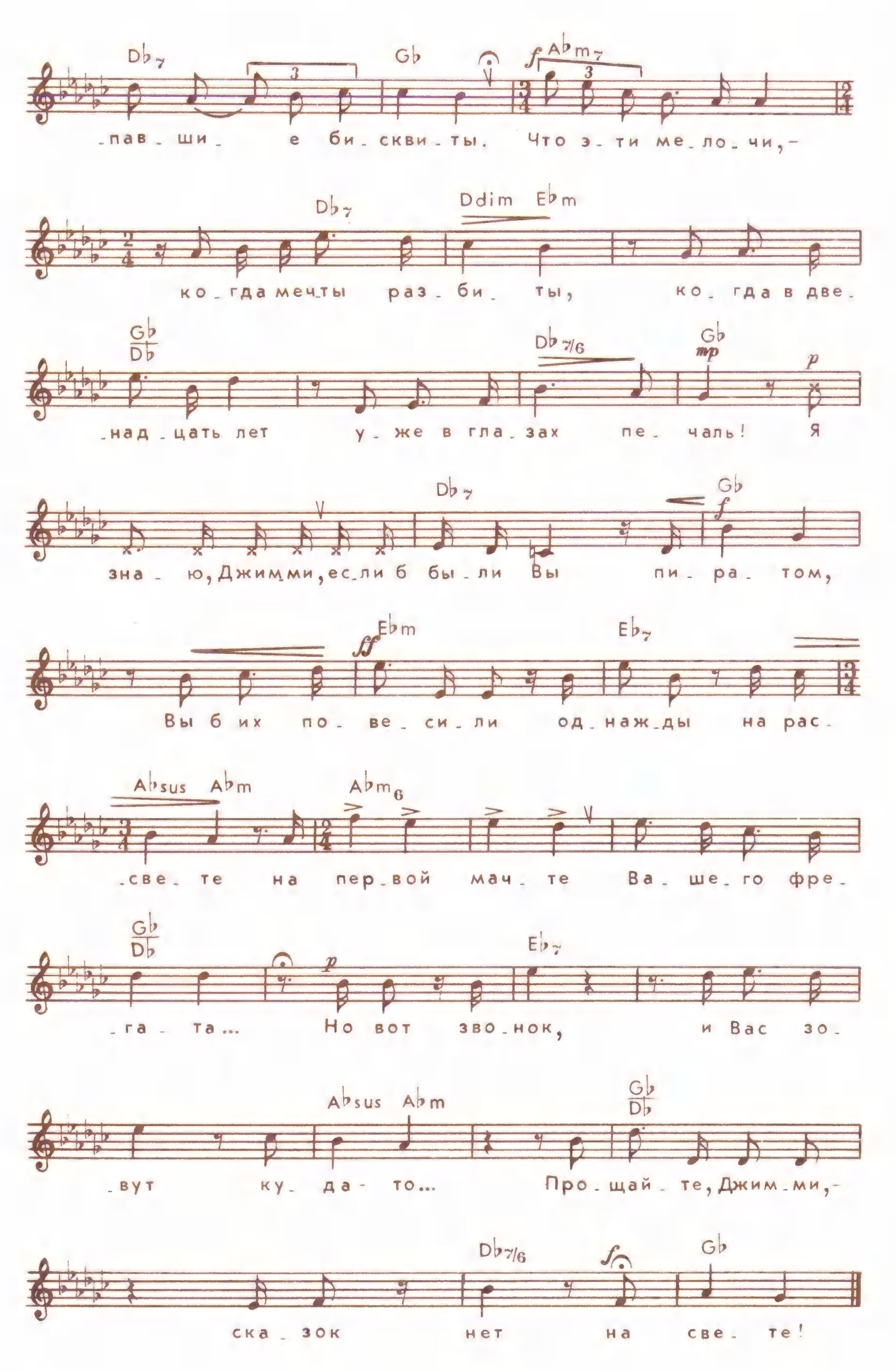
Но, к сожалению… Вы мальчик при буфете
На мирном пароходе «Гватемале».
На триста лет мы с Вами опоздали,
И сказок больше нет на этом скучном свете.

Вас обижает мэтр за допитый коктейль,
Бьет повар за пропавшие бисквиты.
Что эти мелочи, — когда мечты разбиты,
Когда в двенадцать лет уже в глазах печаль!

Я знаю, Джимми, если б были Вы пиратом,
Вы б их повесили однажды на рассвете
На первой мачте Вашего фрегата…
Но вот звонок, и Вас зовут куда-то…
Прощайте, Джимми, — сказок нет на свете!




mf
Db7
под - ста - вить грудь вет - рам и у - ра -
Gb
Eb
f
Eb7
- га - нам, стать зна - ме - ни - тым «чер - ным ка - пи -
Absus
Abm
mf
Gb/Db
- та - ном» и на бор - ту сто - ять,
rit.
Db7/6
a tempo
Gb
mp
скрес - тив - ши гор - до ру - ки... Но, к со - жа -
B7
Ebsus
Ebm
- ле - ни - ю... Вы маль - чик при бу - фе - те
Abm6
Gb/Db
на мир - ном па - ро - хо - де «Гва - те -
Db7
Gb
Eb
Eb7
- ма - ле». На три - ста лет мы с Ва - ми о - поз -
Absus
Abm
Gb/Db
Db7/6
- да - ли, и ска - зок боль - ше нет на э - том скуч - ном
Gbsus
Gb
mf
B7
све - те. Вас о - би - жа - ет мэтр за
Ebm
Db
до - пи - тый кок - тейль, бьет по - вар за про -



Db7 Gb Abm7
-пав-ши-е би-скви-ты. Что э-ти ме-ло-чи,-
Db7 Ddim Ebm
ко-гда мечты раз-би-ты, ко-гда в две-
Gb/Db Db7/6 Gb
-над-цать лет у-же в гла-зах пе-чаль! Я
Db7 Gb
зна-ю, Джимми, ес-ли б бы-ли Вы пи-ра-том,
Ebm Eb7
Вы б их по-ве-си-ли од-наж-ды на рас-
Absus Abm Abm6
-све-те на пер-вой мач-те Ва-ше-го фре-
Gb/Db Eb7
-га-та... Но вот зво-нок, и Вас зо-
Absus Abm Gb/Db
-вут ку-да-то... Про-щай-те, Джим-ми,-
Db7/6 Gb
ска-зок нет на све-те!

Александр Вертинский.
МОИ ДОЧЕРИ



Доченьки



Мои дочери

У меня их двое. Одной семь, другой восемь лет. Одну зовут Биби *, другую Настенька. Биби родилась в Шанхае, Настя — в Москве.

В это утро они сидели в пижамках на подоконниках, считая танки, проходившие по улице Горького, и как всегда ссорились.

— Ты китайка противная! — говорила Настя. — Ты родилась в Шанхае!

— Ну и что из этого? — спокойно возражала Биби. — Ну и родилась...

— А я — москвичка! Я родилась в Москве.

— Ну?

— Вот тебя на Красную площадь не пустят, а я могу пойти!

— Почему?

— Потому, что я москвичка, а это праздник только для москвичей!

Я нахожу, что пора вмешаться.

— Это праздник для всех трудящихся, — говорю я.

— Для всех?

— Да, для всех!

Но Биби защищается по-своему:

— Никакая ты еще не москвичка, — говорит она.

— Почему?

— Потому. Если голубь родился в конюшне — значит, он лошадь? Москвичи — это те, которые живут 800 лет в Москве.

Настя потрясена. Она считает, сколько лет ей еще надо жить, чтобы считаться москвичкой. Я снова вмешиваюсь и разъясняю вопрос. Разговор переходит на другую тему.

— Папа, — спрашивает Настя, — а детям можно ходить с демонстрацией?

— Можно.

— С мамами или одним?

— Лучше с мамами.

— Почему?

— Ну мало чего... вдруг им чего-нибудь захочется... по надобности...

— Можно взять с собой горшочек! — задумчиво говорит она.

Бибка не пропускает случая поднять на смех эту идею.

— Что же это получится? — презрительно говорит она. — Тысячу ребят и все с горшками? Маленькие должны сидеть дома!

— А ты?

— Я другое дело. Я — пионерка! Мне даже милиционер честь отдает!

Настя вздыхает. Она только в первом классе и в пионеры ее пока не берут.

---

* Биби — домашнее имя старшей дочери А. Н. Вертинского — Марианны.

— Когда я буду пионеркой,— говорит она,— я даже спать буду в красном галстуке! И прежде всего я ... знаешь, что сделаю?

— Что?

— Отколочу тебя!

— Пионерам нельзя драться! — замечаю я.

— Тогда я отколочу ее раньше, за полчаса до этого.

Чтобы их примирить, я спрашиваю.

— Ты стишки выучила?

— Да.

— Какие?

Посмотри в свое окно —
Все на улицах красно.
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет,
Там, где шли трамваи?
Вся страна — и млад и стар
Празднуют свободу,
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу.

— А шар ты нам купишь? — неожиданно заканчивает она.

— Куплю.

— А новые платья нам наденут?

— Да.

— И новые банты?

— Да.

Через полчаса мы выходим на улицу. Сколько радости, смеха, улыбок, знамена, флаги, цветы в руках у молодых девушек, музыка, песни...

И я вспоминаю 1-е Мая в Париже: пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, целые кварталы, оцепленные полицией... Хмурые лица рабочих, нездоровые лица детей... И серое парижское небо...

— Папа, сегодня у всех праздник? И у немцев, и у французов? — спрашивает Настя.

— У всех, кто трудится и работает,— отвечаю я.

— А что делают те, которые не работают?

— Они делают все, чтобы испортить рабочим этот праздник...

Девочки на минуту задумываются.

ДОЧЕНЬКИ

У меня завелись ангелята,
Завелись среди белого дня.
Все, над чем я смеялся когда-то,
Все теперь восхищает меня!

Жил я шумно и весело — каюсь,
Но жена все к рукам прибрала,
Совершенно со мной не считаясь,
Мне двух дочек она родила.

Я был против. Начнутся пеленки…
Для чего свою жизнь осложнять?
Но залезли мне в сердце девчонки,
Как котята в чужую кровать!

И теперь с новым смыслом и целью
Я, как птица, гнездо свое вью
И порою над их колыбелью
Сам себе удивленно пою:

— Доченьки, доченьки,
Доченьки мои!
Где ж вы мои ноченьки,
Где вы соловьи?..

Много русского солнца и света
Будет в жизни дочурок моих,
И что самое главное — это
То, что Родина будет у них!

Будет дом. Будет много игрушек.
Мы на елку повесим звезду.
Я каких-нибудь добрых старушек
Специально для них заведу.

Чтобы песни им русские пели
Чтобы сказки ночами плели,
Чтобы тихо года шелестели,
Чтобы детства — забыть не могли!
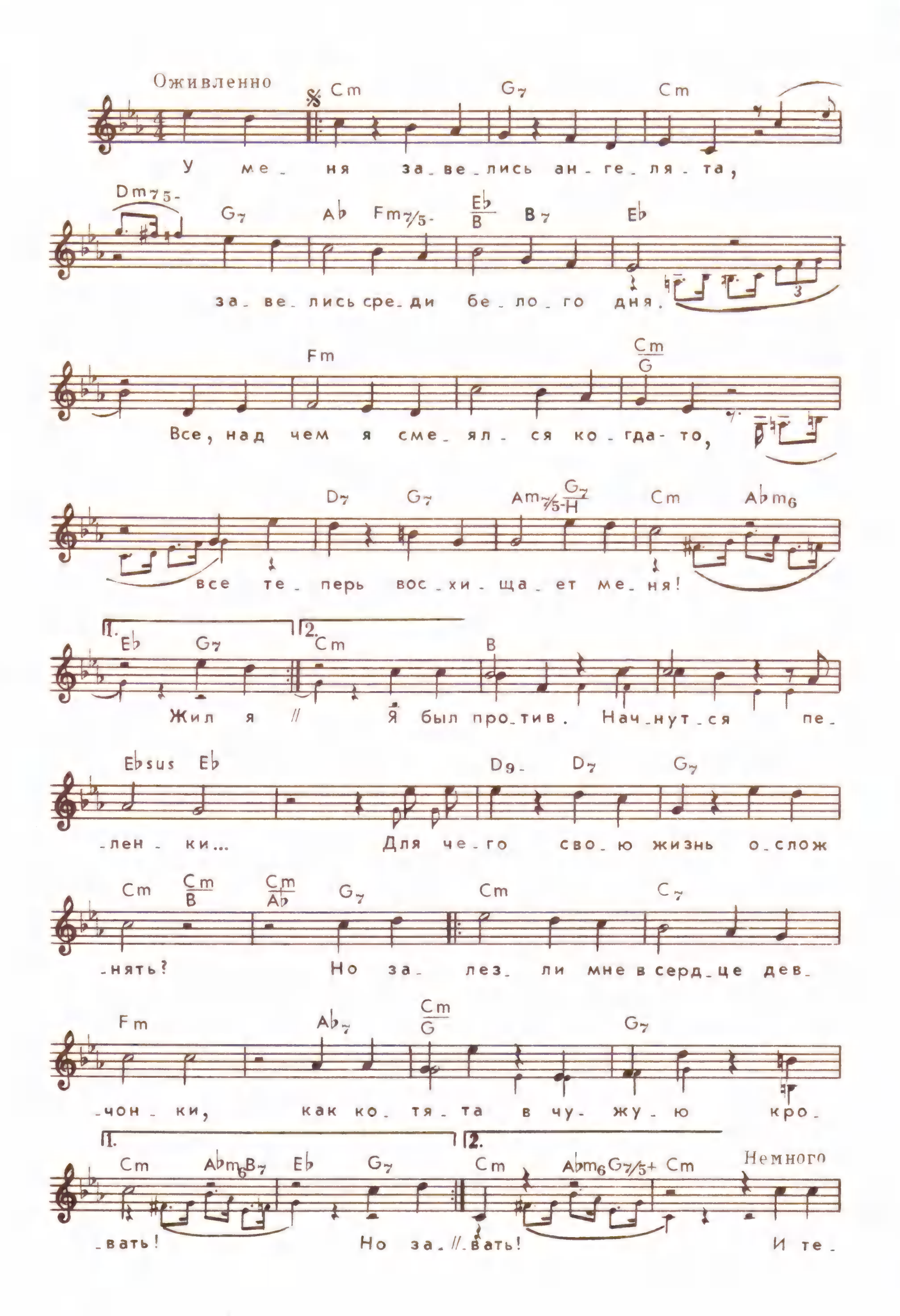
Правда, я постарею немного,
Но душой буду юн как они!
И просить буду доброго Бога,
Чтоб продлил мои грешные дни.

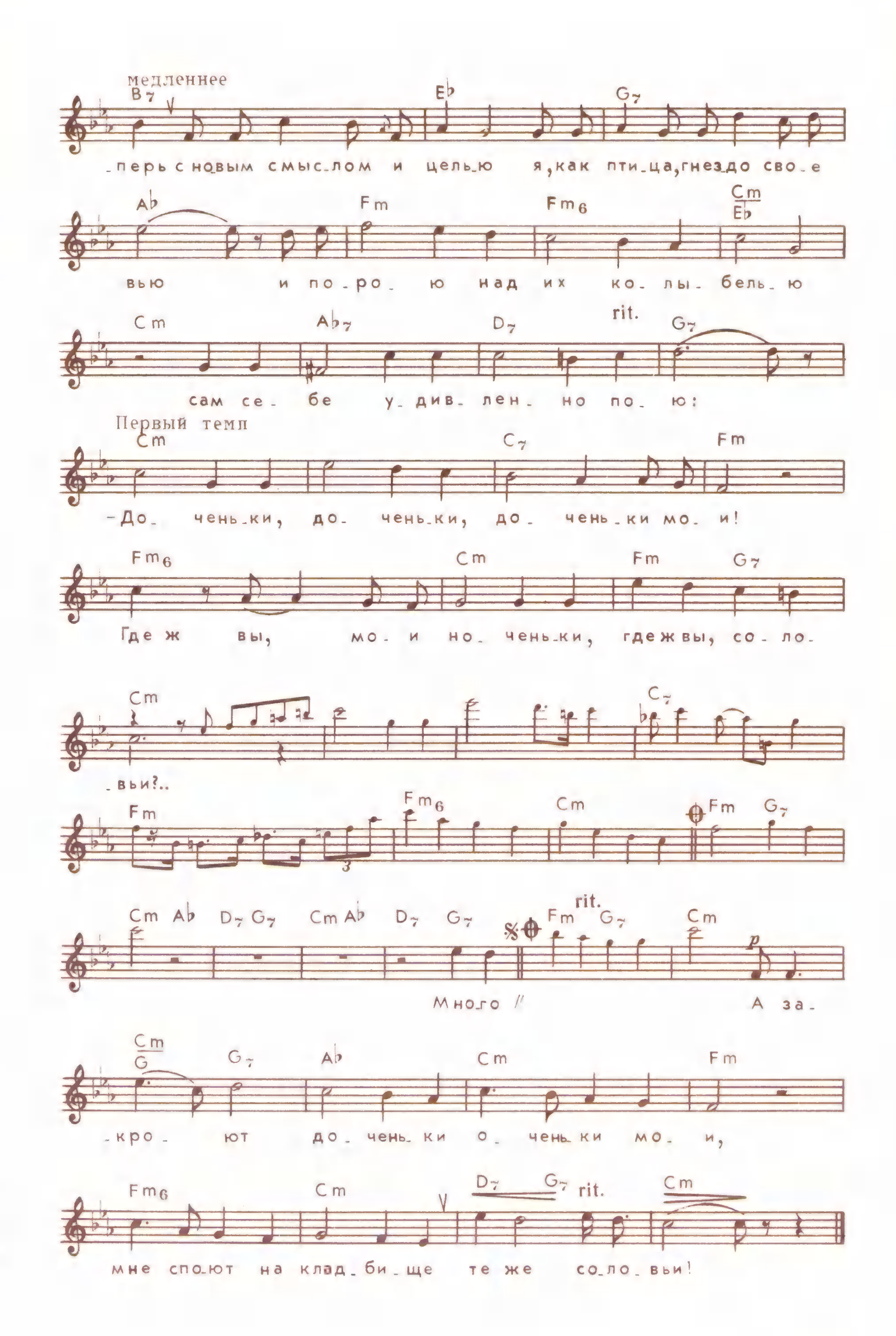
Вырастут доченьки
Доченьки мои…
Будут у них ноченьки,
Будут соловьи!

А закроют доченьки
Оченьки мои,
Мне споют на кладбище
Те же соловьи!



С дочками — Марианной и Настей на Первомайском параде. Москва, улица Горького, 1946 год


Оживленно
У ме_ ня за_ве_лись ан_ге_ля_та,
за_ве_лись сре_ди бе_ло_го дня.
Все, над чем я сме_ял_ся ко_гда-то,
все те_перь вос_хи_ща_ет ме_ня!
Жил я // Я был про_тив. Нач_нут_ся пе_
_лен_ки... Для че_го сво_ю жизнь о_слож
нять? Но за лез_ ли мне в серд_це дев_
_чон_ки, как ко_тя_та в чу- жу_ю кро_
вать! Но за//_вать! И те_
Немного


медленнее
-перь с новым смыслом и целью я, как пти-ца, гнездо сво-е
вью и по-ро-ю над их ко-лы-бель-ю
rit.
сам се-бе у-див-лен-но по-ю:
Первый темп
-До-чень-ки, до-чень-ки, до-чень-ки мо-и!
Где ж вы, мо-и но-чень-ки, где ж вы, со-ло-
-вьи?..
rit.
Много // А за-
-кро-ют до-чень-ки о-чень-ки мо-и,
rit.
мне спо-ют на клад-би-ще те же со-ло-вьи!



Об Александре Вертинском
(Александр Гладков)



Пред ликом Родины



Александр ГЛАДКОВ

После концерта Вертинского в Центральном театре Красной Армии.

Вертинский — рослый старый мужчина во фраке. Голоса совсем нет, но это не имеет значения: выразительность достигается удивительным, тонким, острым мастерством фразировки, жеста, мимики. Я ждал многого, но получил больше. Изумительные руки, ритмичность, музыкальность. Даже картавость работает на созданный им лирико-трагический образ.

В двух отделениях он исполнил больше 20 песен. Одну на свои слова, наивные, но трогательные — о возвращении на родину. Заметно волновался, ведь это его первый концерт в Москве.

Он, конечно, больше чем исполнитель, он и актер и «герой» цельного цикла песенок, своеобразного романа об изгнании, о чужих городах, о страстной жизни артиста, полной соблазнов и терпких ошибок.

Сила Вертинского не только в отточенных гранях его искусства, но и в его лирическом «я», в своем роде повторяющем лирические циклы — романсы Блока и Есенина.

Я был рад за него и даже волновался.

ПРЕД ЛИКОМ РОДИНЫ
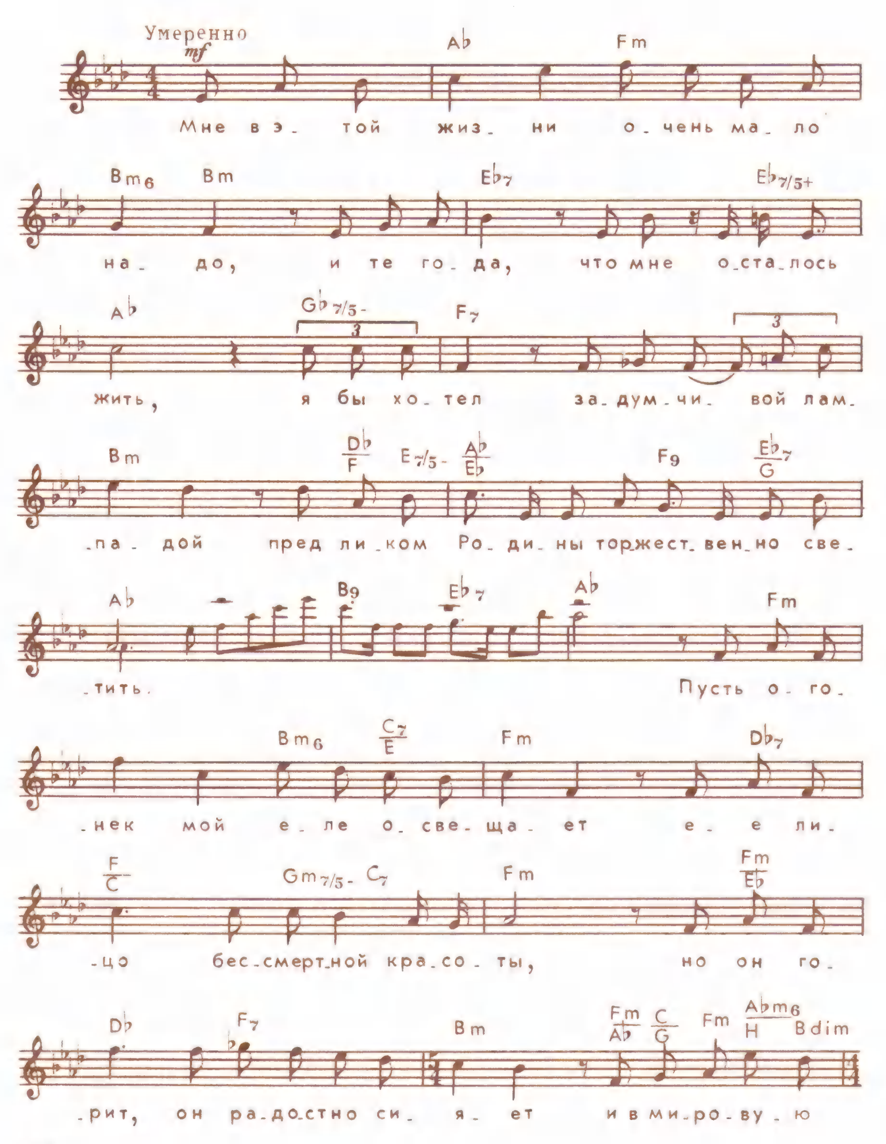
Мне в этой жизни очень мало надо,
И те года, что мне осталось жить,
Я бы хотел задумчивой лампадой
Пред ликом Родины торжественно светить.
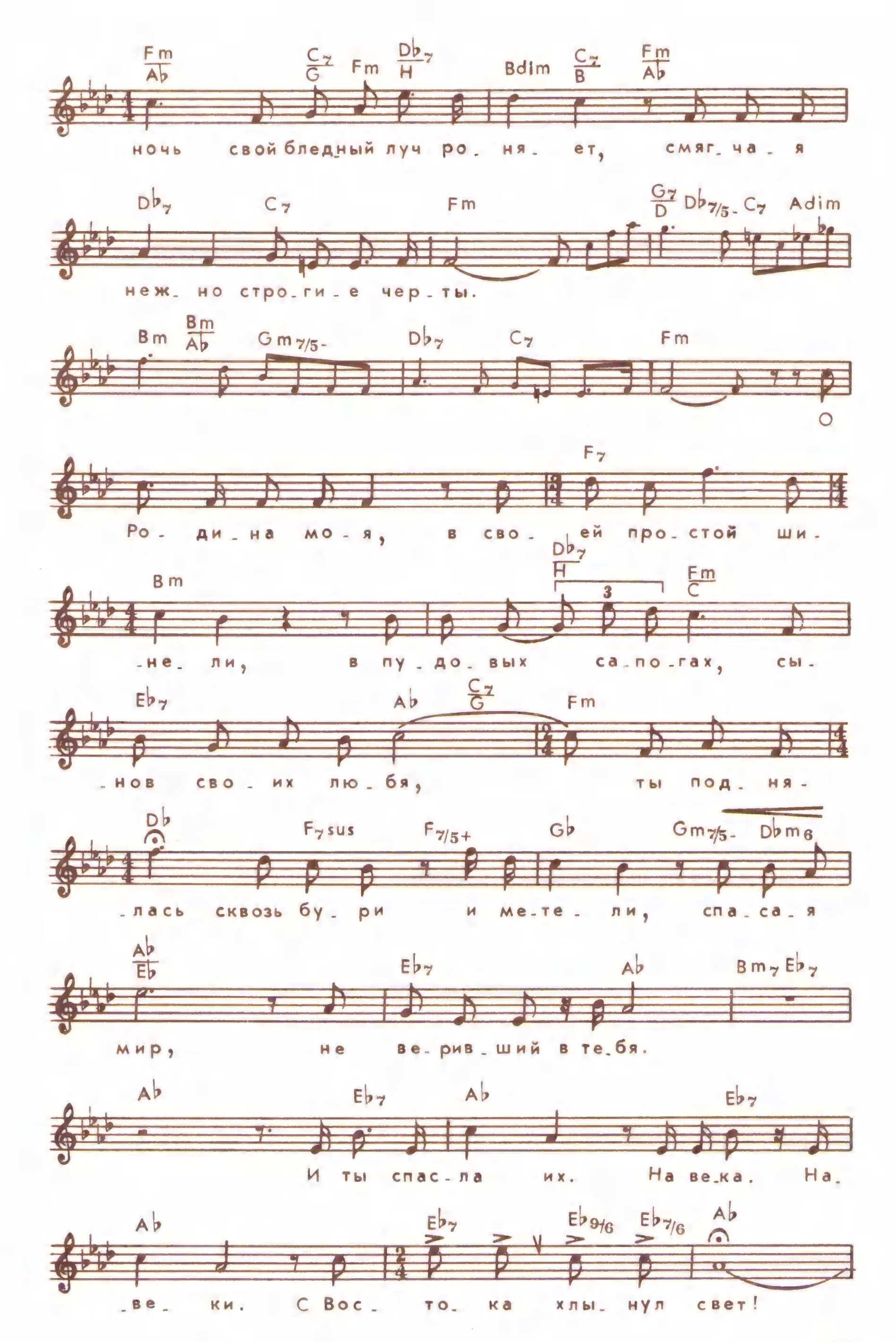
Пусть огонек мой еле освещает
Ее лицо бессмертной красоты,
Но он горит, он радостно сияет
И в мировую ночь свой бледный луч роняет,
Смягчая нежно строгие черты.
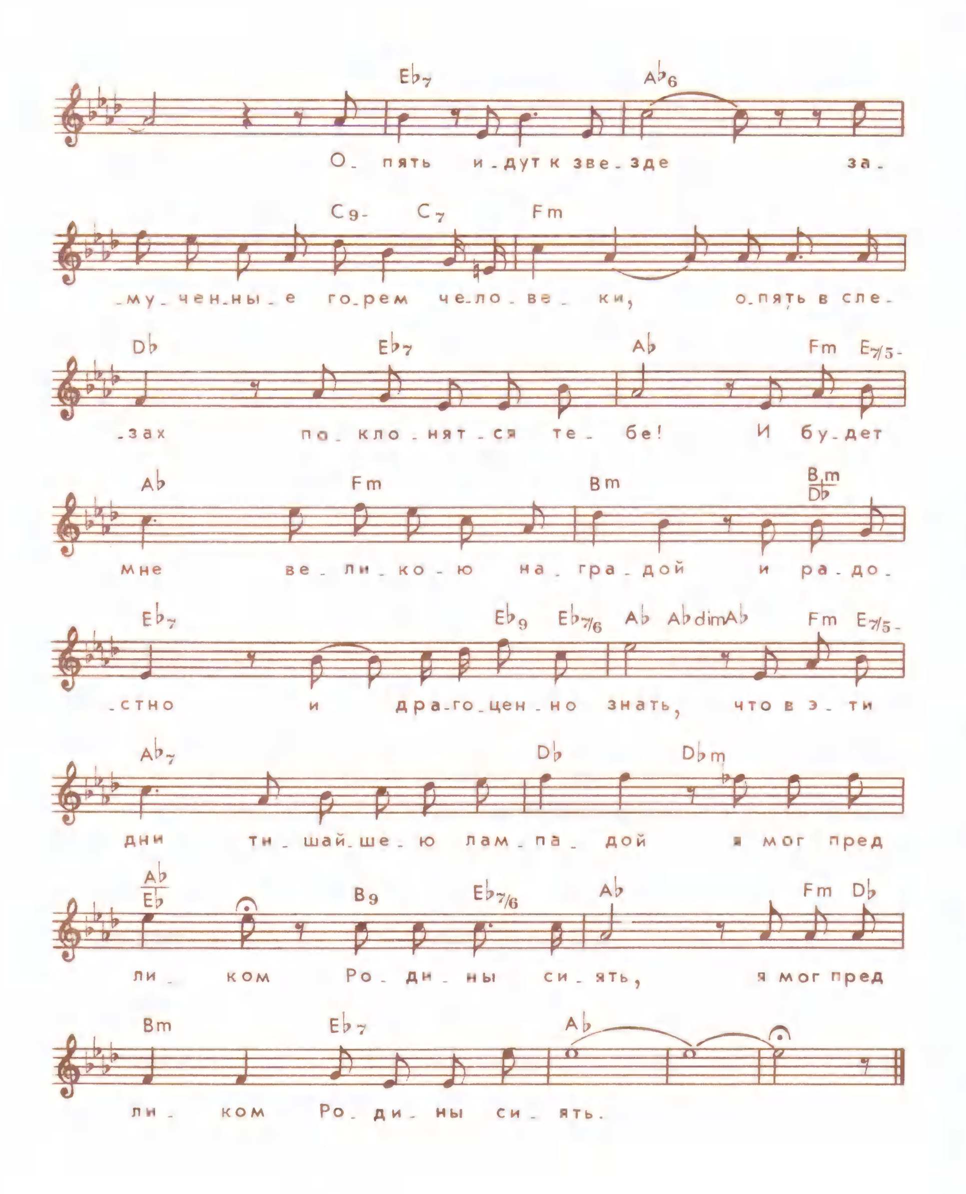
О Родина моя, в своей простой шинели,
В пудовых сапогах, сынов своих любя,
Ты поднялась сквозь бури и метели,
Спасая мир, не веривший в тебя.

И ты спасла их. На века. Навеки.
С Востока хлынул свет! Опять идут к звезде
Замученные горем человеки,
Опять в слезах поклонятся тебе!

И будет мне великою наградой
И радостно и драгоценно знать,
Что в эти дни тишайшею лампадой
Я мог пред ликом Родины сиять.

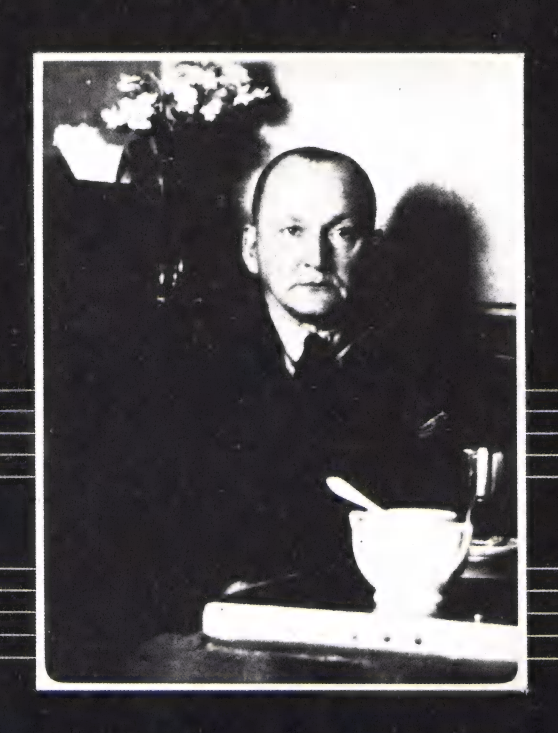



Fm/Ab C7/G Fm Db7/H Bdim C7/B Fm/Ab
ночь свой бледный луч ро_ ня_ ет, смяг_ ча_ я
Db7 C7 Fm G7/D Db7/5- C7 Adim
неж_ но стро_ги_е чер_ты.
Bm Bm/Ab Gm7/5- Db7 C7 Fm
О
F7
Ро_ ди_на мо_ я, в сво_ ей про_стой ши_
Bm Db7/H 3 Fm/C
_не_ ли, в пу_до_вых са_по_гах, сы_
Eb7 Ab C7/G Fm
нов сво их лю_бя, ты под_ ня_
Db F7sus F7/5+ Gb Gm7/5- Dbm6
лась сквозь бу ри и ме_те_ ли, спа_са_ я
Ab/Eb Eb7 Ab Bm7 Eb7
мир, не ве_рив_ший в те_бя.
Ab Eb7 Ab Eb7
И ты спас_ла их. На ве_ка. На_
Ab Eb7 Eb9/6 Eb7/6 Ab
_ве_ ки. С Вос_ то_ ка хлы_ нул свет!



О_ пять и_дут к зве_зде за_
_му_чен_ны_е го_рем че_ло_ве_ ки, о_пять в сле_
_зах по_кло_нят_ся те_ бе! И бу_дет
мне ве_ли_ко_ю на_гра_дой и ра_до_
_стно и дра_го_цен_но знать, что в э_ти
дни ти_шай_ше_ю лам_па_ дой я мог пред
ли_ ком Ро_ ди_ ны си_ять, я мог пред
ли_ ком Ро_ ди_ ны си_ ять.

Об Александре Вертинском
(Александр Галич)



Пани Ирена



Александр ГАЛИЧ

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад. Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал: «На чей концерт?» Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского...

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский.

Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертые-престертые. Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери,— то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным...

И вот мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения, вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато-седыми волосами; за ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос...

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного,

а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом,— это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю, Джим», «Лиловый негр вам подает манто», «Прощальный ужин»,— казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет...»

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.
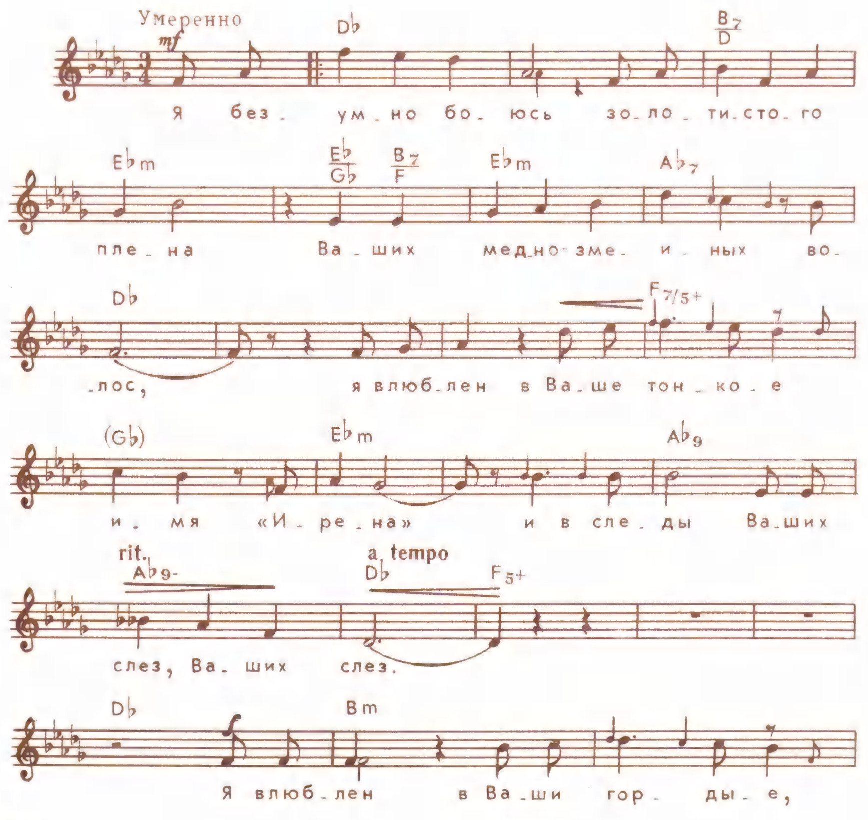
Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейской» в Ленинграде, месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже неизвестных даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню,— но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне»...
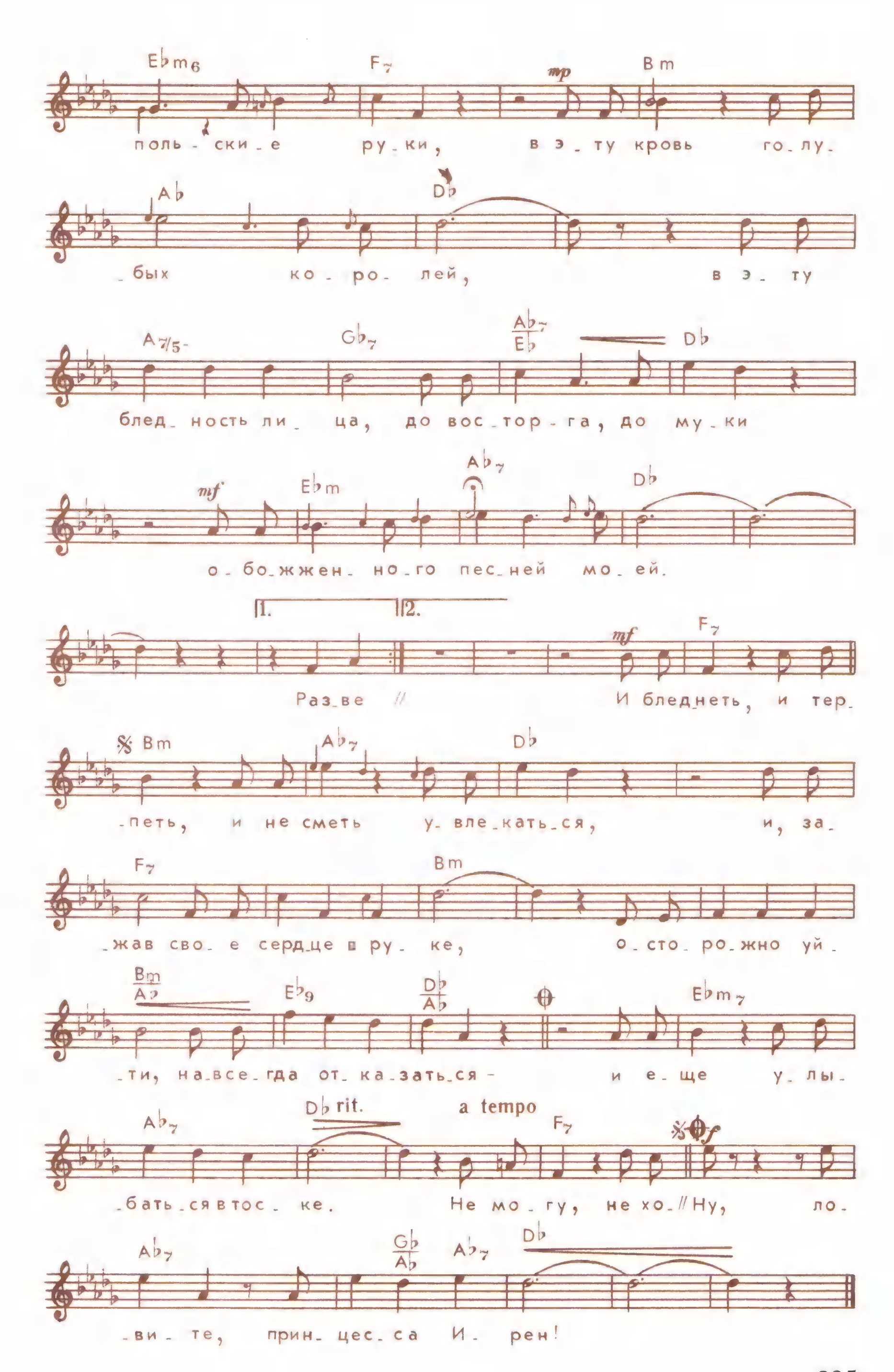
ПАНИ ИРЕНА

Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос,
Я влюблен в Ваше тонкое имя «Ирена»
И в следы Ваших слез.
Я влюблен в Ваши гордые, польские руки,
В эту кровь голубых королей,
В эту бледность лица, до восторга, до муки
Обожженного песней моей.

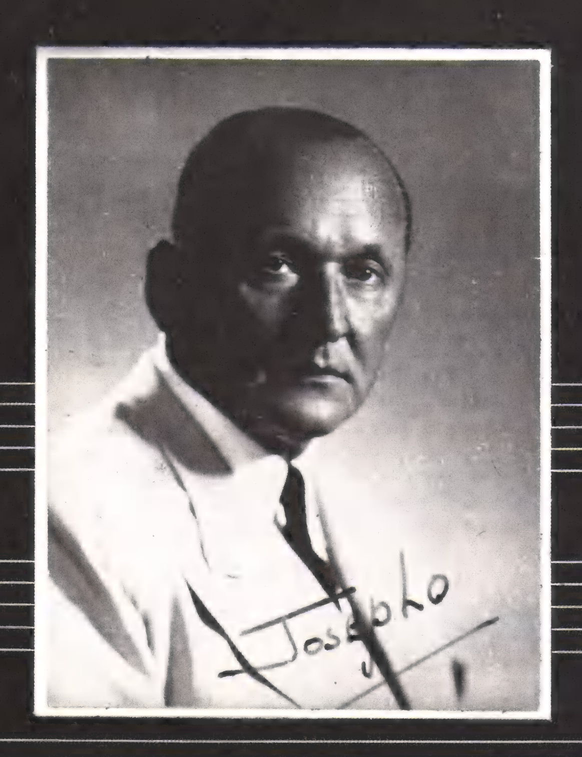
Разве можно забыть эти детские плечи,
Этот горький, заплаканный рот…
И акцент Вашей польской изысканной речи,
И ресниц утомленных полет?
А крылатые брови? а лоб Беатриче?
А весна в повороте лица?..
О, как трудно любить в этом мире приличий,
О, как больно любить без конца!

И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться,
И, зажав свое сердце в руке,
Осторожно уйти, навсегда отказаться —
И еще улыбаться в тоске.
Не могу, не хочу, наконец — не желаю!
И, приветствуя радостный плен,
Я со сцены Вам сердце, как мячик, бросаю.
Ну, ловите, принцесса Ирен!




E♭m6 F7 mp Bm
поль - ски - е ру - ки, в э - ту кровь го - лу -
A♭ D♭
- бых ко - ро - лей, в э - ту
A7/5- G♭7 A♭7/E♭ D♭
блед - ность ли - ца, до вос - тор - га, до му - ки
mf E♭m A♭7 D♭
о - бо - жжен - но - го пес - ней мо - ей.
1. 2. mf F7
Раз - ве // И блед - неть, и тер -
Bm A♭7 D♭
- петь, и не сметь у - вле - кать - ся, и, за -
F7 Bm
- жав сво - е серд - це в ру - ке, о - сто - ро - жно уй -
Bm/A♭ E♭9 D♭/A♭ E♭m7
- ти, на - все - гда от - ка - зать - ся - и е - ще у - лы -
A♭7 D♭ rit. a tempo F7 f
- бать - ся в тос - ке. Не мо - гу, не хо - // Ну, ло -
A♭7 G♭/A♭ A♭7 D♭
- ви - те, прин - цес - са И - рен!

Об Александре Вертинском.
(Наталья Сац)



Джонни



Наталья САЦ

Саратов — город музыкальный. На два концерта Леонида Когана в зале местной консерватории билеты были немедленно проданы. Но вот приехал виолончелист — уроженец Саратовской области, да еще приятель нашего директора. Директор решил «поддержать друга», а билеты не раскупаются. И вдруг к нам на пять концертов едет Вертинский!

Директор придумал «хитрый план». Он велел нашим «борзистам» — бюро работы со зрителями (БОРЗ) продавать билеты на Вертинского только тем, кто «в нагрузку» купит столько же билетов на виолончелиста. В результате концерты виолончелиста прошли пристойно, при полных залах, в городе, заклеенном его афишами. А к приезду Вертинского ни одной афиши повесить было уже нельзя; в кассе не было ни одного билета.

Мне не забыть, как в мой кабинет в филармонии вошел высокий, элегантный, хотя уже немолодой Вертинский.

— Я приехал в Саратов сегодня утром, в гостинице на меня посмотрели как на привидение. Обошел весь город, и ни одной афиши! Вы понимаете мое состояние, Наталья Ильинична? Я зашел к вам, потому что подумал, ведь вы знали много обид артистического самолюбия и поймете меня.

Стараюсь его успокоить:

— В данном случае, Александр Николаевич, виновата ваша популярность. Как только объявили о вашем приезде, билеты были расхватаны. Зачем дразнить афишами тех, кто не сможет купить билет?

— Нет, Наталья Ильинична. Я спрашивал: афиш в городе не было. Значит, мною торговали, что называется, из-под полы, моей фамилии здесь постеснялись. Отмените мой концерт — я завтра уеду.

Назавтра один из прытких администраторов получил ведерко с клеем, кисть и злополучные афиши. Он должен был выклеивать эти афиши по пути следования Вертинского к филармонии. Задача второго была в том, чтобы моментально их сдирать. Малопочтенная работа. Но выхода не было.

ДЖОННИ
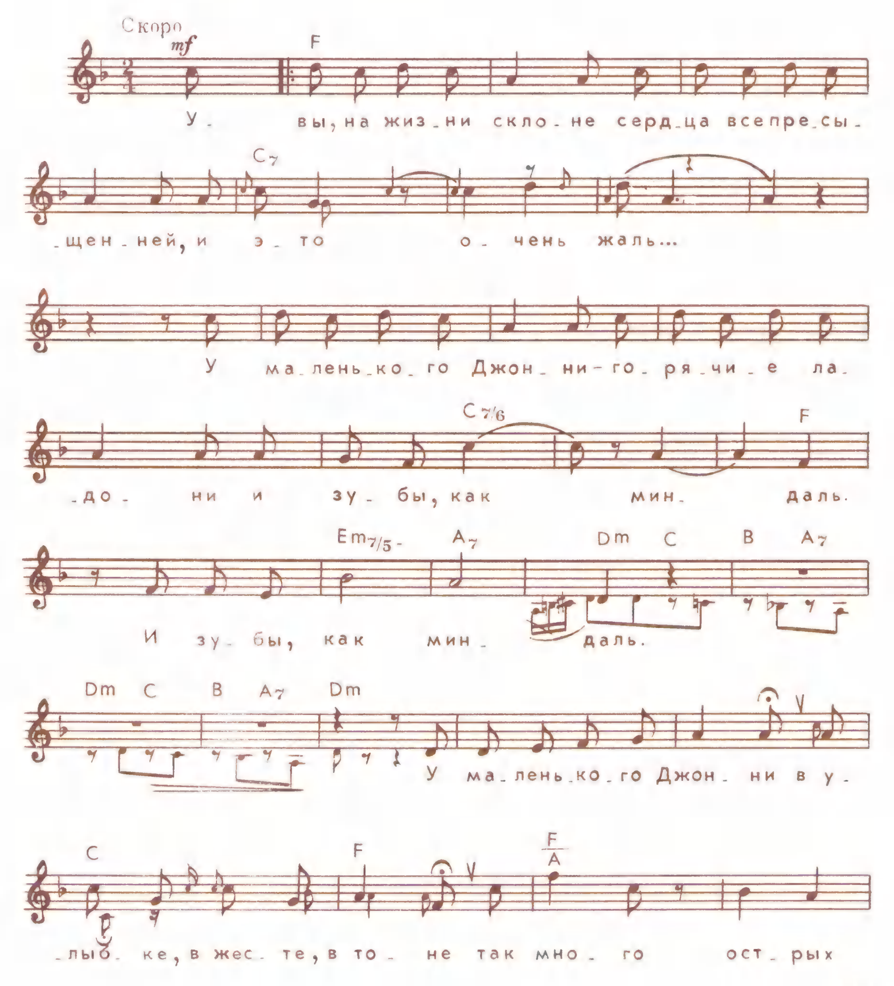
Стихи В. Инбер

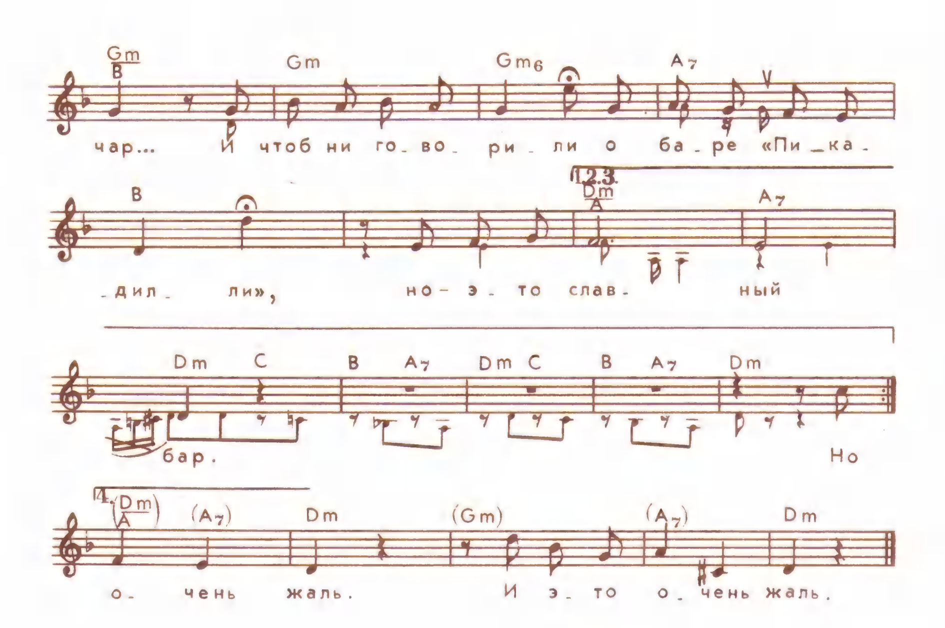
Увы, на жизни склоне
Сердца все пресыщенней,
И это очень жаль…
У маленького Джонни —
Горячие ладони
И зубы, как миндаль.
    У маленького Джонни
    В улыбке, в жесте, в тоне
    Так много острых чар…
    И чтоб ни говорили
    О баре «Пикадилли»,
    Но — это славный бар.

Но ад ли это? рай ли?
Сигары и коктейли,
И кокаин подчас…
Разносит Джонни кротко,
А денди и кокотки
С него не сводят глаз.
    Но Джонни — он спокоен.
    Никто не удостоен…
    Невинен алый рот.
    В зажженном им пожаре
    На «Пикадилли» в баре
    Он холоден, как лед.

Как хрупки льдины эти…
Однажды на рассвете,
Тоску ночей гоня,
От жажды умирая,
В потоке горностая
Туда вошла… она —
    Бессонницей томима,
    Усталая от грима.
    О, возраст, полный грез…
    О, жажда, ради Бога,
    Любить еще немного
    И целовать до слез.

Кто угадает сроки?
На табурет высокий
Присела у окна.
В почтительном поклоне
Пред ней склонился Джонни,
Он ей принес вина…
С тех пор прошли недели,
И ей уж надоели
И Джонни, и миндаль.
И выгнанный с позором,
Он нищим стал и вором,
И это очень жаль.





Среди актеров. А. Зуева, А. Вертинский, М. Брохес, Р. Зеленая, Г. Сергеева, И. Козловский, И. Юрьева. Москва, ЦДРИ, начало 50-х годов

Об Александре Вертинском.
(Константин Рудницкий)

Дансинг-Герл



Константин РУДНИЦКИЙ

Вертинский охотно гастролировал в больших и малых, отдаленных и близких городах, в том числе и в тех, которых, когда он покинул Россию, не было на географической карте. И, разумеется, часто давал концерты во многих московских залах. Афиши были скромные: «Александр Вертинский. У рояля Михаил Брохес» — вот и все, никакой зазывности, тем не менее публика разбирала билеты «с бою», аплодировала бурно и долго. Но ни газеты, ни журналы Вертинского не замечали.

В антракте концерта Вертинского в Доме актера Александр Моисеевич Эскин представил меня артисту.

— Этот молодой человек из газеты «Советское искусство»,— сказал Эскин,— глядишь, и рецензию напишет.

Вертинский глянул на меня презрительно:

— Ничего вы не напишете.

— Почему же? Обязательно напишу!

— Не напишете. Я существую на правах публичного дома: все ходят, но в обществе говорить об этом не принято.

Уязвленный, я на следующий день с пафосом доказывал в редакции, что написать о Вертинском необходимо. Наш ответственный секретарь, человек флегматичный и медлительный, равнодушно проронил:

— Нельзя.

— Но почему?

— Глупый вопрос.

Этот «глупый вопрос», видимо, больно задевал и самого Вертинского.

ДАНСИНГ-ГЁРЛ *

Это бред. Это сон. Это снится...
Это прошлого сладкий дурман.
Это Юности Белая Птица,
Улетевшая в серый туман...

Вы в гимназии. Церковь. Суббота.
Хор так звонко, весенне поет...
Вы уже влюблены, и кого-то
Ваше сердце взволнованно ждет.

И когда золотые лампады
Кто-то гасит усталой рукой,
От высокой церковной ограды
Он один провожает домой.

И весной и любовью волнуем,
Ваши руки холодные жмет.
О, как сладко отдать поцелуям
Свой застенчивый девичий рот!

А потом у разлапистой ели,
Убежав с бокового крыльца,
С ним качаться в саду на качели —
Без конца, без конца, без конца...

Это бред! Это сон! Это снится!
Это юности сладкий обман!
Это лучшая в книге страница,
Начинавшая жизни роман!

Дни бегут все быстрей и короче,
И уже в кабаках пятый год
С иностранцами целые ночи
Вы танцуете пьяный фокстрот.

Беспокойные жадные руки
И насмешка презрительных губ,
А оркестром раздавлены,— звуки
Выползают, как змеи, из труб.
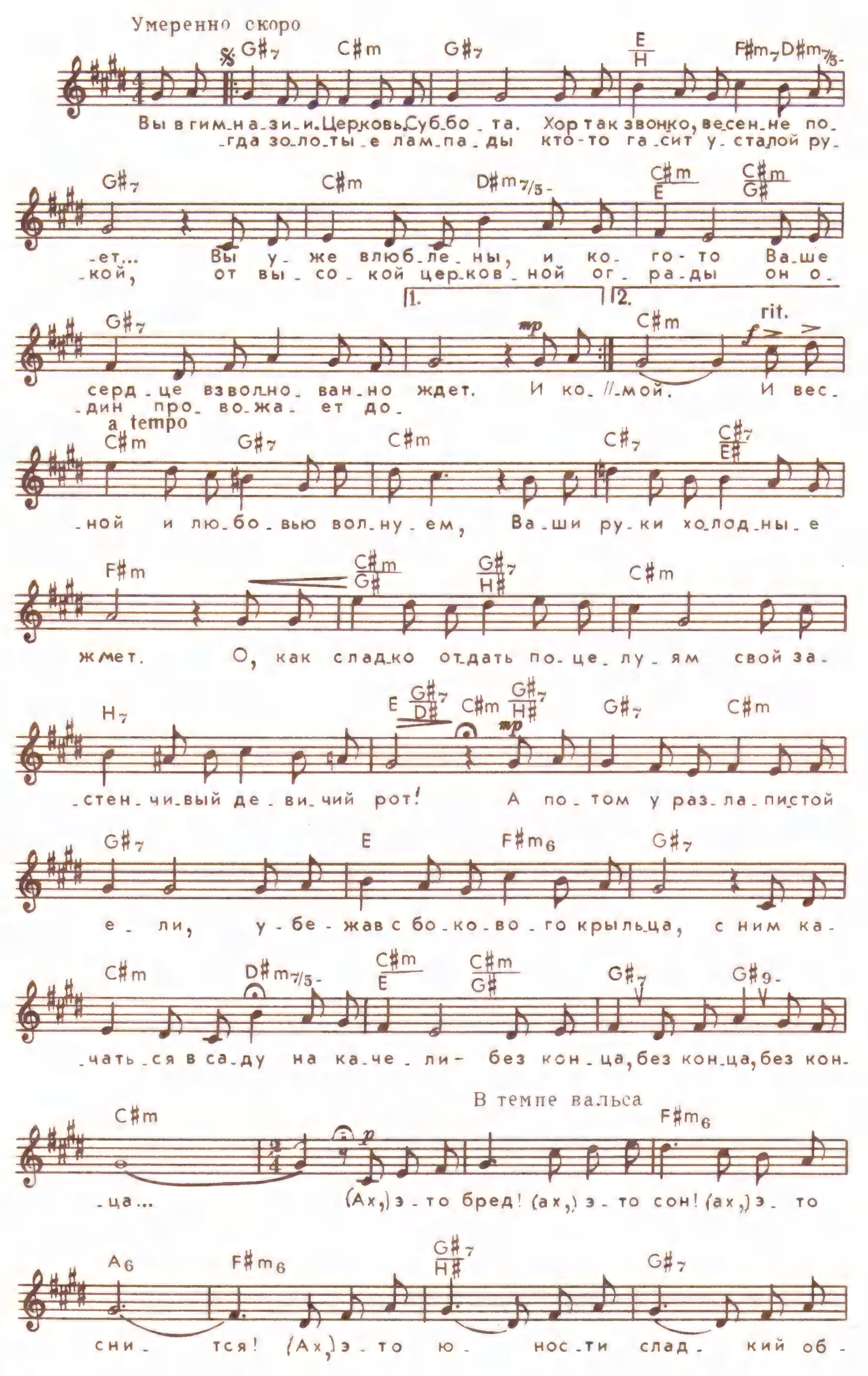
В барабан свое сердце засунуть —
Пусть его растерзает фокстрот!
О, как бешено хочется плюнуть
В этот нагло смеющийся рот!
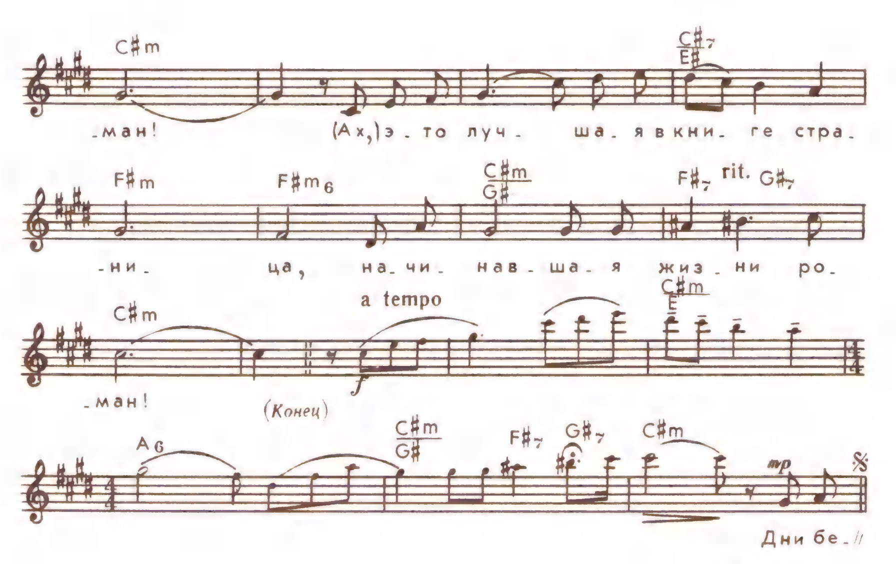
И под дикий напев людоедов,
С деревянною маской лица,
Вы качаетесь в ритме соседа
Без конца, без конца, без конца...

Это бред! Это сон! Это снится!
Это чей-то жестокий обман!
Это Вам подменили страницы
И испортили нежный роман!

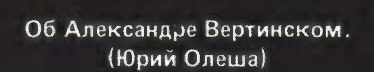
---

* Первый куплет исполняется в свободной речитативной манере.


Умеренно скоро
G♯7 C♯m G♯7 E/H F♯m7 D♯m7/5-
Вы в гим_на_зи_и. Церковь. Суб_бо _ та. Хор так звонко, ве_сен_не по_
_гда зо_ло_ты_е лам_па_ды кто-то га_сит у_ста_лой ру_
G♯7 C♯m D♯m7/5- C♯m/E C♯m/G♯
_ет... Вы у_же влюб_ле_ны, и ко_ го_то Ва_ше
_кой, от вы_со_кой цер_ков_ной о_гра_ды он о_
1. 2.
G♯7 mp C♯m rit. f
серд_це взвол_но_ ван_но ждет. И ко_ //_мой. И вес_
дин про во_жа_ ет до_
a tempo
C♯m G♯7 C♯m C♯7 C♯7/E♯
_ной и лю_бо_вью вол_ну_ем, Ва_ши ру_ки хо_лод_ны_е
F♯m C♯m/G♯ G♯7/H♯ C♯m
жмет. О, как слад_ко от_дать по_це_лу_ям свой за_
H7 E G♯7/D♯ C♯m G♯7/H♯ mp G♯7 C♯m
_стен_чи_вый де_ви_чий рот! А по_том у раз_ла_пи_стой
G♯7 E F♯m6 G♯7
е_ ли, у_бе_жав с бо_ко_во_го крыль_ца, с ним ка_
C♯m D♯m7/5- C♯m/E C♯m/G♯ G♯7 G♯9-
_чать_ся в са_ду на ка_че_ли _ без кон_ца, без кон_ца, без кон_
В темпе вальса
C♯m p F♯m6
_ца... (Ах,) э_то бред! (ах,) э_то сон! (ах,) э_ то
A6 F♯m6 G♯7/H♯ G♯7
сни_ тся! (Ах,) э_то ю_ нос_ти слад_ кий об_



А. Вертинский с В. Марецкой и А. Качаловым. Москва, ЦДРИ, конец 40-х годов





Матросы



Юрий ОЛЕША

Я его увидел впервые в Одессе, когда он был уже имеющим известность артистом, а я еще только едва окончил гимназию. Меня потрясло его выступление в виде Пьеро, только не в белом, а в черном балахоне, в свете лиловатого, направленного снизу прожектора. Сперва между створок темного занавеса появилась рука, потом вышел сам Пьеро. Он пел то, что называл «ариетками Пьеро» — маленькие не то песенки, не то романсы: вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это бывает в песенке или в романсе; «ариетки» Вертинского оставались все же стихотворениями на отдаленном фоне мелодии. Это было оригинально и производило впечатление. Вертинский пел тогда о городе — о том его образе, который интересовал богему: об изломанных отношениях между мужчиной и женщиной, о пороке, о преданности наркотикам... Он отдавал дань моде, отражал те настроения, которые влияли в ту эпоху даже на серьезных деятелей искусства.

Безусловно, Вертинский уже тогда показал себя очень талантливым человеком. Успех у публики он имел огромный.

Затем Вертинский оказался в эмиграции — жил в Париже и Шанхае, оставаясь артистом в прежнем своем жанре исполнителя стихотворений-песенок. Но теперь он пел о покинутой родине, о тоске по ней. Он принадлежал к тем эмигрантам, которые жили мечтой о возвращении, которых волновал образ изменившейся, ставшей другой и, как они понимали, более прекрасной родины. Младший по рангу, он все же стоял в ряду таких эмигрантов, как Рахманинов, Алексей Толстой, позже — Шаляпин и Бунин.

Теперь темой Вертинского стало слово «домой»... Гастролируя в тогдашней буржуазной Румынии, может быть, в Аккермане,— он смотрит на соседнюю, совсем близкую русскую землю, с грустью и любовью называет ее «горькой» и, захваченный тоской по Родине, воспоминаниями о прошлой жизни в России, создает великолепные строки о двух ласточках, которые как две гимназистки провожают его на концерт.

Александр Вертинский вернулся на родину, стал советским артистом, стремясь к тому, чтобы соединить своей жанр с современными советскими темами. Успех и у советского зрителя он имел большой. Он стал работать в качестве артиста кино.

Я хочу вспомнить здесь мнение о нем Владимира Маяковского, не оставшееся у меня в памяти в точности, но сводившееся к тому, что он, Маяковский, очень высоко ставит творчество Вертинского. Я не был знаком с Вертинским — все собирался познакомиться и сообщить ему мнение Маяковского, но так и не познакомился и не сообщил. Пусть это мнение станет известным теперь друзьям, товарищам по работе и поклонникам артиста. Похвала сурового судьи Маяковского не пустяк — она может идти первой строчкой в эпитафии любому деятелю искусства.

Вертинский, кажется мне, несмотря на свои, как говорится, срывы, был крупной фигурой русского искусства и, кроме того, неповторимой...

Меня поставили в почетный караул в головах по левую сторону. Лежавший в гробу уходил от меня вдаль всей длиннотой черного пиджака и черных штанов. Из лица я видел только желтый крючок носа, направленный туда же вдаль, в длину и, видимый мне сверху, так как мертвый лежал, а я над ним, вернее над его началом, стоял.

В глазах у меня от напряженного и, хочешь не хочешь, многозначительного стояния было розово, и все силы моей души были направлены в ожидание конца моей смены караула. Что касается физического моего поведения, то, кроме стояния, я еще был занят тем, что поглядывал на крючок носа и черную длинноту тела. Еще я посматривал в конец зала на входящих. Кое-где на мертвом лежали цветы, например, белая молодая роза со стрельчатыми и еще не вошедшими в возраст лепестками.

Так окончилось пребывание в моей жизни Вертинского, начавшееся очень давно и длившееся почти всю жизнь.

Я долго равнял свою жизнь по жизни Вертинского. Он казался мне образцом личности, действующей в искусстве. Поэт, странно поющий свои стихи, весь в словах и образах горькой любви, ни на кого не похожий, небывалый, вызывающий зависть. Я познакомился с ним в редакции какого-то одесского журнальчика, куда он вошел, наклоняясь в дверях, очень высокий, в сером костюме, с круглой, казавшейся плешивой головой, какой-то не такой, каким, казалось, он должен был оказаться. Он познакомился со всеми, в том числе и со мной, но не увидел меня. С тех пор знакомство в течение всей жизни не стало короче. Я об этом жалею. Он был для меня явлением искусства, характер которого я не могу определить, но которое для меня милее других, — искусства странного, фантастического.

МАТРОСЫ
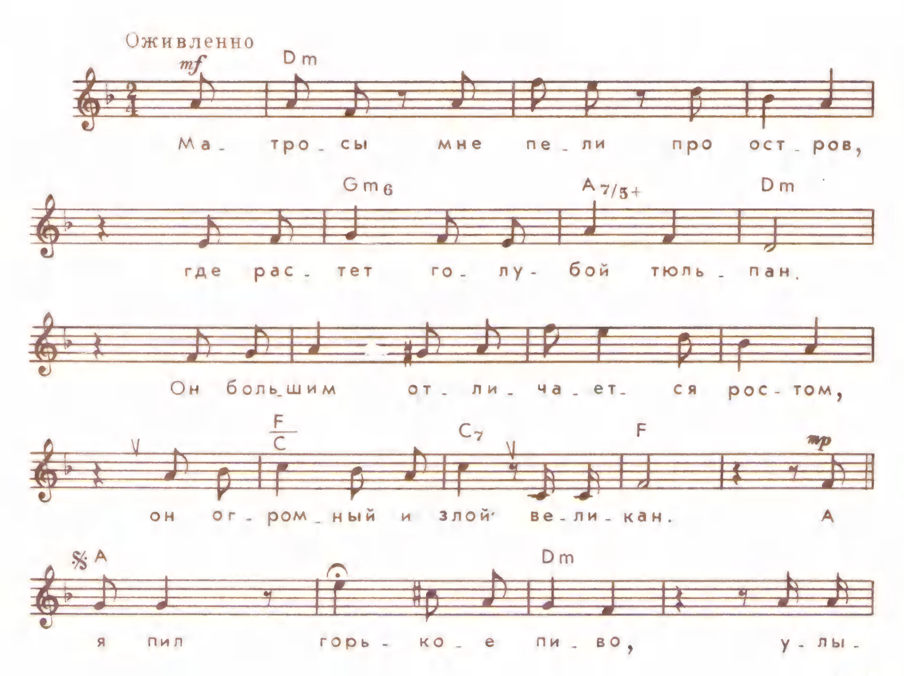
Стихи В. Даева
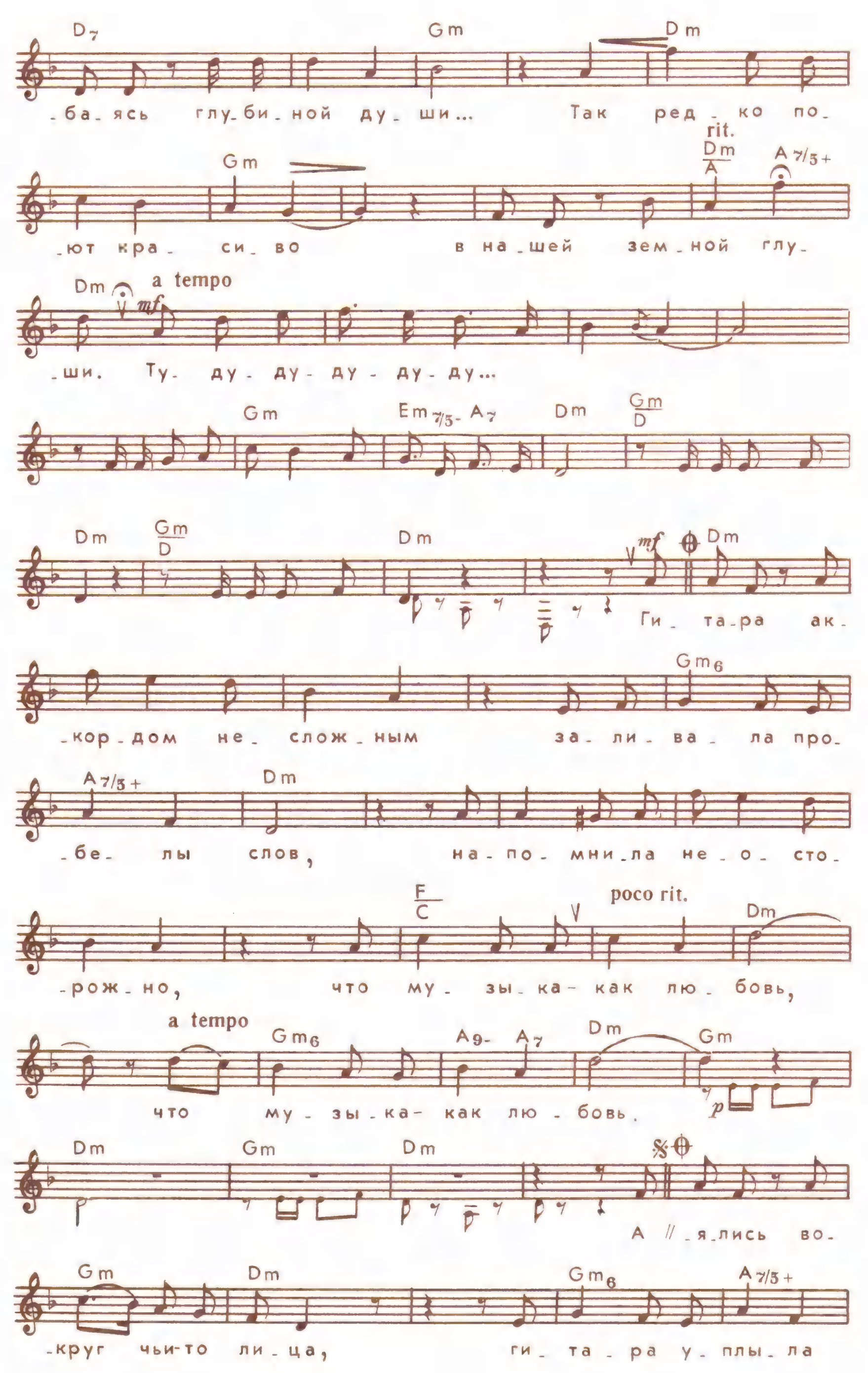
Матросы мне пели про остров,
Где растет голубой тюльпан.
Он большим отличается ростом,
Он огромный и злой великан.
    А я пил горькое пиво,
    Улыбаясь глубиной души...
    Так редко поют красиво
    В нашей земной глуши.
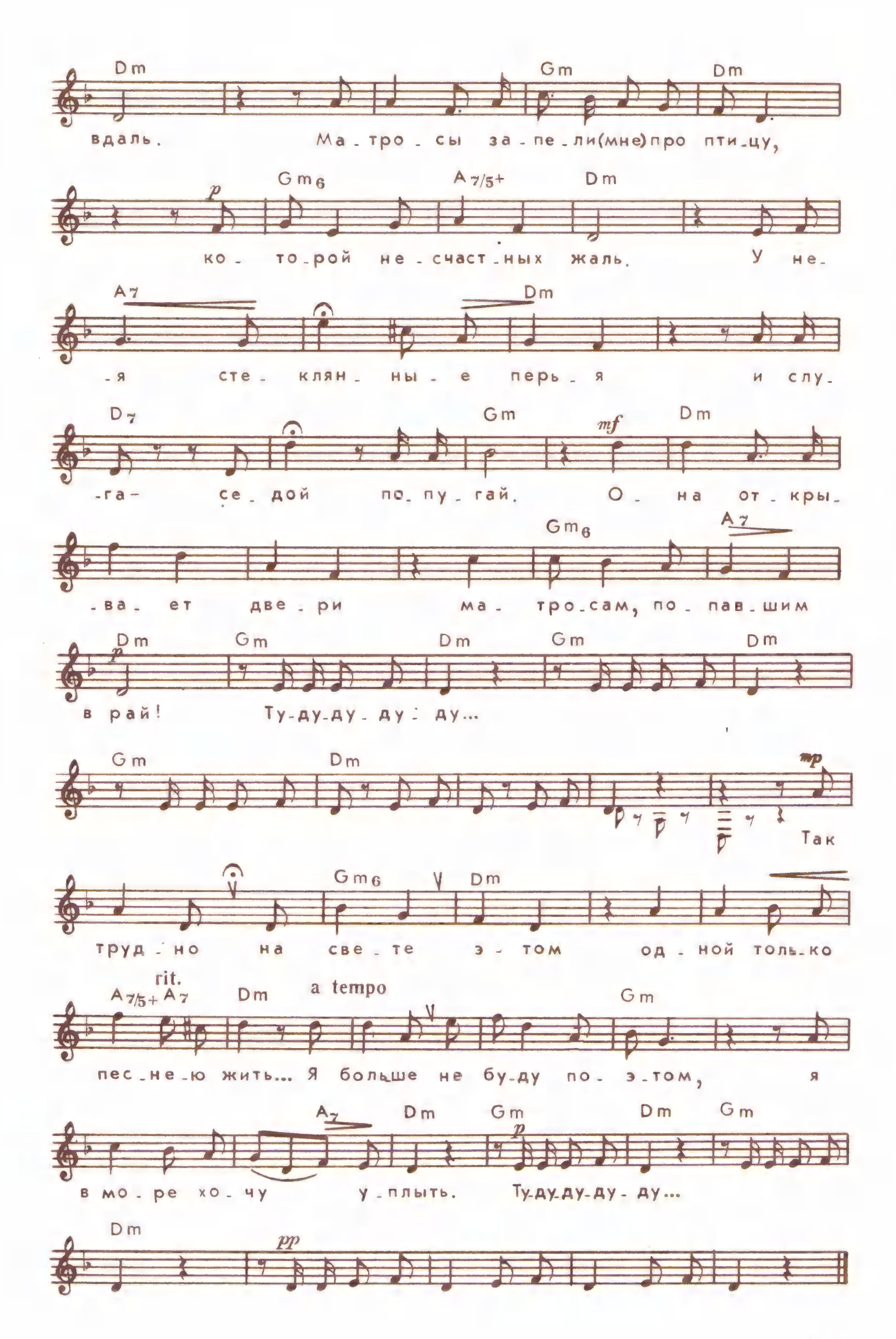
Гитара аккордом несложным
Заливала пробелы слов,
Напомнила неосторожно,
Что музыка — как любовь.
А я пил горькое пиво,
Улыбаясь глубиной души...
Так редко поют красиво
В нашей земной глуши.

Смеялись вокруг чьи-то лица,
Гитара уплыла вдаль.
Матросы запели про птицу,
Которой несчастных жаль.
У нее стеклянные перья
И слуга — седой попугай.
Она открывает двери
Матросам, попавшим в рай!

Так трудно на свете этом
Одной только песнею жить...
Я больше не буду поэтом,
Я в море хочу уплыть.

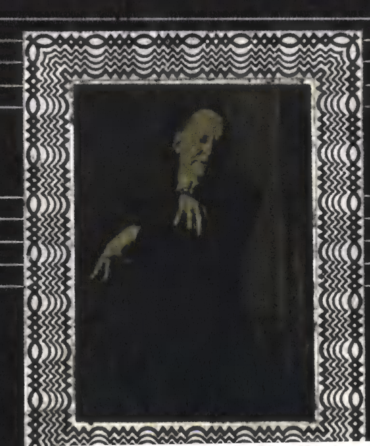



D7 Gm Dm
-ба-ясь глу-би-ной ду-ши... Так ред-ко по-
rit.
Gm Dm/A A7/5+
-ют кра-си-во в на-шей зем-ной глу-
Dm a tempo
-ши. Ту-ду-ду-ду-ду-ду...
Gm Em7/5- A7 Dm Gm/D
Dm Gm/D Dm Dm
Ги-та-ра ак-
Gm6
-кор-дом не-слож-ным за-ли-ва-ла про-
A7/5+ Dm
-бе-лы слов, на-по-мни-ла не-о-сто-
F/C poco rit. Dm
-рож-но, что му-зы-ка-как лю-бовь,
a tempo
Gm6 A9- A7 Dm Gm
что му-зы-ка-как лю-бовь.
Dm Gm Dm
А // -я-лись во-
Gm Dm Gm6 A7/5+
-круг чьи-то ли-ца, ги-та-ра у-плы-ла


Dm Gm Dm
вдаль. Ма - тро - сы за - пе - ли(мне)про пти - цу,
p
Gm6 A7/5+ Dm
ко - то - рой не - счаст - ных жаль. У не-
A7 Dm
-я сте - клян - ны - е перь - я и слу-
D7 Gm Dm
mf
-га- се - дой по - пу - гай. О - на от - кры-
Gm6 A7
-ва - ет две - ри ма - тро - сам, по - пав - шим
p
Dm Gm Dm Gm Dm
в рай! Ту-ду-ду - ду - ду...
Gm Dm
mp
Так
Gm6 Dm
труд - но на све - те э - том од - ной толь - ко
rit.
A7/5+ A7 Dm
a tempo
Gm
пес - не - ю жить... Я больше не бу - ду по - э - том, я
A7 Dm Gm Dm Gm
p
в мо - ре хо - чу у - плыть. Ту-ду-ду-ду - ду...
Dm
pp

Александр Вертинский.

Письма к Жене



Киев. 21 августа 1945 г.

Дорогая жена моя Лиличка!

Вот я и в Киеве. Не могу тебе описать то чувство, которое охватило меня при въезде в этот город моего детства и юности. Изменился он мало и, кроме неузнаваемого, разрушенного до ужаса Крещатика — во всем остальном он остался таким, каким я его запомнил на всю жизнь. Только стал старше немного. Деревья выросли выше и гуще, и оттого он стал похожим на человека, у которого отросли волосы.

Приехали мы вчера в 3 часа дня — тащились по жаре в поезде 20 часов, что ужасно измучивает. Но уже вечером я не выдержал и потащил Мишку * на Крещатик. Оттуда мы прошли к Днепру, смотрели на него из Б. Купеческого сада. Он так красив, этот город, он напоминает немного Тбилиси, но только больше зелени и лучше здания. Они почти все целы.

Был во Владимирском соборе. Он цел также, но обветшал немного. Его уже реставрируют. Он был открыт. Мы вошли внутрь, я снова смотрел на его чудесную живопись и вспоминал, как семилетним мальчиком меня водила сюда Наташа, как я замирал от пенья хора и как завидовал мальчикам, прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях, и мечтал быть таким, как они, и ходить по церкви со свечами... И все на меня смотрели бы... Я уже тогда бессознательно хотел быть актером.

Мы поднялись наверх на хоры. Я показал в алтаре Божью Матерь — Нестерова, в голубом хитоне, в которую я был влюблен и носил цветы. Уверенно, ни на секунду не сбиваясь, я водил Мишку по городу, называя улицы и здания,— как по своему дому. Теперь я так сильно почувствовал свое возвращение на Родину! Если Москва была возвращением на Родину, то Киев это возвращение в отчий дом.

Сколько воспоминаний! Тут была кондитерская, где мы гимназистами воровали пирожные. Вот Купеческий сад, в который я лазил через забор. Вот 1-я гимназия, где я учился в приготовительном классе. Я повел Мишку в Ботанический сад — чудесный сад в центре города — огромный, ветвистый, где я узнавал каждую аллею. Сколько я бегал по ним!

И это только первый день. Я не хотел много ходить — у меня вечером концерт, и где? В том самом бывшем Соловцовском театре, где я был статистом и где открутил бинокль от кресла (я хотел его продать — я был вечно голоден) и откуда меня с треском выгнали! Улица, на которой стоит он, вся разрушена, но театр цел и невредим. Я вчера уже был в нем и узнал его до мелочей, как родное лицо любимого человека. Сегодня я буду стоять на его сцене и колдовать над публикой — бывший статист, теперь — Вертинский. Огромные афиши с этой фамилией — за-

* М. Б. Брохес — аккомпаниатор А. Н. Вертинского (Прим. сост.).

клеили весь город. Ажиотаж невероятный. Билетов давно уже нет, а все хотят слышать. Администрация замучена и говорят: что вы с нами сделали! Нам не дают жить! Лучше бы вы не приезжали!

У меня чистый двойной номер в Интуристе. Кормят скромно, но ничего. Балкон и окна выходят на Фундуклеевскую улицу, которую я знаю всю наизусть. Завтра я пойду искать дом в колонии за вокзалом, где я жил у тетки. Подумай, сколько раз я видел во сне этот город и этот дом, и теперь я наконец увижу его наяву!

Да, Пекочка, много-много на меня нахлынуло от этого приезда. Писем в Филармонии от тебя нет. Не дошли еще. Но я получу. Пиши мне, когда пойдешь к доктору и что он скажет. Пока целую тебя крепко и любимых маленьких доченек. Привет маме.

Саша.

НАШИ ВСТРЕЧИ

Стихи В. Кривича

Наши встречи — минуты,
Наши встречи случайны,
Но я жду их, люблю их,
А ты?
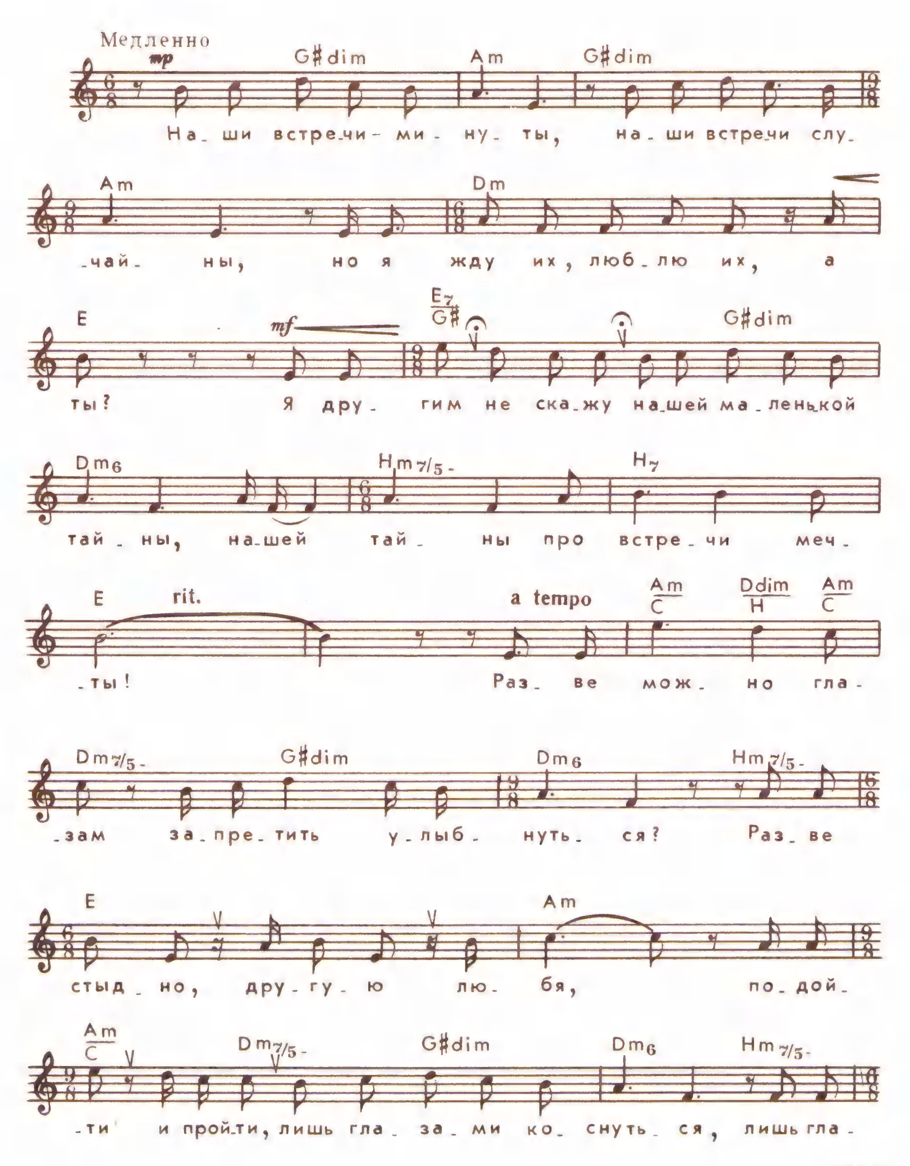
Я другим не скажу
Нашей маленькой тайны,
Нашей тайны
Про встречи мечты!
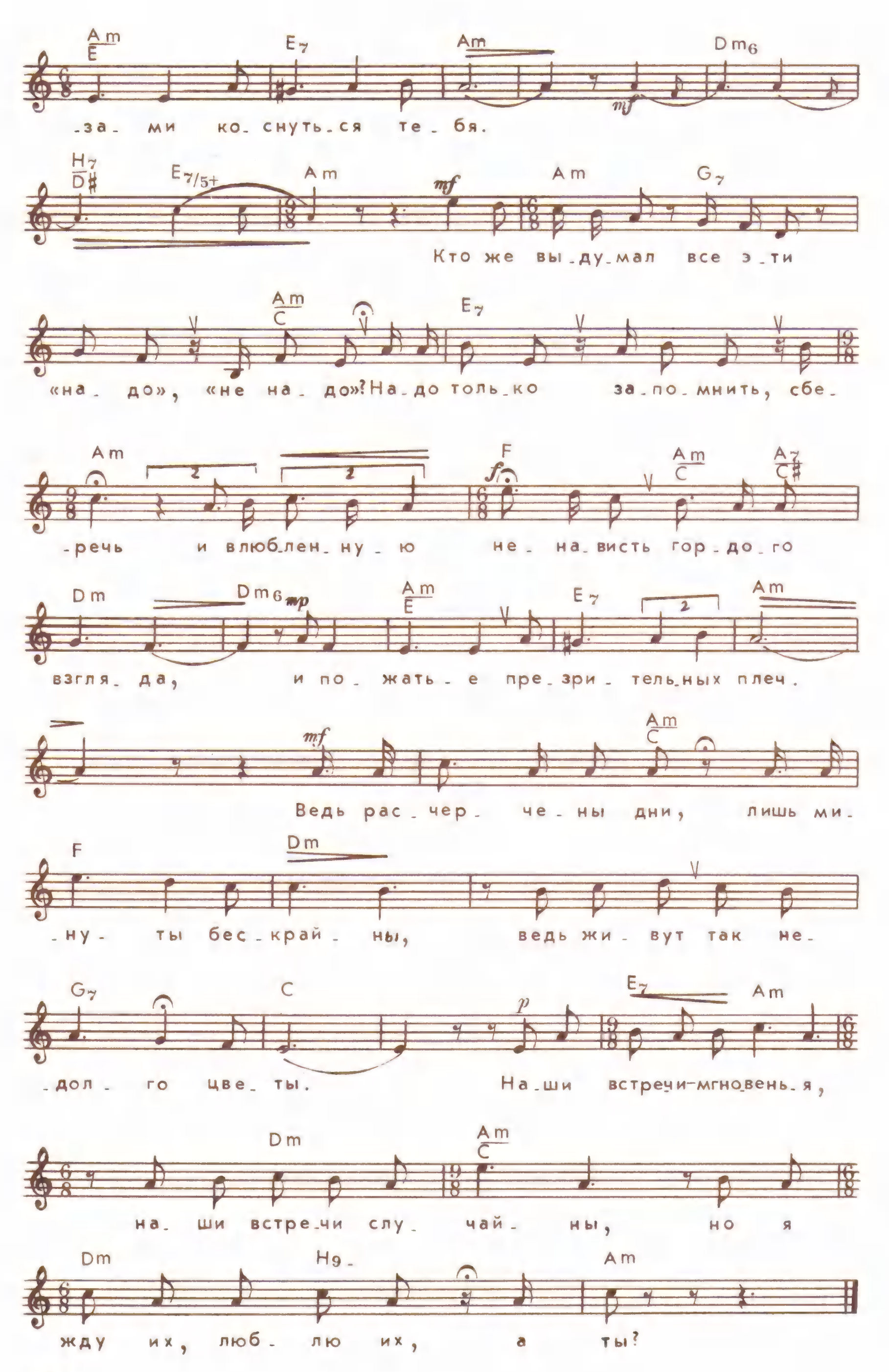
Разве можно глазам запретить улыбнуться,
Разве стыдно, другую любя,
Подойти и пройти, лишь глазами коснуться,
Лишь глазами коснуться тебя.

Кто же выдумал все эти «надо», «не надо»?
Надо только запомнить, сберечь
И влюбленную ненависть гордого взгляда,
И пожатье презрительных плеч.

Ведь расчерчены дни,
Лишь минуты бескрайны,
Ведь живут
Так недолго цветы.

Наши встречи — мгновенья,
Наши встречи случайны,
Но я жду их, люблю их,
А ты?




Am/E E7 Am Dm6
-за- ми ко-снуть-ся те-бя.
H7/D# E7/5+ Am Am G7
mf
Кто же вы-ду-мал все э-ти
Am/C E7
«на-до», «не на-до»? На-до толь-ко за-по-мнить, сбе-
Am F Am/C A7/C#
f
-речь и влюблен-ну-ю не-на-висть гор-до-го
Dm Dm6 Am/E E7 Am
mp
взгля-да, и по-жать-е пре-зри-тель-ных плеч.
Am/C
mf
Ведь рас-чер-че-ны дни, лишь ми-
F Dm
-ну-ты бес-край-ны, ведь жи-вут так не-
G7 C E7 Am
p
-дол-го цве-ты. На-ши встречи-мгновень-я,
Dm Am/C
на-ши встре-чи слу-чай-ны, но я
Dm H9 Am
жду их, люб-лю их, а ты?

Нальчик. 4 сентября 1948 г.

Дорогая Лиличка!

Сегодня в 2 ч. дня, закончив вчера гастроли в Орджоникидзе, сел в У-двашку и через 50 минут опустился в Нальчике. Я не хотел лететь в У-двашке, потому что болтает на ней ужасно, но потом подумал, сколько надо переться поездом, потом пересадка, а потом еще 2 часа машиной… и полетел. На мое счастье погода внезапно похорошела и меня даже не качнуло ни разу. Вот я и в Нальчике. Городок обычный. Гостиница неважная, но у меня номер чистый и есть вода. Самое главное. /…/

Я чувствую себя совсем неплохо и работаю без особого напряжения. Моя печень, очевидно, поправилась от овощей, которые я стараюсь есть все время. Я живу в поездке, как в деревне. Ничего не знаю. Сегодня, наконец, прочел «Правду» с описанием похорон бедного Василия Ивановича *. /…/ Эта смерть произвела на меня очень сильное впечатление. Я вспоминаю его последний творческий вечер в ЦДРИ. Помнишь, когда он вышел, вся публика встала? Потом я был у него. Он был грустный и усталый. И больной, как Шаляпин. Уходят мои учителя и кумиры моей юности… Будут ли еще когда-нибудь такие гиганты актеры? Едва ли. Это уходит созвездие актеров до моей эпохи, а следующее уже мое… Да…

Ну, не будем предаваться грустным мыслям, будем верить, что Бог даст мне еще увидеть своих внучат! Пока все хорошо. Я очень бодро настроен. /…/ Сегодня, на мое счастье, в номере у меня есть радио. Я пишу письмо тебе и слушаю хор Свешникова и мне кажется, что я в Москве и мы с тобой сидим в зале Чайковского на их концерте. В Кисловодске, наконец, прочту твои письма. Ну пока, целую тебя крепочко и доченек любимых, да хранит Вас Бог.

Твой Саша.

---

* В. И. Качалов (Прим. сост.).

ТЕМНЕЕТ ДОРОГА
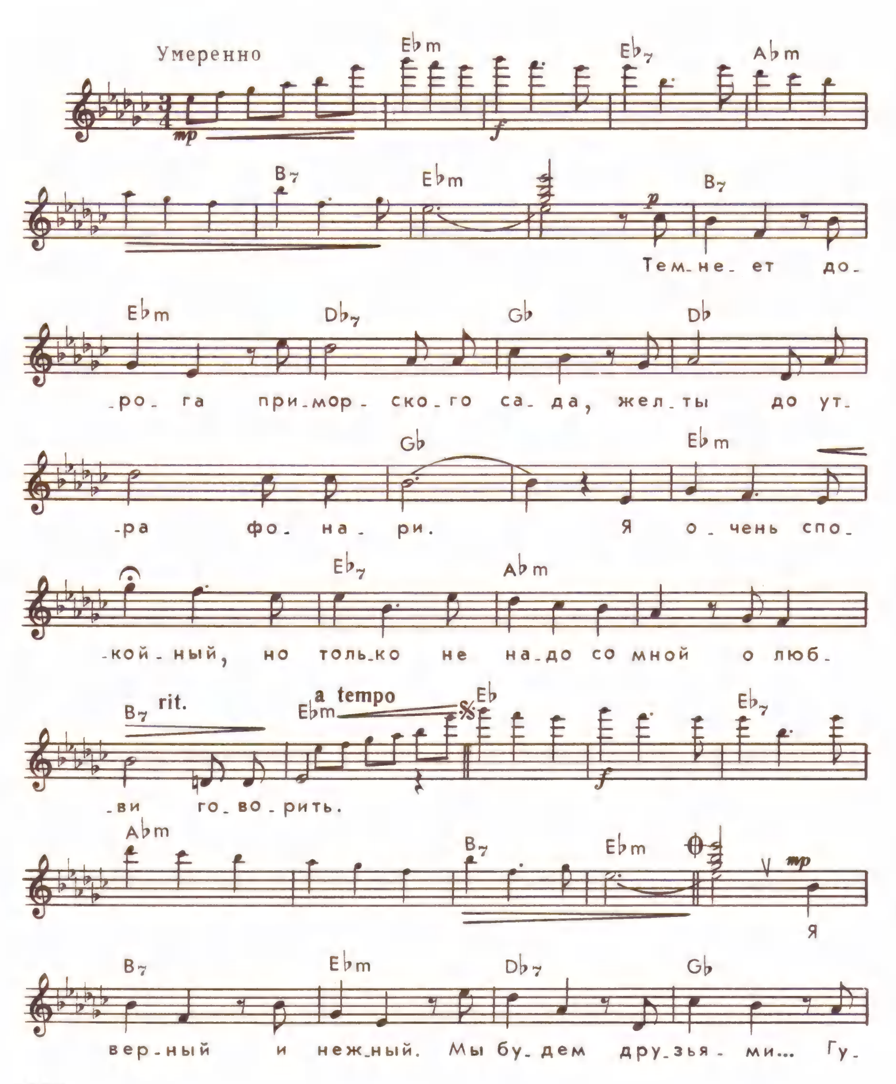
Стихи А. Ахматовой
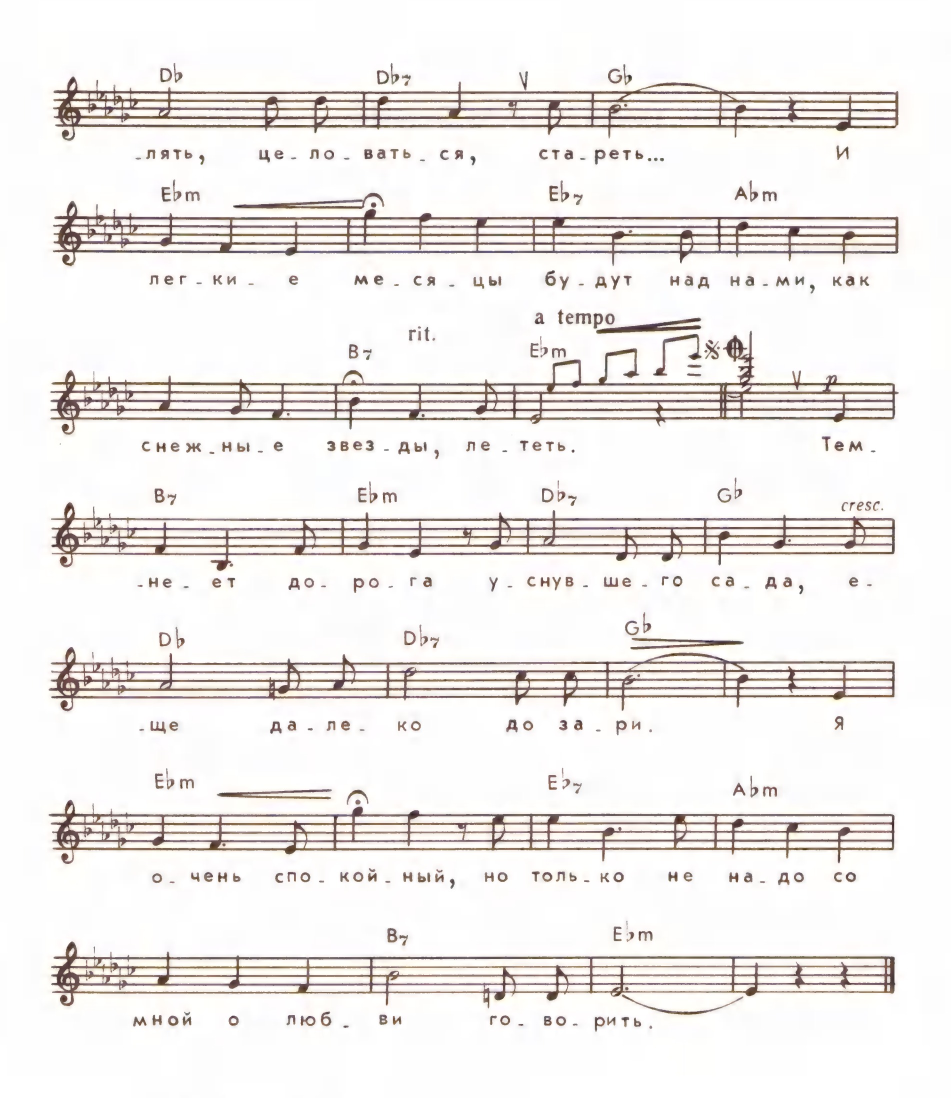
Темнеет дорога приморского сада,
Желты до утра фонари.
Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить.

Я верный и нежный. Мы будем друзьями…
Гулять, целоваться, стареть…

И легкие месяцы будут над нами,
Как снежные звезды, лететь.

Темнеет дорога уснувшего сада,
Еще далеко до зари.
Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить.





Хабаровск. 1950 г.

Дорогая Пекочка!

У меня паршивое настроение. Голос устал. Я переутомлен и сегодня еле допел концерт. Надо сделать перерыв. Я боюсь этого проклятого Сахалина. А вдруг я окончательно потеряю там голос? Там холод. Но послезавтра утром я лечу и вечером уже должен петь. Завтра пойду к горловому врачу. Пусть посмотрит: что-то с горлом неладно. Я еле пою.

Я все мучаюсь со своим «творчеством». Чехов говорит:

«Писать надо не то, что есть,и не то, что «надо», а то, о чем мечтаешь»!

То, что есть, — неинтересно. То, что «должно», — я не умею. А то, о чем я «мечтаю», — писать нельзя!

Вот и ясно. Вывод напрашивается сам собой. Надо бросать эти мучения. Надо переходить в кино. Там все. И то, что «есть», и то, что «надо», и то, о чем мечтаешь!

Петь тут трудно. На 80% — публика сидит железная. Не знают, «с чем это кушают», и выжидающе молчит. Потом, к самому концу, расходятся и начинают неистовствовать. Но концерт уже кончен. И у меня — пустота и неудовлетворенность, ибо половина меня «не дошла». Я имею успех и даже огромный, но не за то, что следует, а за ерунду вроде «Без женщин». Все проходит хорошо, но удовлетворения нет.

Я все время один. Никого нет. Мне очень скучно и грустно, и я думаю только о своем доме и моих «писенятах». Я не жалуюсь. Я еду и поеду еще дальше — и на Сахалин, и в Магадан. Но скучаю по вас очень. Нет, положительно я ничем не могу помочь себе в своем «искусстве». Надо менять профессию. Я, конечно, еще попою несколько лет. Я еще использую свое «имя» для денег, чтоб оставить что-нибудь детям. Но это «дело» надо бросать. Я не ко двору. Это ясно. И ничего «нужного» я из себя выжать не могу! Иванов * тоже говорит, что «писать как надо» я не должен. Это у меня не выйдет. Лучше переходить в кино.

Ну прости меня за дурное настроение. Спокойной ночи или доброго утра (как придет письмо). Целую тебя и моих красавиц дочерей.

Саша.

---

* Всеволод Никанорович Иванов — писатель, в то время проживал в Хабаровске (Прим. сост.).

Сталино. 11-е июля 1953 г.

Дорогая Пекочка!

Наконец закончил Сталино. Это настоящий ад. Раскаленный город. Зелени нет, одни чахлые акации, дует ветер — горячий, обжигающий, как сирокко в Африке. Вчера шли на машине 90 км — в Артемовск. Как в душегубке. Я молчал и терпел как всегда. Все равно ничему не поможешь. Слава Богу — театр оказался каменным. Вымылся холодной водой, отдохнул полчаса до концерта и пел. Хорошо принимали. Там много интеллигенции, работающей на шахтах. Молодежи тоже. Особенный восторг их неуклонно вызывает «Ворчливая». Назад ехать было уже прохладнее. Вернулся в гостиницу во 2 часу ночи. Жара в номере страшная. Я разделся догола и голый ужинал один —

Мы пригласили тишину
На наш г о л о д н ы й ужин.

Сталино — закончено. Завтра в 5 ч. утра сажусь в самолет и улетаю в Харьков. Надеюсь, там будет легче. По радио передавали, что там 30° в тени. Это много, конечно, но, может быть, спадет жара? Я уклонился от Средней Азии из-за температуры, а Среднюю Азию получил здесь, на Украине.

Что ты скажешь о последних событиях в Москве? Я рано проснулся, открыл радио и долго не мог понять, кого это так «кроют»? Думал, какого-нибудь однофамильца, или я плохо разбираю фамилию? Наконец я понял все! Мороз у меня пошел по коже! Ну и люди, ну и времена! Ушам своим не веришь! Оказывается, он хотел раздать Грузию на княжества! Каково? Восстановить капитализм и стать диктатором на место Сталина! Не вышло! Спасла нас бдительность Партии. Теперь чистка пойдет. Страшное времячко!..

Допишу письмо и начну складываться от нечего делать. Сейчас утро и день будет такой же горячий, как вчера. Ну, целую тебя крепко и моих обожаемых «мунечек-пуничек». Не скучайте!

Саша.



Венчание. А. Вертинского с Л. Циргвава (Л. Вертинской). Шанхай, 26 апреля 1942 года

СТАРОМОДНЫЙ РОМАНС
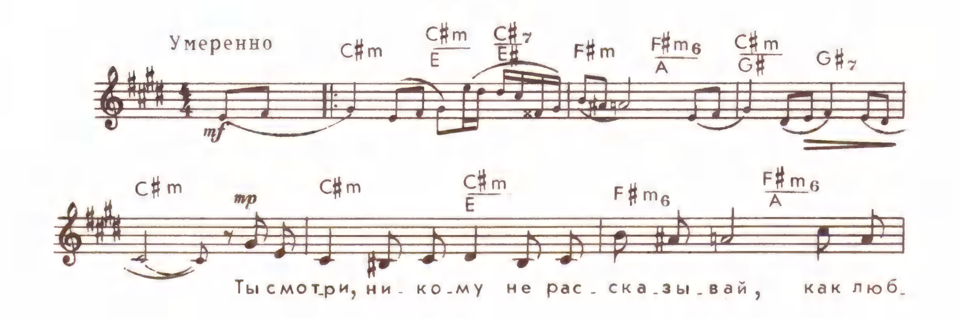
По стихам неизвестного автора
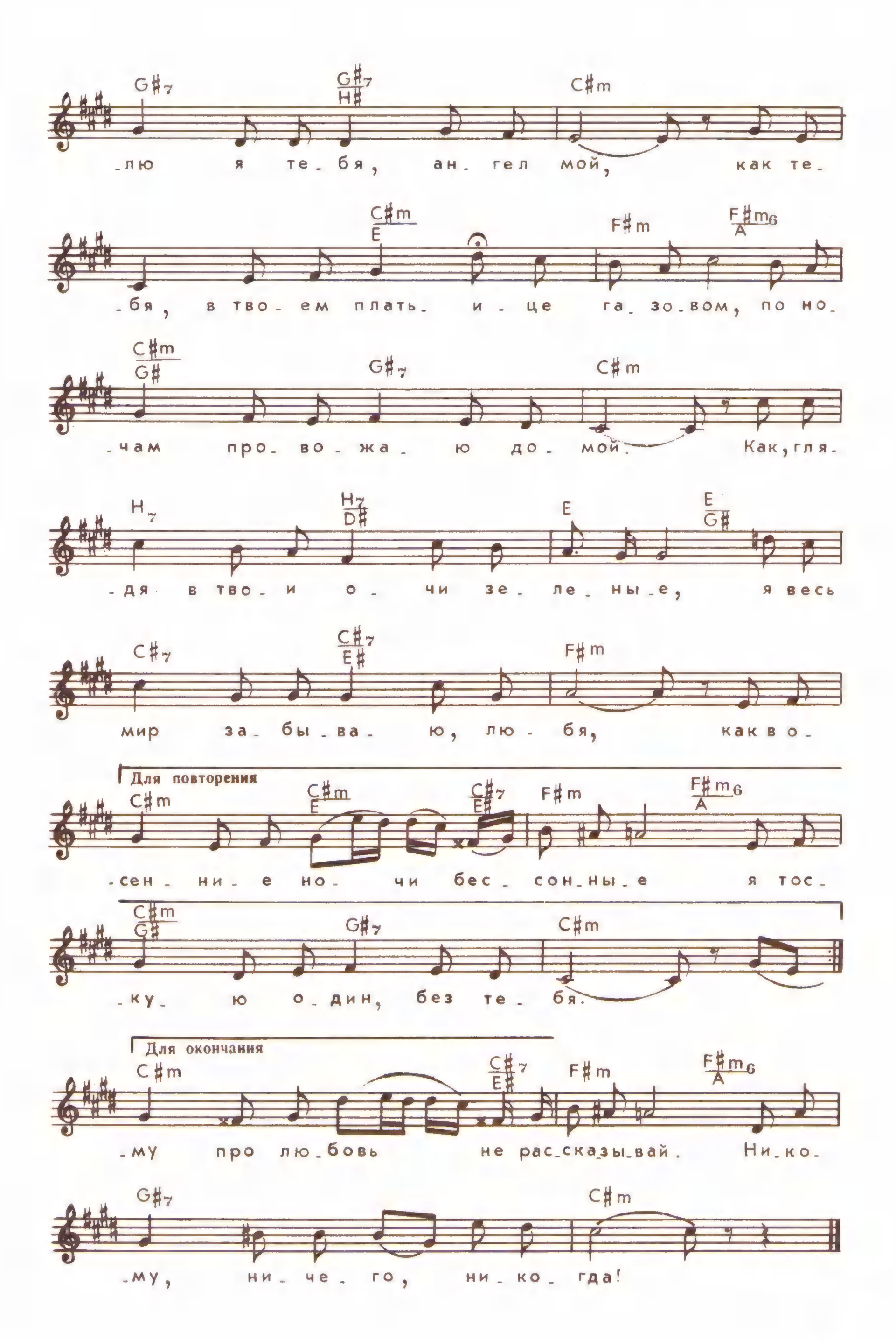
Л. В.

Ты смотри, никому не рассказывай,
Как люблю я тебя, ангел мой,
Как тебя, в твоем платьице газовом,
По ночам провожаю домой.
Как, глядя в твои очи зеленые,
Я весь мир забываю, любя,
Как в осенние ночи бессонные
Я тоскую один, без тебя.

Никогда мы уже не расстанемся,
Нас никто не разлучит с тобой.
Только в сердце навеки останется
Эта память о злобе людской.
Только людям молчи, что ты нежная,
Что ты любишь меня одного,
Что из нашего счастья безбрежного
Не отнимут они ничего.

Все пройдет, как проходит ненастие,
Будут радости полны года,
Мы с тобой сохраним наше счастие
Знай: любовь побеждает всегда.
Будь спокойна, моя ясноглазая.
Об одном только помни всегда:
Никому про любовь не рассказывай.
Никому, ничего, никогда!




G♯7 G♯7/H♯ C♯m
-лю я те-бя, ан-гел мой, как те-
C♯m/E F♯m F♯m6/A
-бя, в тво-ем плать-и-це га-зо-вом, по но-
C♯m/G♯ G♯7 C♯m
-чам про-во-жа-ю до-мой. Как, гля-
H7 H7/D♯ E E/G♯
-дя в тво-и о-чи зе-ле-ны-е, я весь
C♯7 C♯7/E♯ F♯m
мир за-бы-ва-ю, лю-бя, как во-
Для повторения
C♯m C♯m/E C♯7/E♯ F♯m F♯m6/A
-сен-ни-е но-чи бес-сон-ны-е я тос-
C♯m/G♯ G♯7 C♯m
-ку-ю о-дин, без те-бя.
Для окончания
C♯m C♯7/E♯ F♯m F♯m6/A
-му про лю-бовь не рас-сказы-вай. Ни-ко-
G♯7 C♯m
-му, ни-че-го, ни-ко-гда!

(1954 г.) *

Я, конечно, жестоко ошибаюсь. И несправедлив до последней степени. Когда я вернулся на Родину — у меня было правильное патриотическое отношение к ней. Теперь, прожив 11 лет в Союзе, постепенно озлобляясь от тысячей мелких, обидных, несправедливых и нестерпимых мелочей быта, я утерял главное — патриотизм!

Меня раздражает действительность, но, во-первых, она есть результат очень больших и не от нас зависящих причин, причин чисто социального характера, а, во-вторых, мне, человеку воспитанному и прожившему три четверти своей жизни в более «удобных» условиях — она просто физически противопоказана. Из этого не следует, что прав я, а не наша действительность. В этих условиях изоляции и международной блокады, при отсутствии всякого общения и даже «сравнения» — мы вынуждены были создавать свою культуру, ибо ни на чью помощь, ни на чью поддержку мы не могли рассчитывать. Да и сейчас не можем. Нам пришлось начинать сызнова, то есть изобретать наново деревянный велосипед. Учиться у самих себя. /.../

Революции 37 лет. Она еще не старуха. Она еще красивая, благородная, полная огня и страсти женщина. В нее еще влюблено полмира! И мы «сидящие на Реках Вавилонских» своих эмигрантских воспоминаний и тоскующие и плачущие — вспоминая «о Сионе» — мы, конечно, слепые. Я не «тоскую о Сионе» — для этого у меня всегда хватало ума и широты диапазона мышления, но я не приемлю действительности. А это и есть моя главная ошибка. У нас многое для меня неприемлемо. У нас народ абсолютно невоспитан (а кто его воспитывал? А когда им занимались вплотную?). Кроме того, он страшен — наш народ, потому, что он одинаково способен как на подвиг, так и на преступление. Это показала война и ежедневно показывает быт, но это ни на иоту не уменьшает его величия!

Наш народ — великий народ, и из всех этих «букашек», облепивших земной шар, он единственный достойный восхищения. (...) Надо только взглянуть на него с высоты птичьего полета, а не рассматривать его из подъезда улицы Горького.

Мне, конечно, претит наша грубость, хамство, наша «авосечная» психология, где каждый думает только о своей авоське, и ему наплевать на тебя — своего ближнего, стоящего за ним, но надо помнить, что мы — рабоче-крестьянская держава, и не делать себе лишних иллюзий! В общем, надо мне проснуться! Оглянуться вокруг и ....

Или жить, как все на свете, или умереть!

---

* Место написания письма не установлено.
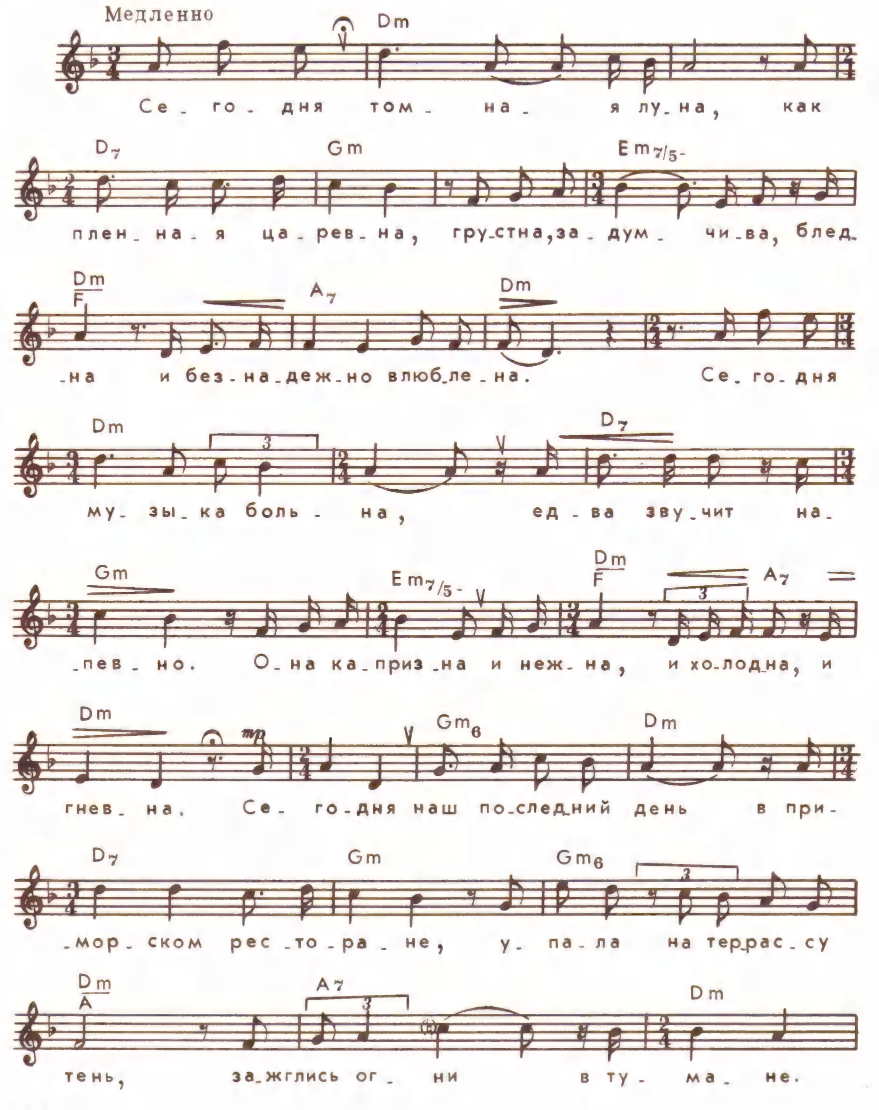
ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН
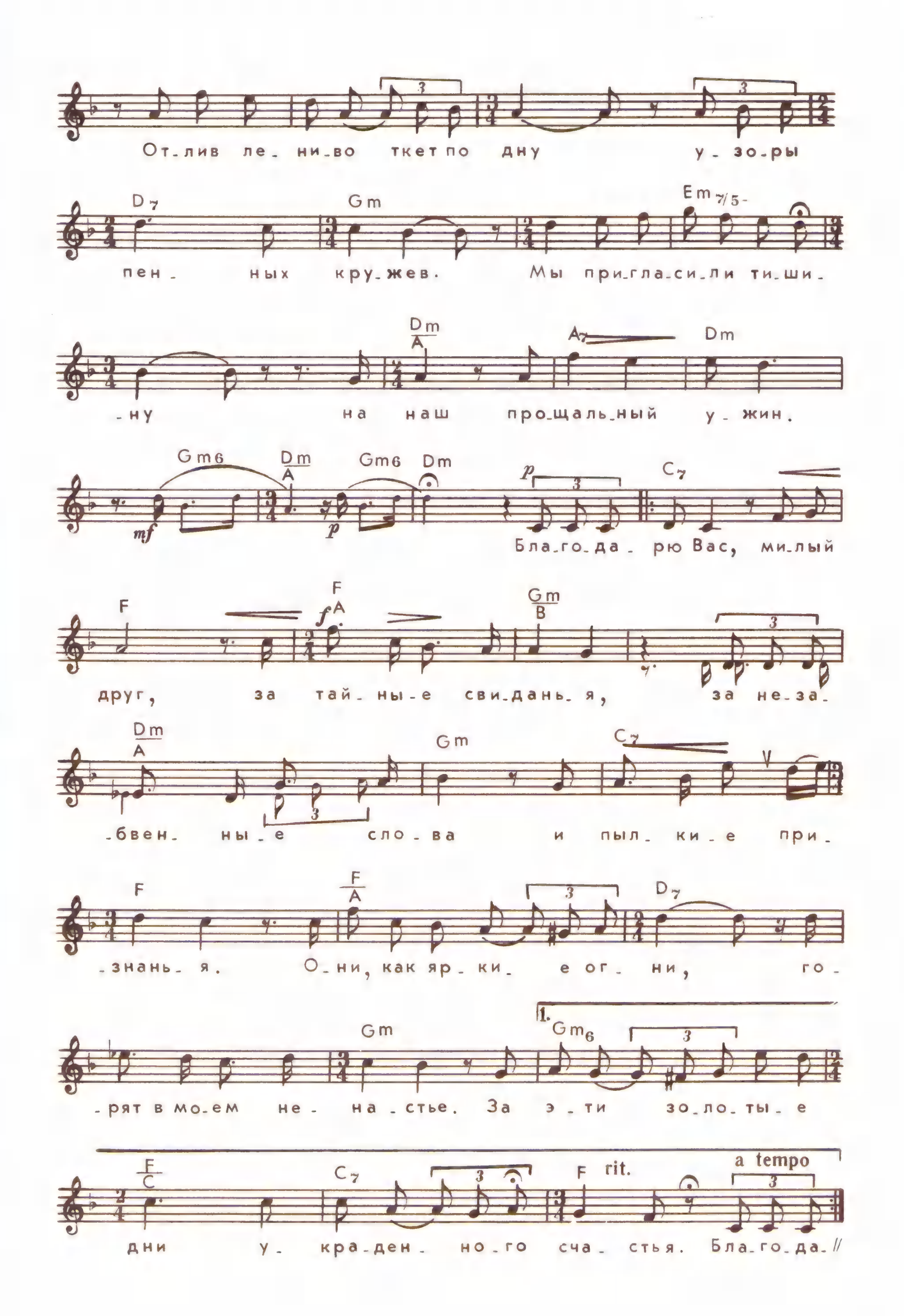
Сегодня томная луна,
Как пленная царевна,
Грустна, задумчива, бледна
И безнадежно влюблена.
Сегодня музыка больна,
Едва звучит напевно.
Она капризна и нежна,
И холодна, и гневна.
Сегодня наш последний день
В приморском ресторане,
Упала на террасу тень,
Зажглись огни в тумане...
Отлив лениво ткет по дну
Узоры пенных кружев.
Мы пригласили тишину
На наш прощальный ужин.
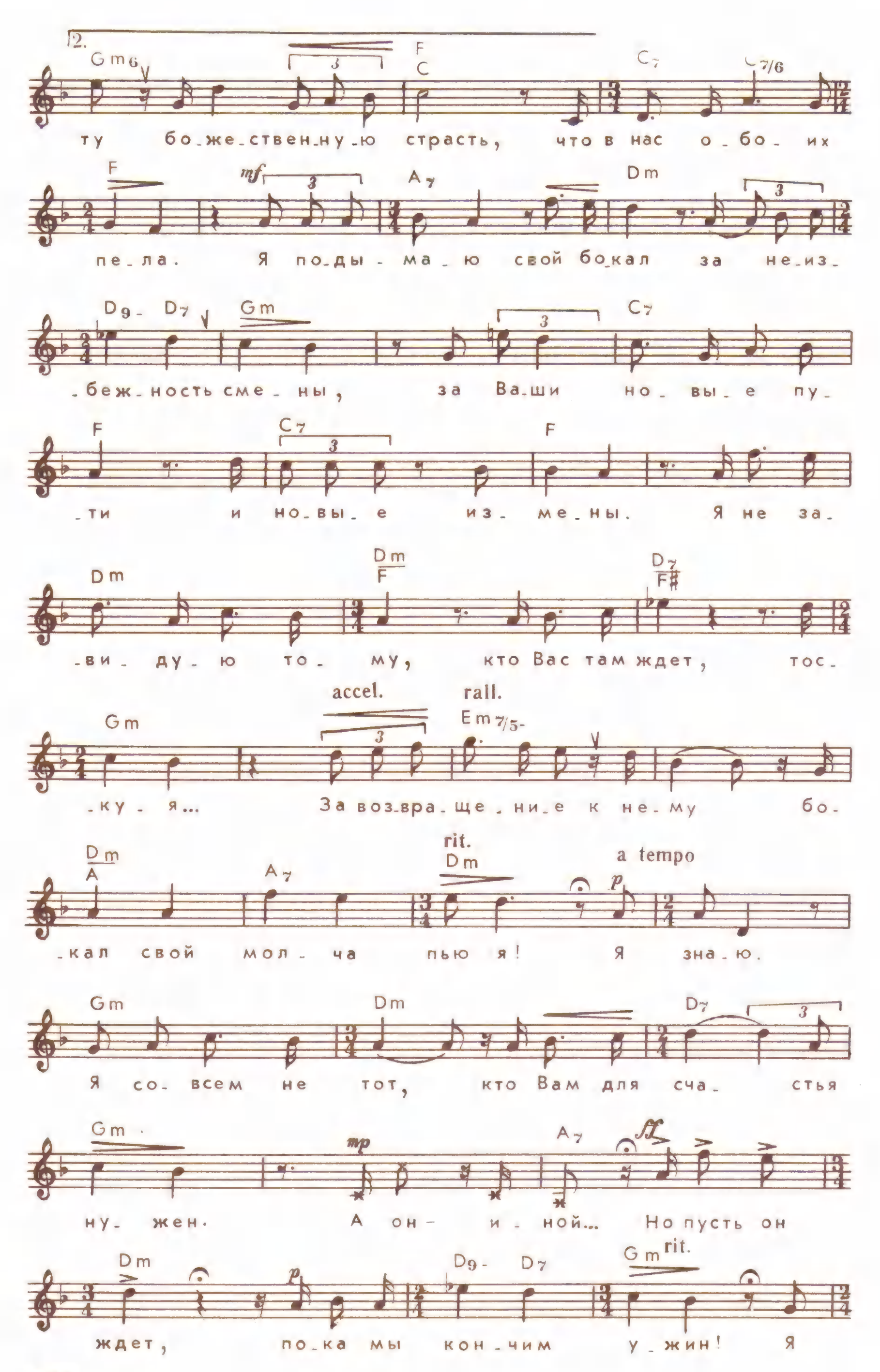
Благодарю Вас, милый друг,
За тайные свиданья,
За незабвенные слова
И пылкие признанья.
Они, как яркие огни,
Горят в моем ненастье.
За эти золотые дни
Украденного счастья.
Благодарю Вас за любовь,
Похожую на муки,
За то, что Вы мне дали вновь
Изведать боль разлуки.
За упоительную власть
Пленительного тела,
За ту божественную страсть,
Что в нас обоих пела.
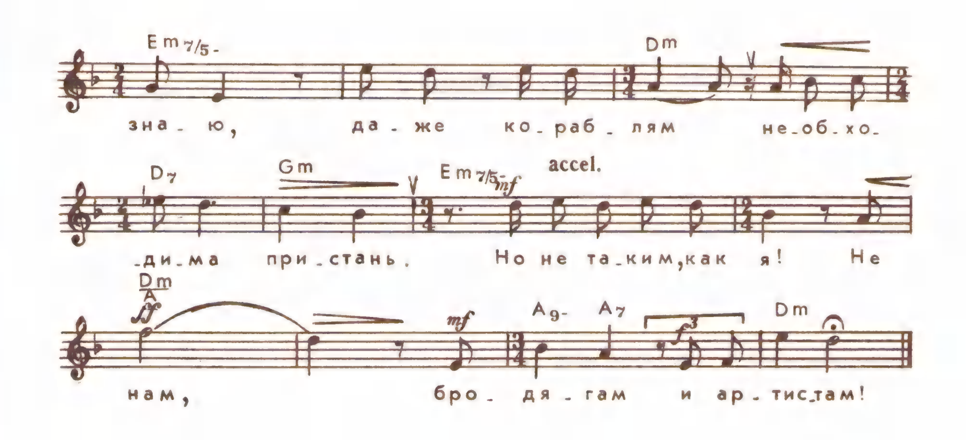
Я подымаю свой бокал
За неизбежность смены,
За Ваши новые пути
И новые измены.
Я не завидую тому,
Кто Вас там ждет, тоскуя...
За возвращение к нему
Бокал свой молча пью я!

Я знаю. Я совсем не тот,
Кто Вам для счастья нужен.
А он — иной... Но пусть он ждет,
Пока мы кончим ужин!
Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как я! Не нам,
Бродягам и артистам!




От_лив ле_ни_во ткет по дну у_зо_ры
D7 Gm Em7/5-
пен_ ных кру_жев. Мы при_гла_си_ли ти_ши_
Dm/A A7 Dm
_ну на наш про_щаль_ный у_жин.
Gm6 Dm/A Gm6 Dm C7
mf p p
Бла_го_да_ рю Вас, ми_лый
F F/A Gm/B
f
друг, за тай_ ны_е сви_дань_я, за не_за_
Dm/A Gm C7
бвен ны_е сло_ва и пыл_ ки_е при_
F F/A D7
_знань_я. О_ни, как яр_ки_ е ог_ ни, го_
Gm Gm6
1.
_рят в мо_ем не_ на_стье. За э_ти зо_ло_ты_е
F/C C7 F
rit.
a tempo
дни у_ кра_ден_ но_го сча_ стья. Бла_го_да_


2.
Gm6 F C C7 C7/6
ту бо-же-ствен-ну-ю страсть, что в нас о-бо-их
F mf A7 Dm
пе-ла. Я по-ды-ма-ю свой бо-кал за не-из-
D9- D7 Gm C7
-беж-ность сме-ны, за Ва-ши но-вы-е пу-
F C7 F
-ти и но-вы-е из-ме-ны. Я не за-
Dm Dm/F D7/F#
-ви-ду-ю то-му, кто Вас там ждет, тос-
accel. rall.
Gm Em7/5-
-ку-я... За воз-вра-ще-ни-е к не-му бо-
rit. a tempo
Dm/A A7 Dm p
-кал свой мол-ча пью я! Я зна-ю.
Gm Dm D7
Я со-всем не тот, кто Вам для сча-стья
Gm mp A7 sf
ну-жен. А он- и-ной... Но пусть он
Dm p D9- D7 Gm rit.
ждет, по-ка мы кон-чим у-жин! Я



(25 июня, 1955 г.) *

Удивительно, Лиличка, что стоит мне, вернувшись после концерта, выпить две рюмки коньяку, как меня, как алкоголика, тянет на разговор с тобой. Что это? Привычка или потребность какого-то, хотя бы приблизительного «творчества»? «Домашнего» — так сказать. На большее я не способен /пока/. Все это началось с писем к тебе в Шанхае. /Я уже писал тебе об этом./ И сейчас я думаю: а не начать ли мою будущую книгу с них? Впрочем, я не думаю, чтоб они у тебя сохранились. Абрам **, который только что послал мою телеграмму тебе, приносит квитанцию и говорит задушевным еврейским голосом: «Александр Николаевич, если завтра будет 25° тепла, как предсказывает бюро погоды, то давайте прокатимся по Каме на катере. Тут очень просят ваши поклонники — речные моряки». Чтобы не разочаровывать его, я мычу что-то неопределенное.

Бедняга, он не знает, что я давно уже разлюбил природу, музыку, искусство... Что человеку на закате суждено все разлюбить, чтобы душа его, освобожденная от всех земных привязанностей, предстала чистой, голой и свободной перед престолом Всевышнего! Впрочем — это «поза». И я не столько разлюбил все, сколько устал от «всего». Зарубежный поэт Ходасевич говорил после осмотра музеев:

Все непреложно, все — навеке.
Претит от «истин» и «мадон».
И так приятно, что в аптеке
Есть кисленький «пирамидон».

---

* Место написания письма не установлено.
** Администратор А. Н. Вертинского. Фамилия не установлена (Прим. сост.).

Впрочем, я, кажется, его «подделал». У него как-то иначе было. Впрочем, и у него «поза». Решили ехать поездом. Тут большой перевал через Уральский хребет, а трассы воздушной нет. /.../ Цены в этих городах аховые. Пообедать меньше чем за 25 рублей нельзя. Брохес прямо плачет. А теперь еще сделали идиотскую наценку в ресторанах, на водку и коньяк набавили сто процентов! Для чего? Какую цель они преследуют? Чтоб меньше пили? Но того, кто решил выпить, это не остановит. Платили же мы когда-то 800 рублей за бутылку водки на базаре в военное время. Все это отзовется только на семьях. Мужики будут пропивать половину зарплаты в кабаках, а дома семья будет жить впроголодь.

В магазинах коньяк попрятали, а в ресторанах бутылка вместо 32 рублей стоит сейчас 64 рубля. Вот и крутись как знаешь. Вечно у нас эксперименты. Запахали целинные земли, а автотранспорта не приготовили. И один миллиард пудов хлеба сгнил на месте! Не смогли вывезти. Сначала идея, энтузиазм, а потом уже реальный подход. Сумасшедшая страна!

Здесь собачий холод. Пока, после 40° жары — это приятно. Но уже начинаю потихоньку замерзать. И окончательно не знаю, что лучше, холод или жара. Брохес говорит, что холод лучше.

Ну, целую тебя, мой дорогой дружочек. Скоро увидимся, даст Бог. Твой психоватый муж
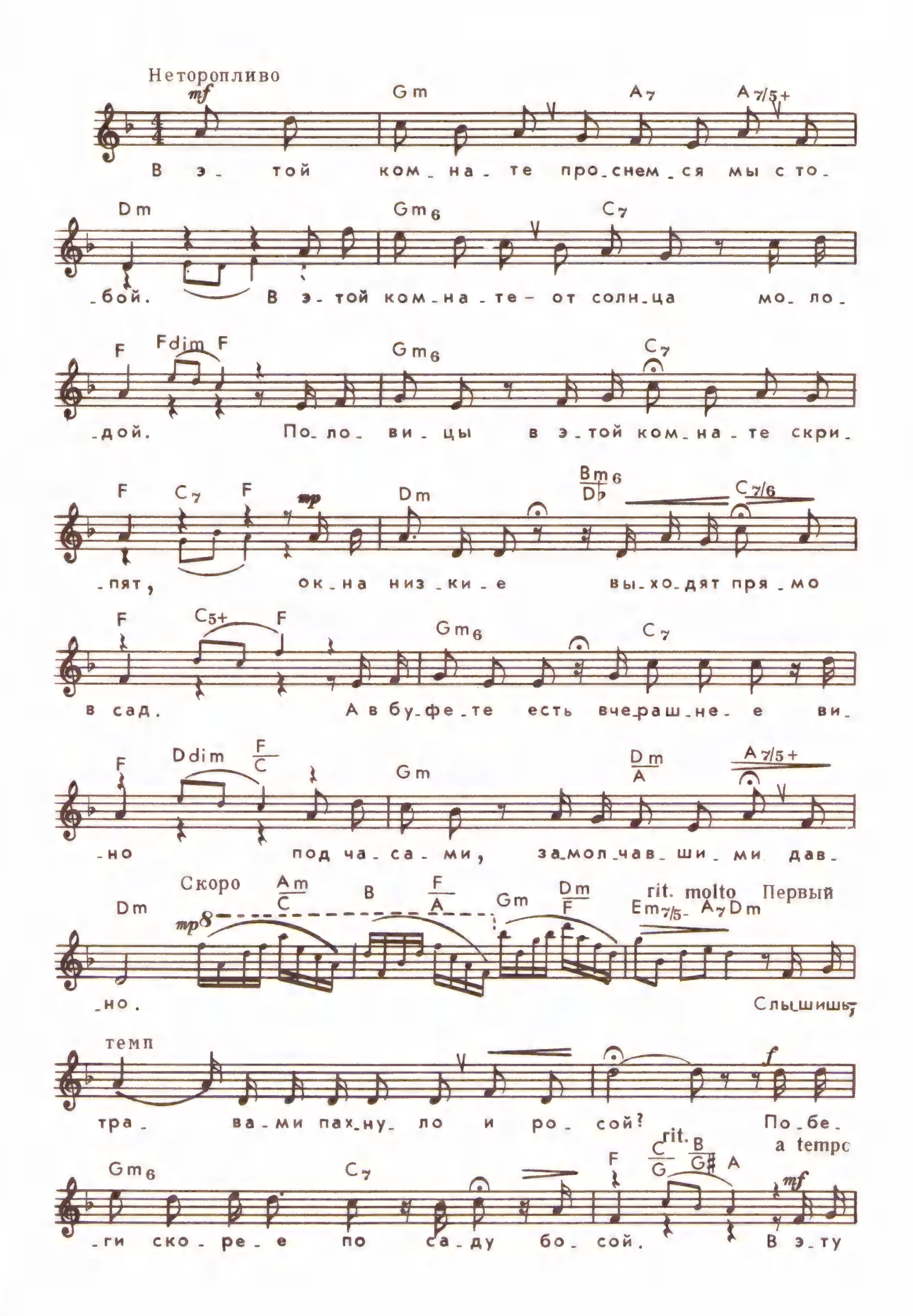
Саша.

В НАШЕЙ КОМНАТЕ

По стихам В. Рождественского

В этой комнате проснемся мы с тобой.
В этой комнате — от солнца молодой.
Половицы в этой комнате скрипят,
Окна низкие выходят прямо в сад.
А в буфете есть вчерашнее вино
Под часами, замолчавшими давно.

Слышишь, — травами пахнуло и росой?
Побеги скорее по саду босой.
В эту яблоню все сердце окуни...
Осыпаются под ветром наши дни,
Облетает захмелевшая душа,
А сама-то ты — как яблонь — хороша!


Неторопливо
mf
Gm A7 A7/5+
В э_ той ком_ на_ те про_снем_ся мы с то_
Dm Gm6 C7
бой. В э той ком_ на_ те– от солн_ца мо_ ло_
F Fdim F Gm6 C7
дой. По ло_ ви_ цы в э_ той ком_ на_ те скри_
F C7 F mp Dm Bm6/D♭ C7/6
пят, ок на низ_ ки_ е вы_ хо_ дят пря_ мо
F C5+ F Gm6 C7
в сад. А в бу_ фе_ те есть вче_раш_ не_ е ви_
F Ddim F/C Gm Dm/A A7/5+
но под ча са_ ми, за_мол_чав_ ши_ ми дав_
Скоро Dm Am/C B F/A Gm Dm/F rit. molto Первый Em7/5- A7 Dm
mp 8
_но. Слы_шишь,
темп
тра_ ва_ми пах_ну_ ло и ро_ сой? По_ бе_
f
rit. a tempo
Gm6 C7 F C/G B/G♯ A
mf
ги ско ре_ е по са_ду бо_ сой. В э_ ту

Dm Gm B/G# Dm/A

яб_ ло_ ню все серд_це о_ку_ ни... О_ сы-

Gm6 Dm/F D7/F# Gm

-па_ ют_ ся под вет_ром на_ши дни, об_ле_

Dm *f* Gm A7 B D7/A Gm *mp*

-та_ ет за_хме_лев_ша_я ду_ ша, а са_

Dm/A Gm A7 rit. Dm

ма- то ты- как яб лонь- хо_ро_ ша!



Дочери Александра Николаевича Вертинского — Марианна и Анастасия.

Иркутск, 27 марта 1956 г.

Знаешь, Лиличка, я уже понял, что единственное спасение у нас в труде. Поэтому я понимаю твое томление человека, имеющего твердую профессию и сидящего без работы. Вот за мной приходит машина в 6 ч. вечера, потому что в 9 ч. я должен петь. Я уже с пяти часов готов. Я еду, работаю, борюсь за свое право жизни и, усталый и измученный, возвращаюсь домой. Но это деятельность! Напряженная и трудная. И она дает закономерный отдых. А вот сегодня у меня «выходной» день. И я — несчастный человек! У меня нет никого, с кем бы я мог поговорить, я не умею «отдыхать» — я предоставлен самому себе и своему одиночеству, и что мне делать? Воистину это «страна труда» и больше ничего! И самое страшное в ней это — отдых! Он уже у нас никак не выходит. За что я только сегодня не хватался? И за стихи и за прозу... Ничего не выходит. И вот я кончаю тем, что, уже умиротворенный коньяком, сажусь тебе писать письмо. Ты у меня единственный друг! Больше никого нет. Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и «друзей» и понял, что никаких друзей у меня здесь нет! Были за границей, а тут — нет. Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него «авосечная», а ты — хоть сдохни — ему наплевать! В лучшем случае, они, эти друзья, придут к тебе на рюмку водки в любой момент и на панихиду в час смерти. И все. Очень тяжело жить в нашей стране. И если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился или застрелился. Ты посмотри эту историю со Сталиным. Какая катастрофа! И вот теперь на 40-м году Революции, встает дилемма — а за что же мы боролись? Все фальшиво, подло, неверно. Все борьба за власть — одного сумасшедшего маньяка! На съезде Хрущев сказал: «Почтим вставанием память 17-и миллионов человек, замученных в лагерях и застенках Сталиным».Ничего себе? Теперь нашли письмо Ромен Роллана (в его сейфе в пуб. библиотеке), где он пишет: «Дорогой И. В.! Я не смею верить, но говорят, что в Вашей стране 17 миллионов томятся и обливаются кровью. Ответьте мне! Умоляю вас! Правда ли это?»

И Сталин не ответил!

В субботу меня пригласили в оперетку в 11 ч. утра. Будет зачитываться речь Хрущева на съезде, посвященная этому ужасу. Я пойду. В «оперетку»! Ничего себе? Семнадцать миллионов людей, утопили в крови для того, чтобы я слушал «рассказ» в оперетке? Нечего сказать! Веселенькая «оперетка». Веселее «Веселой вдовы»! Кто, когда и чем заплатит нам — русским людям и патриотам — за «ошибки» всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей Родиной? Доколе?
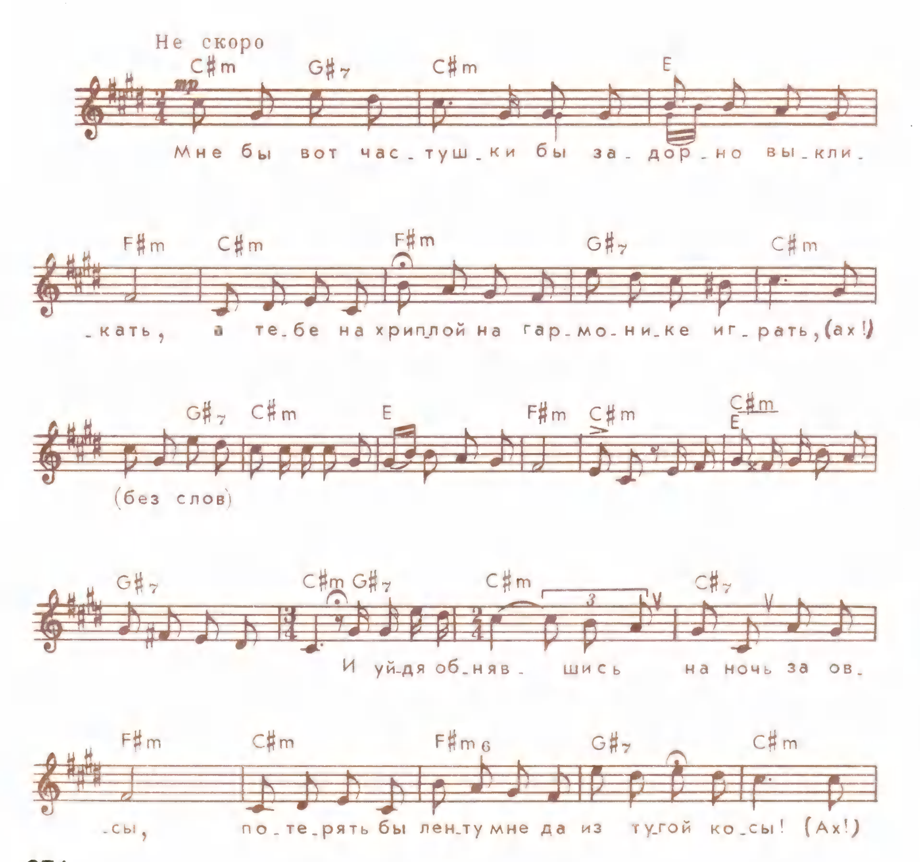
Саша.
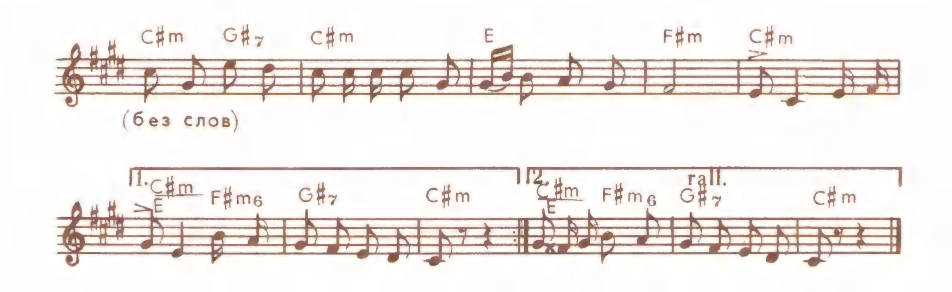
ЕЕ ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ

По стихам А. Ахматовой

Мне бы вот частушки бы задорно выкликать,
А тебе на хриплой на гармонике играть.
И, уйдя обнявшись на ночь за овсы,
Потерять бы ленту мне да из тугой косы!

Мне бы вот ребеночка твоего качать,
А тебе полтинничек бы в сутки выручать.
Да ходить на кладбище в поминальный день,
Да смотреть на белую, на Божию сирень!





Новосибирск, 28 апреля 1956 г.

Лиличка!

Сегодня спел 26-ой концерт. И закончил Новосибирск. Концерт был тяжелый. Вернулся, наконец, машиной домой. Съел два холодных пирожка — мой ужин. Выпил коньяку и уже хотел совсем было лечь спать — у нас 1 час ночи, но вдруг сказал сам себе громко: — Нет, я напишу письмо жене, а потом лягу! Я часто говорю сам с собой — я почти всегда один.

Не хочется мне жаловаться, но концерты эти — просто пытка какая-то! Сидят. Как будто понимают. Молчат. Реагируют слухом на исполнение, а аплодировать не находят нужным. Как будто это им полагается! Каждый день! Я — злюсь. Не кланяюсь и гоню концерт. Скорее кончить! Занавес! Наконец-то! Вот тут только, когда все кончилось и они получили «по весу» то, за что заплатили деньги, они вдруг начинают просить «прибавки» и разражаются аплодисментами. Но я уже доведен до предела. Нервы натянуты. С наслаждением я даю занавес и даже не выхожу больше на поклон.

Они аплодируют, стучат, орут. Выходит ведущий и говорит:

— Концерт окончен!

Неужели они не понимают моей тяжкой, честной и благородной работы? Я ведь ничего не скрываю от них, пою так же, как я пел бы для Господа Бога,— искренно, глубоко, правдиво, как верующий, как «священнослужитель»! И в ответ... Будь проклята моя профессия! Лучше возить говно в бочках, чем быть на моем месте! Ну ладно. Хватит, не сердись, пожалуйста. Но мне не с кем поделиться всем этим кроме тебя.

1-го мая еду в Омск, а пока «на простое» — четыре дня. В Омске 6 конц. подряд. Возможно 10-го утром прилечу. Целую тебя и детей.

Саша.

РЕВНОСТЬ
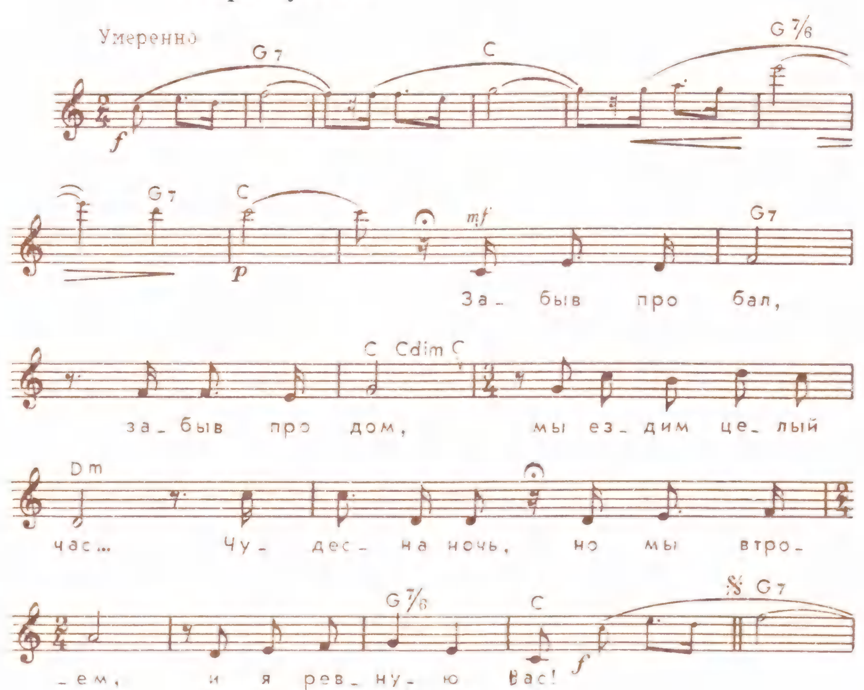
Стихи С. Рамма
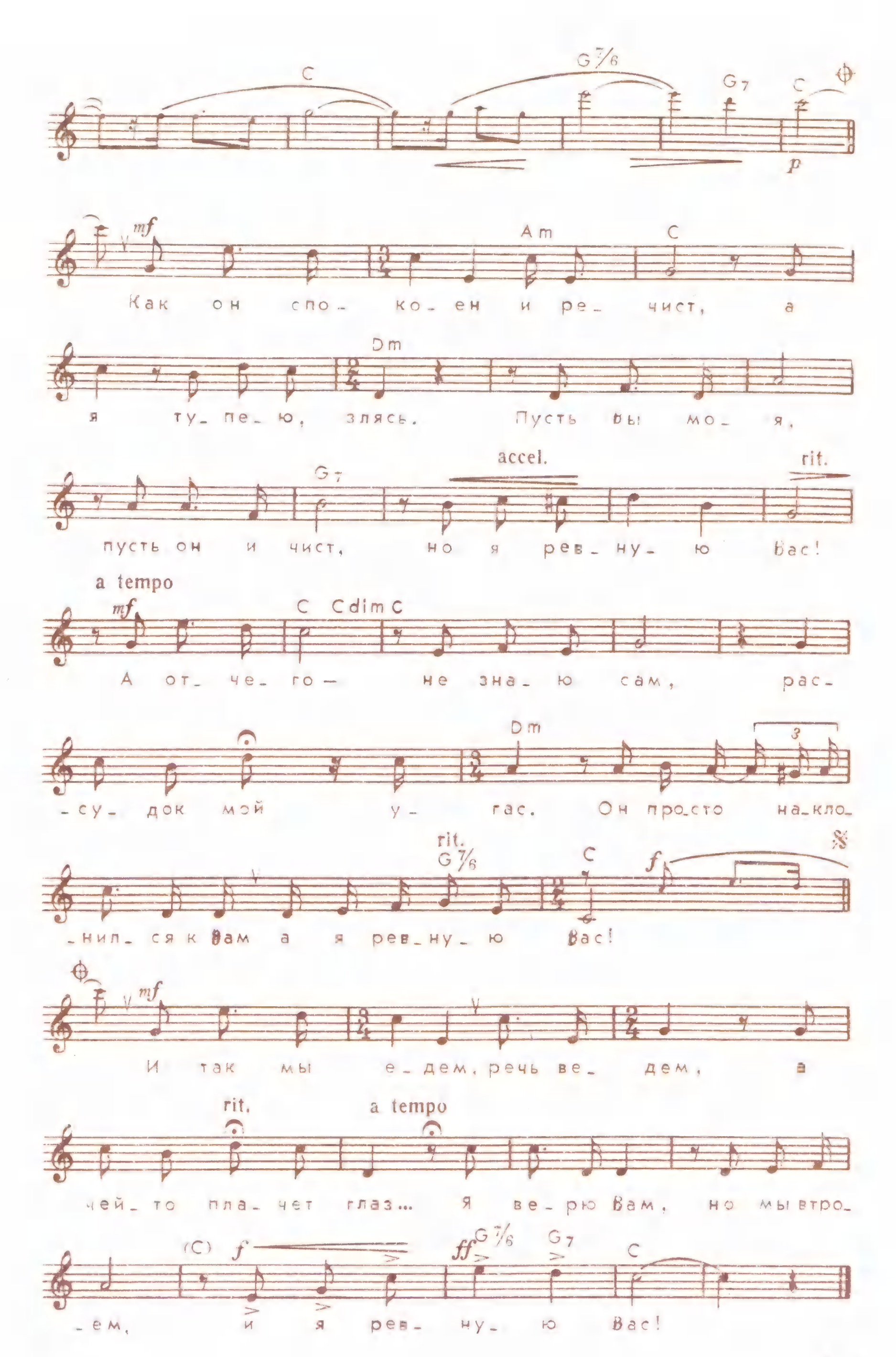
Забыв про бал, забыв про дом,
Мы ездим целый час…
Чудесна ночь, но мы втроем,
И я ревную Вас!

Как он спокоен и речист,
А я тупею, злясь.
Пусть Вы моя, пусть он и чист,
Но я ревную Вас!

А отчего — не знаю сам,
Рассудок мой угас.
Он просто наклонился к Вам,
А я ревную Вас!

И так мы едем, речь ведем,
А чей-то плачет глаз…
Я верю Вам, но мы втроем,
И я ревную Вас!




C G 7/6 G7 C
Am C
Как он спо- ко- ен и ре- чист, а
Dm
я ту- пе- ю, злясь. Пусть бы мо- я,
accel. rit.
G7
пусть он и чист, но я рев- ну- ю Вас!
a tempo
C Cdim C
А от- че- го — не зна- ю сам, рас-
Dm
-су- док мой у- гас. Он про-сто на-кло-
rit.
G 7/6 C
-нил- ся к Вам а я рев- ну- ю Вас!
И так мы е- дем, речь ве- дем, а
rit. a tempo
чей- то пла- чет глаз... Я ве- рю Вам, но мы втро-
(C) G 7/6 G7 C
-ем, и я рев- ну- ю Вас!

Чарджоу, 7 часов вечера, 16 октября 1956 г.

То же — город! Ехали целый день поездом и приехали... Номерище громадный в 5 коек. Все это одному мне! Но ни воды в номере, ни сортира. Вода на 1-м этаже, а сортир... Надо ходить на двор — в сарай. Или на шоссе, если кто хочет простора!

И вот в таких условиях надо жить здесь и петь мои чудесные песни. Это называется «культурное обслуживание». Построили бы им лучше хороший сортир — вот это и было бы настоящее культурное обслуживание! А то строят «Дворцы культуры», а сортиров не строят. Забывая, что культура начинается с него. Злость берет. Ни умыться, ни отдохнуть. И на кой дьявол им посылают Вертинского? Может, они еще и Ив Монтана захотят? Не могу больше писать от злости. Завтра утром — допишу. 9 часов вечера.

И вдруг мне вспомнилась строчка Есенина:

Жизнь моя, иль ты
Приснилась мне?

Действительно... такая жизнь может только «присниться». Большие поэты вообще все предвидели и предчувствовали. Во всяком случае, идя сегодня в уборную — где-то в поле, я повторял строку Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу...»

Тут лают собаки. В окно ко мне врывается трехэтажный мат с улицы. Воды нет — попить!

«Отче мой. Зачем ты покинул меня?» — сказал Христос на Голгофе...

Целую тебя, Лиличка, жена моя дорогая, и родных доченек.
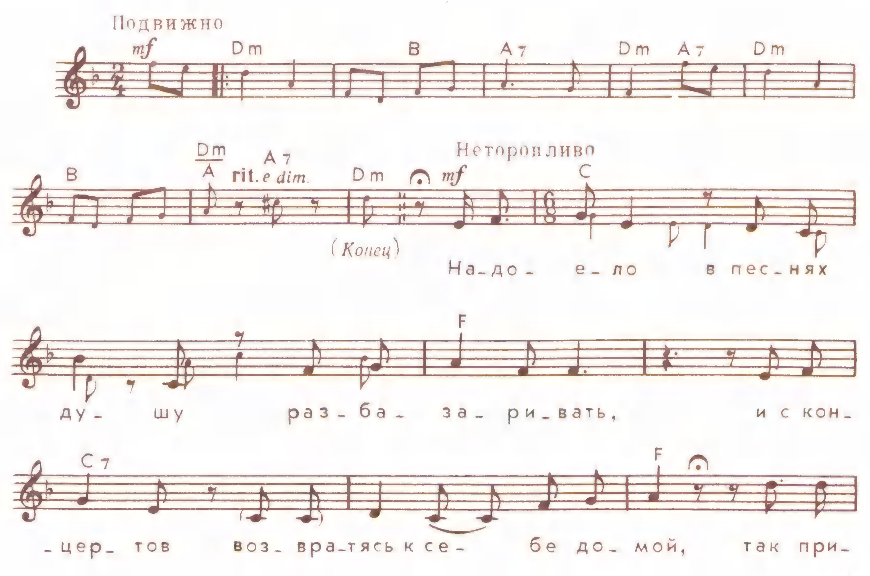
Саша.
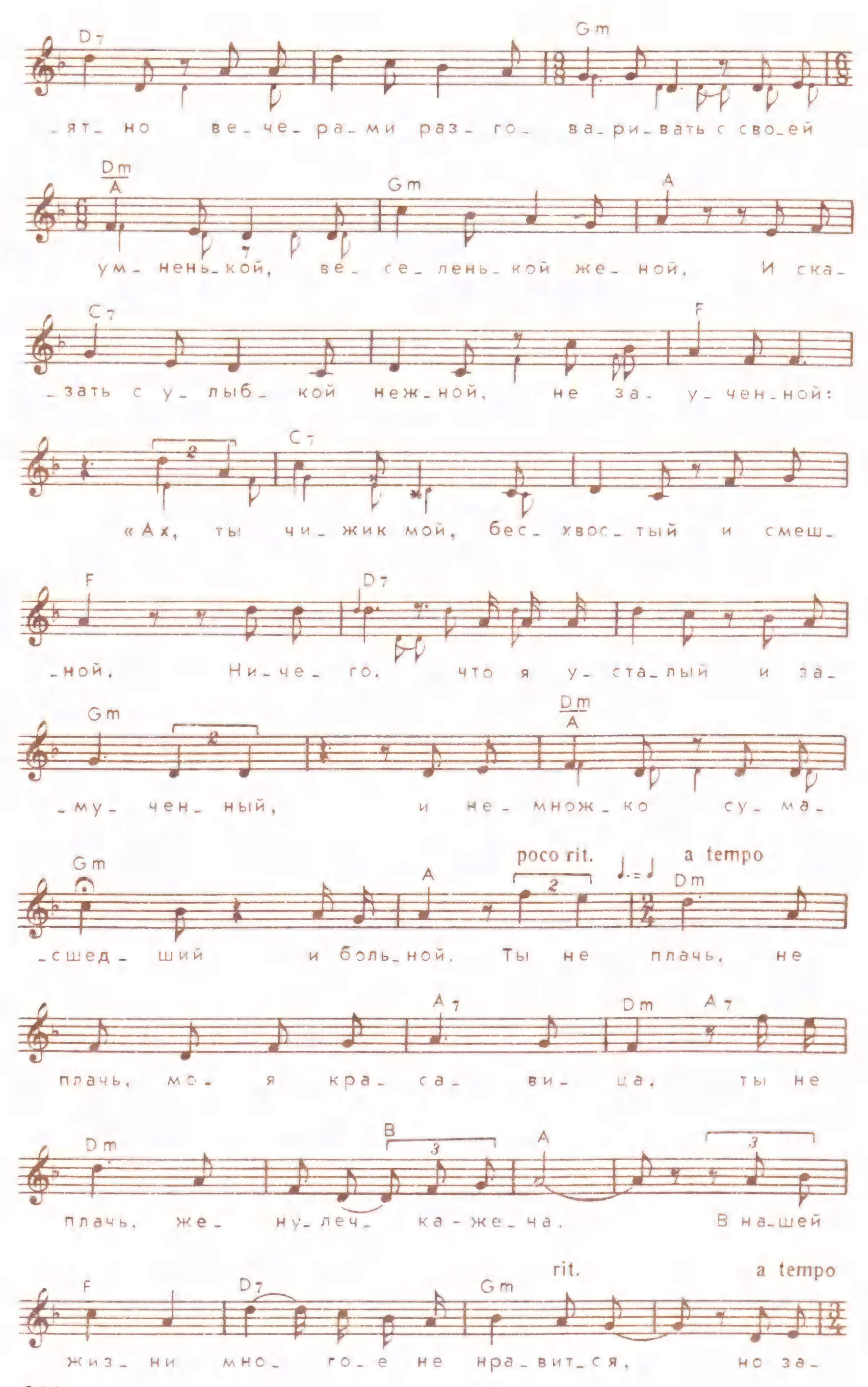
ПЕСЕНКА О МОЕЙ ЖЕНЕ

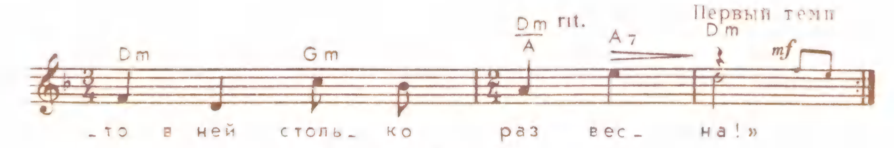
Надоело в песнях душу разбазаривать,
И с концертов возвратясь к себе домой,
Так приятно вечерами разговаривать
С своей умненькой, веселенькой женой.
И сказать с улыбкой нежной, не заученной:
«Ах, ты чижик мой, бесхвостый и смешной.
Ничего, что я усталый и замученный,
И немножко сумасшедший и больной.
Ты не плачь, не плачь, моя красавица,
Ты не плачь, женулечка-жена.
В нашей жизни многое не нравится,
Но зато в ней столько раз весна!»

Чтоб терпеть мои актерские наклонности,
Нужно ангельским терпеньем обладать,
А прощать мои дежурные влюбленности,
В этом тоже надо что-то понимать!..
И, целуя ей затылочек подстриженный,
Чтоб вину свою загладить и замять,
Моментально притворяешься обиженным,
Начиная потихоньку напевать:
«Ну не плачь, не плачь, моя красавица.
Ну не злись, женулечка-жена,
В нашей жизни все еще поправится!
В нашей жизни столько раз весна!»

А потом пройдут года, и Вами брошенный,
Постаревший, жалкий и смешной,
Никому уже не нужный и изношенный,
Я, как прежде, возвращусь к себе домой.
И скажу с улыбкой жалкой и заученной:
«Здравствуй, чиженька, единственный и мой!
Ничего, что я усталый и замученный,
Одинокий, позабытый и больной.
Ты не плачь, не плачь, моя красавица!
Ты не плачь, женулечка-жена!
Наша жизнь уж больше не поправится,
Но зато ведь в ней была весна!»




D7 Gm
_ят_ но ве_че_ра_ми раз_ го_ ва_ри_вать с сво_ей
Dm A Gm A
ум_ нень_кой, ве_ се_ лень_кой же_ ной. И ска_
C7 F
зать с у лыб_ кой неж_ной, не за_ у_ чен_ной:
C7
«Ах, ты чи_ жик мой, бес_ хвос_ тый и смеш_
F D7
_ной. Ни_че_ го, что я у_ ста_лый и за_
Gm Dm A
_му_ чен_ный, и не_ множ_ ко су_ ма_
poco rit. a tempo
Gm A Dm
сшед ший и боль_ной. Ты не плачь, не
A7 Dm A7
плачь, мо_ я кра_ са_ ви_ ца, ты не
Dm B A
плачь, же_ ну_леч_ ка_же_на. В на_шей
rit. a tempo
F D7 Gm
жиз_ ни мно_ го_е не нра_вит_ся, но за_



Ленинград, 5 мая 1957 г.

Дорогая Лиличка!

Приехал я 3-го в 11 ч. утра и... номера в «Астории» не было! Был оставлен в «Октябрьской», но я не поехал. Ведь все координаты я давал на «Асторию». Я решил ждать и ждал с 11-и до 9-и вечера. Тут что-то ужасное. Наплыв делегаций — чернокожих и белых и желтых... Несмотря на то, что меня тут и знают и любят и уважают, ничего сделать было нельзя. Директор просил подождать до 9-и, когда какая-нибудь сволочь уедет. Скоро нам, советским людям, придется спать на вокзалах. На нас плюют и выгоняют из гостиниц, как собак. Поразительно это наплевательство на своих! Приглашают чуть ли не весь мир «в гости», а гостиниц не строят. Вот головотяпство!

В девять мне дали номер, и я был счастлив. Развесился, умылся, выпил коньячку и уснул как убитый. До сих пор не могу прийти в себя. В дизеле я не сомкнул глаз — так мотало, и день промучился! Теперь уже немного отошел и сегодня часа три даже работал над книгой...

Здесь довольно холодно, но солнце светит. Весь май — буду здесь работать спокойно. Как твои дела на даче? Что слышно с кирпичом? Как ведут себя дети? Скажи, что папа им приготовил подарочки.

Целую крепко тебя и их, пиши скорее, а то я скучаю уже!
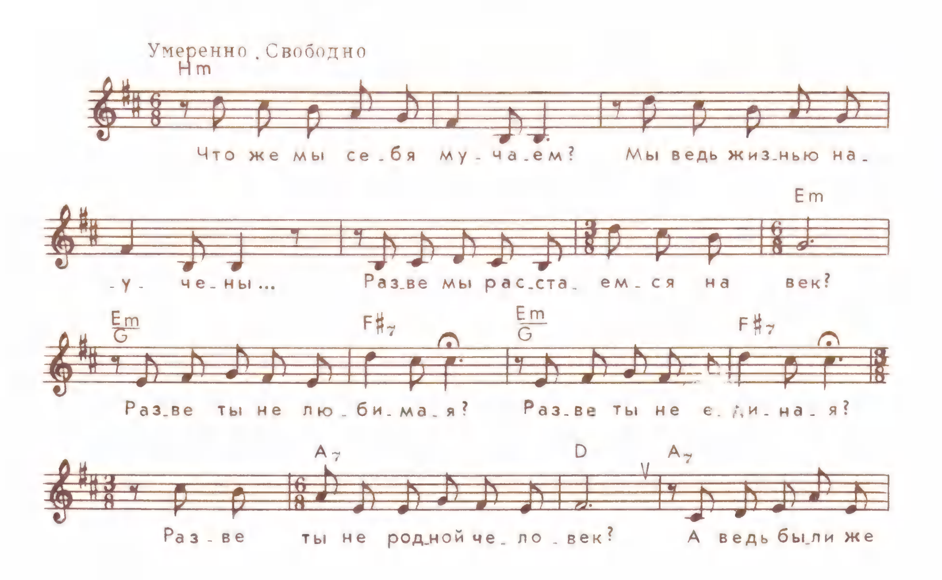
Твой Сашенька.
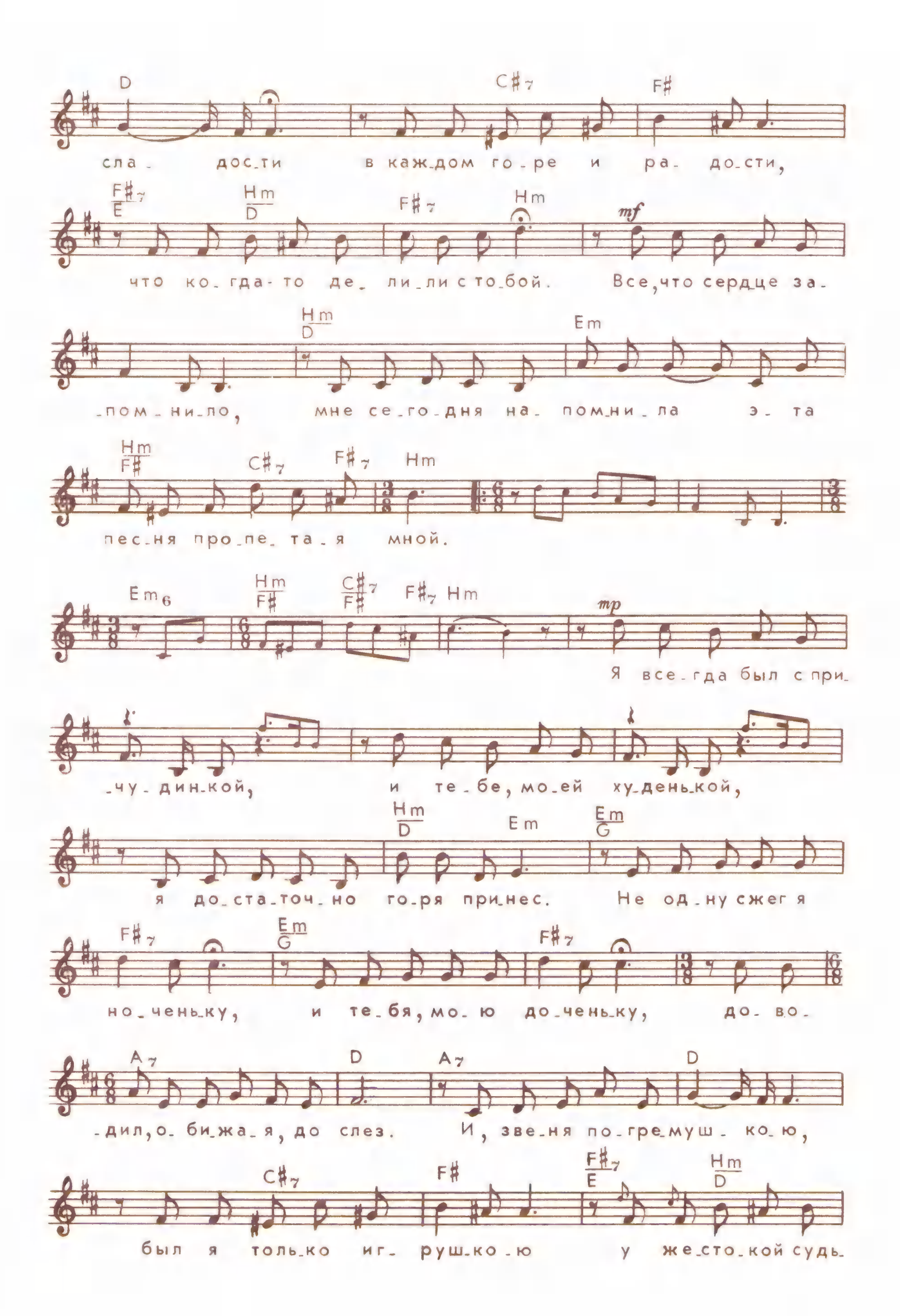
ЛИЧНАЯ ПЕСЕНКА
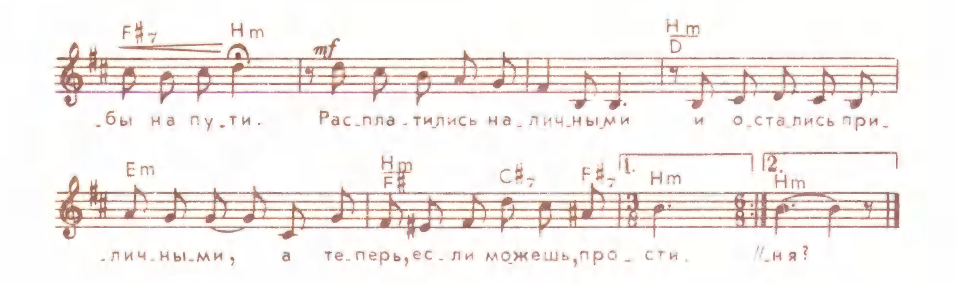
Что же мы себя мучаем?
Мы ведь жизнью научены...
Разве мы расстаемся на век?
Разве ты не любимая,
Разве ты не единая,
Разве ты не родной человек?
    А ведь были же сладости
    В каждом горе и радости,
    Что когда-то делили с тобой.
    Все, что сердце заполнило,
    Мне сегодня напомнила
    Эта песня, пропетая мной.

Я всегда был с причудинкой,
И тебе, моей худенькой,
Я достаточно горя принес.
Не одну сжег я ноченьку,
И тебя, мою доченьку,
Доводил, обижая, до слез.
И, звеня погремушкою,
Был я только игрушкою
У жестокой судьбы на пути.
Расплатились наличными
И остались приличными,
А теперь, если можешь, прости.

Все пройдет, все прокатится,
Вынь же новое платьице
И надень к нему шапочку в тон,
Мы возьмем нашу сучечку
И друг друга за ручечку,
И поедем в Буа де-Булонь.
Будем снова веселыми,
А за днями тяжелыми
Только песня помчится звеня.
Разве ты не любимая?
Разве ты не единая?
Разве ты не жена у меня?




D C♯7 F♯
сла_ дос_ти в каж_дом го_ре и ра_ до_сти,
F♯7/E Hm/D F♯7 Hm mf
что ко_гда-то де_ ли_ли с то_бой. Все, что сердце за_
Hm/D Em
-пом_ни_ло, мне се_го_дня на_ пом_ни_ла э_ та
Hm/F♯ C♯7 F♯7 Hm
пес_ня про_пе_ та_я мной.
Em6 Hm/F♯ C♯7/F♯ F♯7 Hm mp
Я все_гда был с при_
-чу_ дин_кой, и те_бе, мо_ей ху_день_кой,
Hm/D Em Em/G
я до_ста_точ_но го_ря при_нес. Не од_ну сжег я
F♯7 Em/G F♯7
но_чень_ку, и те_бя, мо_ю до_чень_ку, до_ во_
A7 D A7 D
-дил, о_ би_жа_я, до слез. И, зве_ня по_гре_муш_ ко_ю,
C♯7 F♯ F♯7/E Hm/D
был я толь_ко иг_ руш_ко_ю у же_сто_кой судь_



Ленинград, 9 мая 1957 г.

Здравствуй, Пекуля!

Несмотря на то, что надо работать — писать книгу и не отвлекаться, я не могу все же отказать себе в удовольствии хотя бы письменно поговорить с женой. Такова сила привычки. Я только что вернулся с концерта, съел два пирожка и вот пишу тебе. Хороший город Ленинград! Удивительно он успокаивает как-то. В Москве живешь, как на вокзале. А здесь — как будто уже приехал и дома. И люди другие, и дома благородные, и улицы незыблемые, построенные задолго до нас и навсегда! И течение народа спокойное — как река в старом неизменном русле, и хамства мало — даже почти нет.

Я тихо живу в тихой, несмотря на засилье делегаций всяких тараканов запечных, черных и желтых с усиками и без,— «Астории», где еще докашливают свой горький век благородные старушки на этажах — любезные, аккуратные и печальные. Никто меня не беспокоит.

С утра, с 8-и, я сажусь писать, вскипятив свой чайничек. Пишу до часу. Потом бреюсь, моюсь, одеваюсь и иду в скверик посидеть на солнце. А здесь внезапно потеплело. Уже начинаются белые ночи. После концерта в одиннадцать еще светло. Я вспоминаю Блока:

Придут незаметные белые ночи.
И душу вытравят белым светом.
И бессонные птицы выклюют очи.
И буду ждать я с лицом воздетым.

Придут другие, разрыхлят глыбы,
Зароют,— уйдут беспокойно прочь!
Они обо мне помолиться могли бы,
Да вот — помешала белая ночь!

Принимают меня здесь благоговейно, восторженно. Но и пою я в десять раз лучше, чем в Москве! Ленинградская публика — это нечто совсем особое, не похожее на остальную публику страны. Они «не все кушают», но если любят, то уж очень!

Культура иная. Я думаю о тебе, и мне жаль, что ты не смогла со мной сюда поехать. Ты бы отдохнула здесь. А так, ты крутишься, как белка в колесе, в сетях плетеных московских «авосек» и поджариваешься в московском аду на вечном огне наших советских примусов. (Вот сказанул!)

Понемножку пишу, накопляя материал. Уже вызвал машинистку. Думая о тебе, наводил справки о фильмах, ничего нет! Черкасов в Париже. Здесь идут просмотры на Ленфильме «Дон Кихота». (Другого места для показа нет.) Я завтра позвоню на Ленфильм и пойду смотреть тебя. В кино идет «Невеста», которую никто не ходит смотреть. Ругают ужасно. Театр Охлопкова — горит. Ленинградцы не принимают ни его «Астории», ни «Клопа». Позвони мне, когда соскучишься. Я боюсь звонить, думая, что не застану тебя. Ты ведь целые дни на даче?

Целую тебя крепонько и писенят моих дорогих! Привет Л. П.

Саша.



А. Вертинский с женой Л. Вертинской.
Москва, середина 40-х годов
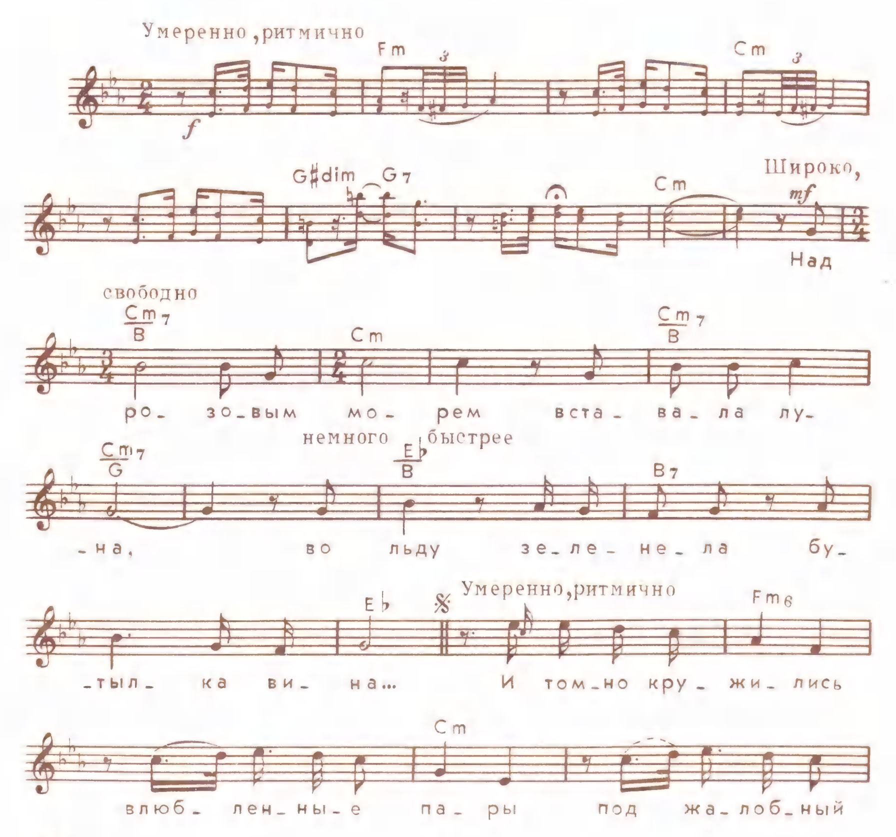
НАД РОЗОВЫМ МОРЕМ
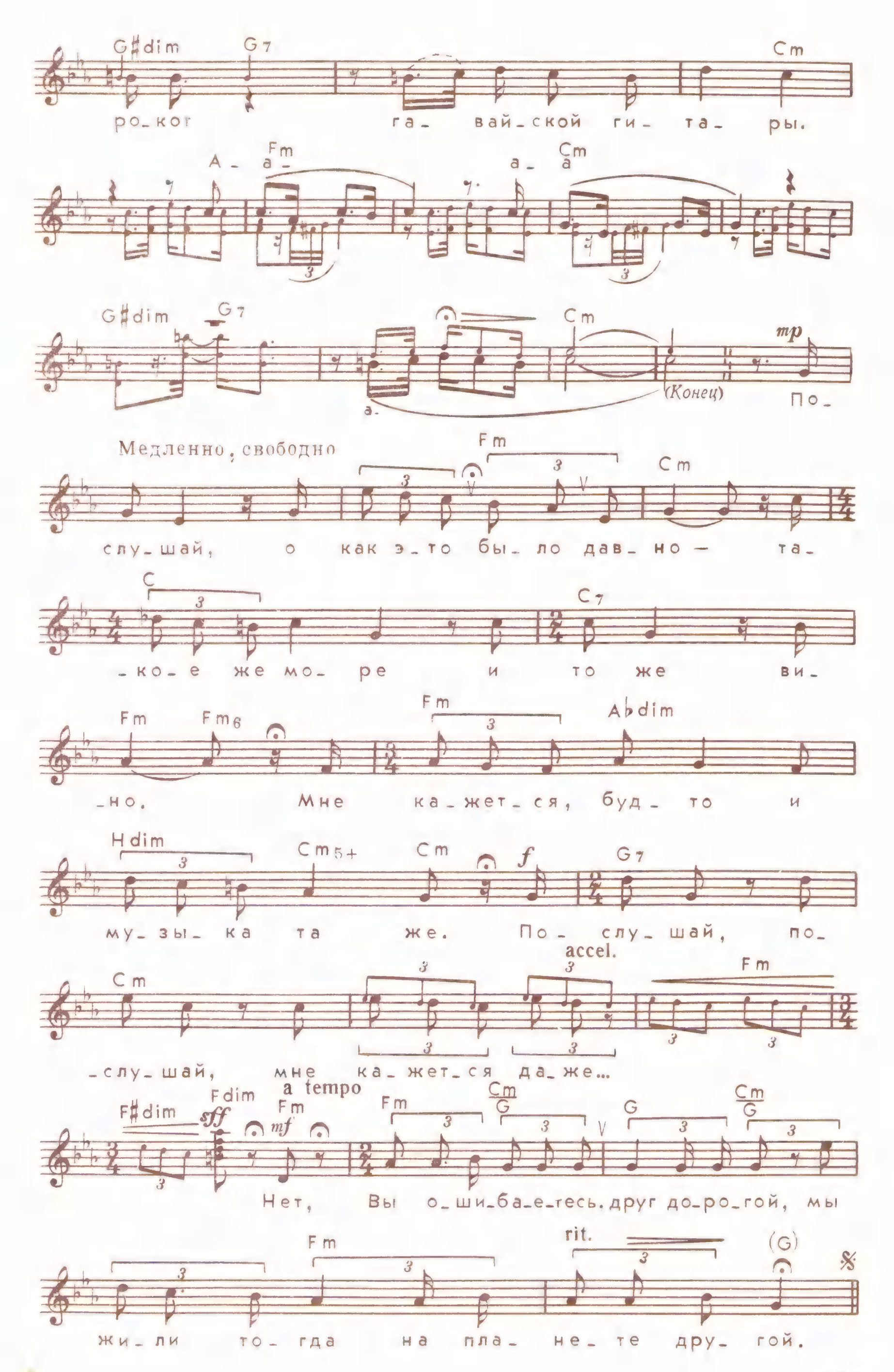
Стихи Г. Иванова

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина...
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.

Послушай, о как это было давно —
Такое же море и то же вино.
Мне кажется, будто и музыка та же.
Послушай, послушай, мне кажется даже...

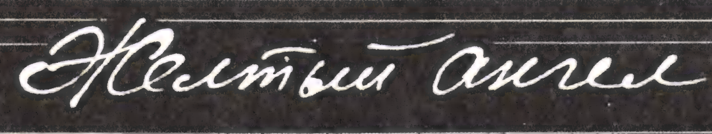
Нет, Вы ошибаетесь, друг дорогой,
Мы жили тогда на планете другой.
И слишком устали, и слишком мы стары,
И для этого вальса, и для этой гитары...




G♯dim G7 Cm
ро_ког га_ вай_ской ги_ та_ ры.
Fm Cm
А_ а_ а_ а
G♯dim G7 Cm
(Конец)
а_
mp
По_
Медленно, свободно
Fm Cm
слу_шай, о как э_то бы_ло дав_но — та_
C C7
_ко_е же мо_ ре и то же ви_
Fm Fm6 Fm A♭dim
_но. Мне ка_жет_ся, буд_ то и
Hdim Cm5+ Cm G7
f
му_ зы_ ка та же. По_ слу_ шай, по_
accel.
Cm Fm
слу шай, мне ка_жет_ся да_же...
F♯dim Fdim a tempo Fm Cm/G G Cm/G
sff mf
Fm
Нет, Вы о_ши_ба_е_тесь. друг до_ро_гой, мы
Fm rit. (G)
жи_ли то_ гда на пла_ не_ те дру_ гой.

Об Александре Вертинском (С.В. Гиацинтова)
Об Александре Вертинском (Леонид Трауберг)







стичный.
думанны
поэтични
дела его
пейски э
и трагич
брежно
посылал
голетней
тельно,
сказать!
Ивановн
– Т

не одно
сотню р

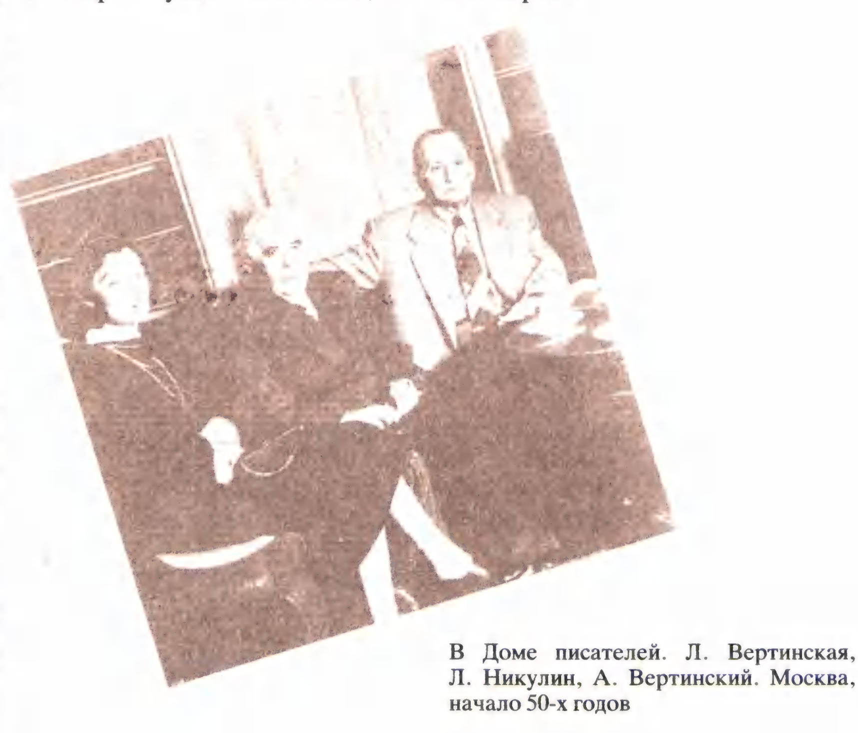
Софья ГИАЦИНТОВА

В молодости он выступал в костюме Пьеро — артистичный, музыкальный, грустный, иногда смешной в своих придуманных Антильских островах, но никогда не пошлый, всегда поэтичный. Он много лет провел в эмиграции — и вот я снова увидела его в Москве. На сцену вышел тот же Пьеро, только в европейски элегантном фраке с магнолией в петлице, только старый и трагичный. Надменно вздернув зализанную голову, он небрежно (но с таким отточенным, выверенным мастерством!) посылал залу свои ироничные и грустные песни, рожденные многолетней тоской, и каждое движение было пластично, выразительно, необходимо. А руки — большие, бледные — о них не рассказать! Сидя со мной рядом на концерте Вертинского, Василий Иванович Качалов взволнованно произнес:

— Такого владения руками я не знаю ни у кого из актеров.

Леонид ТРАУБЕРГ

... Дмитрий Шостакович говорил мне (вероятно, не одному мне): «Ты понимаешь, что такое Вертинский? Он в сотню раз музыкальнее нас, композиторов».



В Доме писателей. Л. Вертинская, Л. Никулин, А. Вертинский. Москва, начало 50-х годов

ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ

В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.

Звенят, гудят джаз-баны
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,
Зову их в океаны
И сыплю им в шампанское цветы.
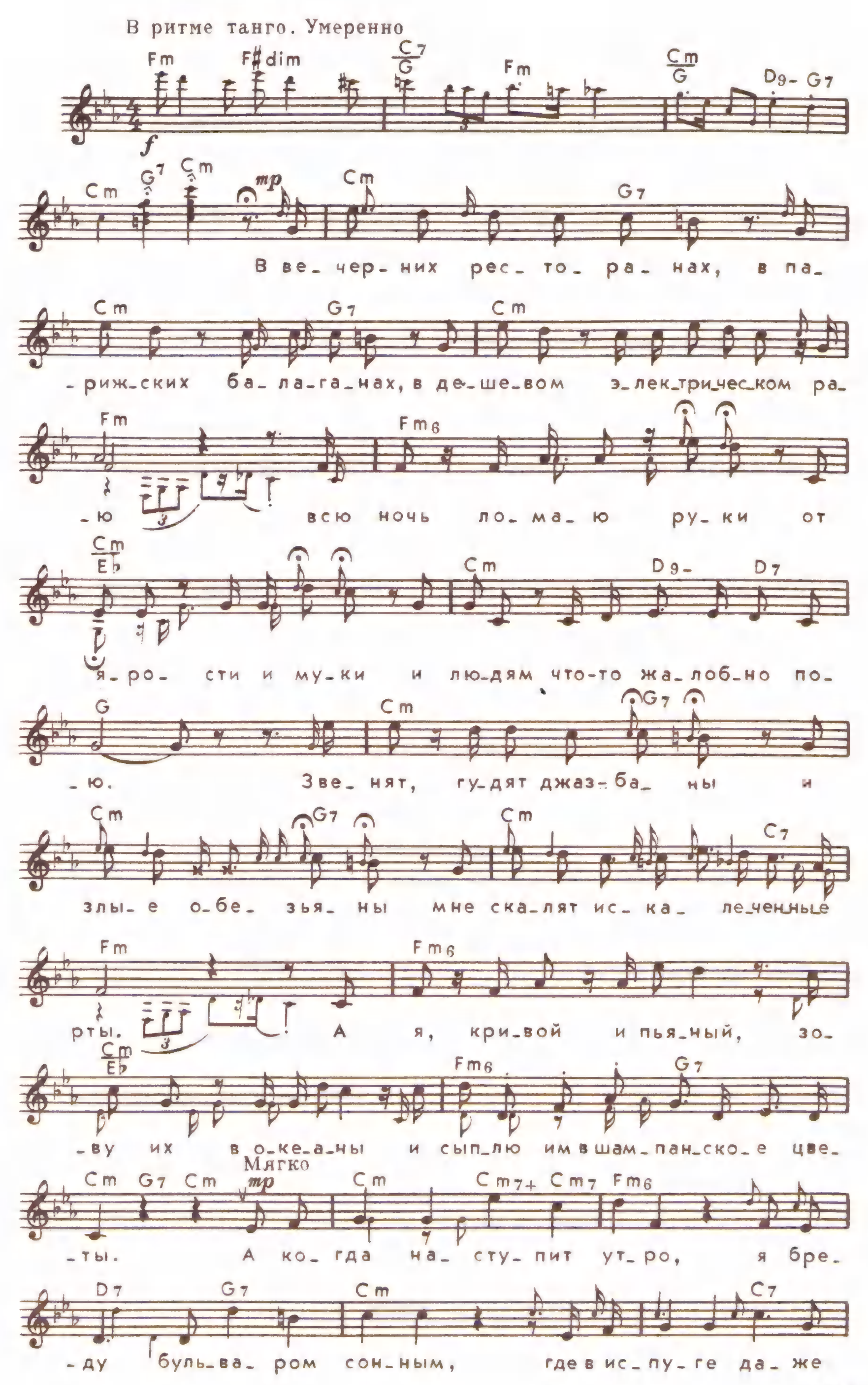
А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным,
Где в испуге даже дети убегают от меня.
Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
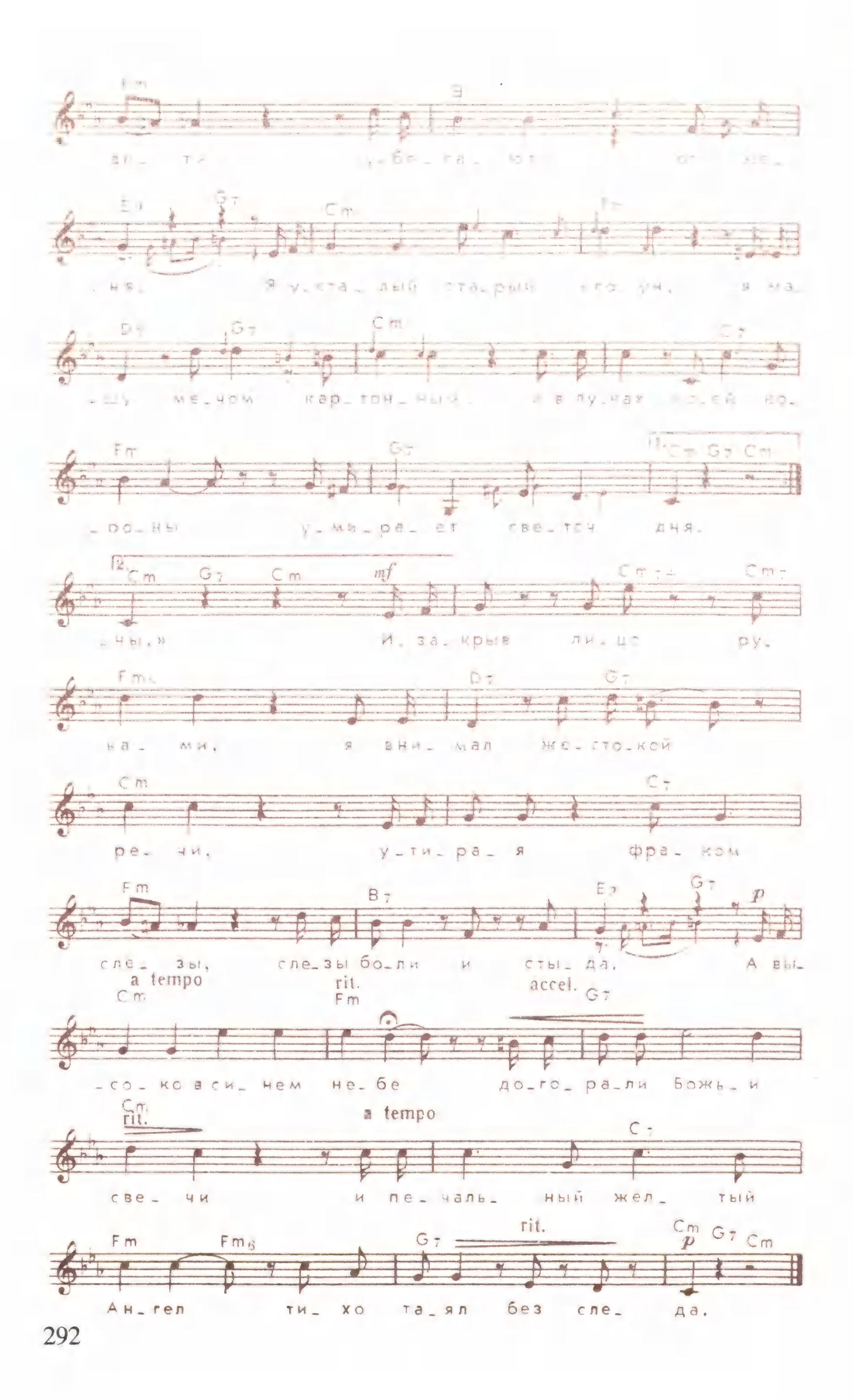
Звенят, гудят джаз-баны,
Танцуют обезьяны
И бешено встречают Рождество.
А я, кривой и пьяный,
Заснул у фортепьяно
Под этот дикий гул и торжество.

На башне бьют куранты,
Уходят музыканты,
И елка догорела до конца.
Лакеи тушат свечи,
Давно замолкли речи,
И я уж не могу поднять лица.

И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый Ангел
И сказал: «Маэстро, бедный, Вы устали, Вы больны.
Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго.
Даже в нашем добром небе были все удивлены».

И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи,
Утирая фраком слезы, слезы боли и стыда.
А высоко в синем небе догорали Божьи свечи
И печальный желтый Ангел тихо таял без следа.


В ритме танго. Умеренно
В ве_чер_них рес_то_ра_нах, в па_
_риж_ских ба_ла_га_нах, в де_ше_вом э_лек_три_чес_ком ра_
_ю всю ночь ло_ма_ю ру_ки от
я_ро_ сти и му_ки и лю_дям что-то жа_лоб_но по_
_ю. Зве_нят, гу_дят джаз-ба_ ны и
злы_е о_бе_ зья_ ны мне ска_лят ис_ка_ ле_чен_ные
рты. А я, кри_вой и пья_ный, зо_
_ву их в о_ке_а_ны и сып_лю им в шам_пан_ско_е цве_
Мягко
_ты. А ко_гда на_ сту_ пит ут_ро, я бре_
_ду буль_ва_ром сон_ным, где в ис_пу_ге да_же


ня. Я усталый старый клоун, я ма-
шу мечом картонным, и в лучах моей ко-
роны умирает светоч дня.
чы.» И, закрыв лицо ру-
ками, я внимал жестокой
речи, утирая я фраком
слезы, слезы боли и стыда. А вы-
a tempo
rit.
accel.
соко в синем небе догорали Божьи
a tempo
rit.
свечи и печальный желтый
rit.
Ангел тихо таял без следа.

Александр Вертинский.



Размышления.



Размышления

Нас не надо хвалить и не надо ругать. Я представляю себе нашу театральную жизнь как огромную табельную доску. Если Вам понравилось что-либо в нас, подойдите и молча повесьте на гвоздик жетончик. Если нет — не делайте этого. Восхищаться, благодарить и облизывать нас — не надо! Это портит нас и раздражает умнейших из нас. Мы святые и преступные, страшные в своем жестоком и непонятном познании того, что не дано другим. Нас не надо трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов!

Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору — каждому, т. е. каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него.

Жить! Жить очень трудно!

Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание отвлекают тысячи мелочей, тебя очаровывают всевозможные земные развлечения и «недосягаемости», тебя манят к себе планы и мечты, «победы» — такие трудные и такие ненужные — отвлекают твое внимание от главного — от того, что ты ЖИВЕШЬ! То есть ты тратишь положенное тебе весьма ограниченное время на эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим на так называемую любовь, на борьбу за свое существование, на желание достигнуть каких-то успехов, чем-то выдвинуться, обратить на себя внимание и прочее. Тут нам не до «итогов», тут мы широко и безоглядно тратим себя, свои лучшие силы, свое божее дарование, расточаем себя, как моты и кутилы. Незаметно — в этих вечных хлопотах, исканиях, победах и поражениях — проходит главный кусок времени. Проходит жизнь! И когда все это проходит, и тебе уже за 60 лет, и ты чего-то добился, а чего-то не добился, и когда уже нет сил и ты поздно спохватился, подсчитав свои ресурсы... а ты еще живешь, но уже промотался и в кармане у тебя «последние гроши»... а жить еще надо, и главное — неизвестно, сколько лет надо еще жить,— то тут встает во всей своей простоте и неумолимости вопрос: а чем жить? Ведь почти все растрачено, израсходовано... И сколько жить?

Тишина. Молчание. Никто не знает, сколько. Вот тут начинаешь понимать, что ты — банкрот! Что надо жить, а жить нечем! Все уже истрачено. Самое трудное — это жить!

Просто жить!

Так, все хорошо. И номер приличен, и кровать ничего. И коньячку выпьешь, и книжка интересная под рукой... Только холодно... Мерзнут ноги, мерзнет душа — подмерзает «искусство», которого я являюсь «сеятелем».

«Сейте разумное, доброе, вечное» (Некрасов).

Нетопленые театры с полузамерзшими зрителями напоминают музей восковых фигур, которые мне поручено растопить «глаголом» своего «полупризнанного» искусства и превратить в людей. При напряженном труде (выше темпы!), при сверхдозволенной медициной затрате сил я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о «красивых чувствах» и разошлись, под шумок покачивая головами и добродушно улыбаясь,— есть же, мол, еще такие чудаки! — чтобы приступить опять к своим примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным.

А я... получаю взамен холод номера и холод одиночества. Таким образом, мне платят «продуктами из рефрижератора» — свежезамороженной и потому безвкусной дрянью.

Океан равнодушия захлестывает меня. Чем больше живет человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться!

«Все неверно. Все жестоко. Все навек обречено»,— говорит поэт Георгий Иванов.

И, увы, это так. Мы живем трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед — напрягаем свое мышление и разум до предела, и как только мы добиваемся, наконец, ясности мысли, силы разума и что-то начинаем уметь и знать, знать и понимать — нас приглашают на кладбище. Нас убирают, как опасных свидетелей, как агентов контрразведки, которые слишком много знают.

И другие, новые, юные, неопытные, начинают разбивать свой лоб о то, что нам уже давно известно. Такова жизнь. И нам, старым и мудрым, как змеи, остается только улыбаться и притворяться, что все хорошо, все правильно, все так, как надо... Все еще придет. Все еще будет... Чтобы не разочаровывать их, начинающих жизнь, тех, кто идет за нами.

Жизни как таковой нет. Есть только огромное жизненное пространство, на котором вы можете вышивать, как на бесконечном рулоне полотна, все, что вам угодно. Вам нравится токарный станок? Влюбляйтесь в него! Говорите о нем с волнением, с восторгом, с экстазом, убеждайте себя и других, что он прекрасен! Вам нравится женщина? То же самое. Обожествляйте ее! Не думайте о ее недостатках! Вам хочется быть моряком? Океа-

ны, синие дали... Делайтесь им! Только со всей верой в эту профессию! И т. д. И вы будете счастливы какое-то время, пока не надоест токарный станок, не обманет женщина, не очертеет море и вечная вода вокруг. Но все же вы какое-то время будете счастливы.

Жизни как таковой нет. Есть только право на нее. Бумажка, «ордер на получение жизни». Жизнь надо выдумывать, создавать. Помогать ей, бедной и беспомощной, как женщине во время родов. И тогда что-нибудь она из себя, может быть, и выдавит. Не надо на нее обижаться и говорить, что она не удалась. Это вам не удалось у нее ничего выпросить. По бедности своего воображения. Надо — хотеть, дерзать и, не рассуждая, стремиться к намеченной цели. Этим вы ей помогаете. И ее последнее слово, как слово матери вашей, всегда будет за вас. Но помогает она только тем, кто стремится к чему-то. Ибо нас много, а она одна. И всем она помочь не может.

Есть люди, которым Судьба оказывает большой кредит.

— Вот вам (тебе) радости жизни, благополучие, достаток, удача, успех и пр. Пока бери, а потом сосчитаемся.

Ну, если человек оказывается недостойным этих милостей Ее — у него их отнимают. Но все же какое-то время, и часто очень длительное, он их имеет и наслаждается ими.

Мне же Судьба не дает ни гроша в кредит. За все мое кажущееся благополучие я плачу наличными. И какой ценой! Самой завышенной! Как платят ростовщику. С процентами. Я получаю только «заслуженный» отдых, только «заработанные» кровью, потом и нервами деньги, и ничего даром или легко!

Вот, встав в 6 утра, машиной я мчусь на ст. Невинномыскую. Там сажусь в поезд и томлюсь в нем весь день. В 12 ночи я приезжаю в Грозный. Гостиница. Я получаю, после всяких мелких формальностей, довольно грязный и вонючий «люкс» с сортиром и ванной, которая не работает, причем меня предупреждают, что это номер обкома! Какая честь! Часа два я раскладываюсь, потом развешиваюсь, потом ем свой скудный ужин — редиску и яйца, купленные на станции, и, наконец, в 2 часа ночи я имею право вытянуть ноги на кровати.

Наступает покой. Да. Наступает. Но когда? После каких длительных терзаний! Я расплатился за него двадцатью четырьмя часами!

Страшно. А другим это дается просто. Легко. Как должное. И они не лучше меня. Не благороднее. Не талантливее. А вот им дают в кредит все это...

Все прошло… Забыто…
По дороге к смерти
Путь земной так скучен,
Одинок и сер…

А. В.

Я — врач, спокойно и внимательно наблюдающий за «кроликом моей души», которому, или, вернее, на котором время производит свои экспериментальные опыты. Мне вспрыснули «эликсир времени». Я, конечно, тут ни при чем. Это принудительная вивисекция. И вот он начинает действовать. Сначала у меня пропал аппетит к жизни. Я разлюбил природу, музыку, искусство. Даже свое искусство. Потом я разлюбил людей, детей, цветы, стихи, книги, театр, многое другое. Наконец — женщин. Это последнее, что я разлюбил. Постепенно сужается круг. Я уже очерчен мелом, как гоголевский философ Хома Брут…

«Закрой глаза! — шепчет мне внутренний голос. — Иначе погибнешь». И я закрываю их. На многое. Чтобы спастись. Чтобы жить.

Сужается круг.

Сейчас у меня остается: дети, семья, жена, дом, немного тщеславия (я еще «играю в кино»), и кое-как тлеет (не горит) любовь к искусству, к актерству, к мастерству. Самое страшное — женщины — ушло из моей жизни.

Вот и все.

«Кролик», вероятно, издохнет. Едва ли он выдержит этот эксперимент. А если и выдержит, то уже не будет прежним веселым кроликом, смешившим и забавлявшим людей…

ПРИМЕЧАНИЯ

Книга построена на основе материалов личного архива Л. В. Вертинской и архива А. Н. Вертинского, хранящегося в ЦГАЛИ. Разделы «Воспоминания», «Прощание с Родиной», «Эмиграция началась» представляют собой извлечения из книги мемуаров А. Н. Вертинского «Дорогой длинною», которую он начал писать в Шанхае в 1942-1943 гг. (о годах эмиграции), а затем продолжил и практически завершил в 1956-1957 гг. (о детстве, юности, начале артистического пути). «Сероглазый король», «Мсье Дайблер», «Федор Шаляпин» и другие прозаические произведения Вертинского являются главами той же книги, переработанными Александром Николаевичем в самостоятельные рассказы и очерки.

Киносценарий «Дым без отечества» был написан Вертинским в 1957 году. В данной книге публикуется частично.

Материалами для разделов «Из интервью и бесед» послужили собираемые Александром Николаевичем в годы эмиграции статьи из газет и журналов.

Помимо разделов, знакомящих читателя с прозой Вертинского, в книге помещены отрывки из рассказов и очерков писателей, критиков, актеров, отражающие мнение современников о многогранности его таланта.

Связующей нитью всех разделов являются песни, сочинению которых Александр Вертинский посвятил всю свою жизнь. При подготовке песен к публикации их нотная запись была выполнена на основе грамзаписей авторского исполнения с использованием прижизненных нотных публикаций.

КАТАЛОГ ПЕСЕН А. Н. ВЕРТИНСКОГО

«Ах, вчера умерла моя девочка бедная...»(Аллилуйя) — 1916-17.
«Ах, где же Вы, мой маленький креольчик...» (Маленький креольчик) — 1916.
«Ах, сегодня весна Боттичелли...» (Испано-Суиза) — 1928.
«Ах, солнечным, солнечным маем...» (Минуточка) — 1915.
«Буйный ветер играет с терновником...» (Буйный ветер). Стихи А. Блока.
«Бурлит Сент-Антуан, шумит Пале-Рояль...» (14-е июля). Стихи М. Волошина. 1939.
«Была ты ведь ярче, нежней и прелестней...» (Тебе единственной). Стихи А. Блока. 1940.
«В бананово-лимонном Сингапуре, в бури...» (Танго «Магнолия») — 1931.
«В вечерних ресторанах...» (Желтый ангел) — 1934.
«В голубой далекой спаленке...» (В голубой далекой спаленке). Стихи А. Блока. 1917.
«В деревянном, домотканом городке...» (В городке). Стихи К. Симонова. 1943.
«В лесу над рекой жила фея...» (Фея). Стихи М. Горького. 1942.
«В нашу комнату Вы часто приходили...» (Пес Дуглас) — 1917.
«В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком...» (Бал господен) — 1917.
«В ресторане было от электричества рыжо...» (Сумасшедший маэстро). Стихи В. Маяковского. 1940.
«В те дни, когда роились грезы...» (Классические розы). Стихи И. Северянина. 1932.
«В том краю, где желтая крапива...» (В том краю). Стихи С. Есенина. 1940.
«В этой комнате проснемся мы с тобой...» (В нашей комнате). Стихи В. Рождественского.
«Вас не трудно полюбить...» (Марлен) — 1935.
«Ваш любовник скрипач, он седой и горбатый...» (Концерт Сарасате) — 1927.

«Увы, на жизни склоне...» (Джонни). Стихи В. Инбер.
«У меня завелись ангелята...» (Доченьки) — 1945.
«Хрупкая игуменья в полутемной нише...» (Игуменья). Стихи неизвестного автора. 1936.
«Что Вы плачете здесь, одинокая, бедная деточка...» (Кокаинетка) — 1916.
«Что же мы себя мучаем...» (Личная песенка) — 1935.
«Это бред. Это сон. Это снится...» (Дансинг-гёрл) — 1937.
«Это все, что от Вас осталось...» (Все, что осталось) — 1918.
«Это гибкое, страстное тело растоптала ночами толпа...» (Голова мадам Сент Ламбаль). Стихи М. Волошина. 1942.
«Юность мира! В траншеях, на вахтах морей...» (Юность мира). Стихи П. Антокольского. 1942.
«Я безумно боюсь золотистого плена...» (Пани Ирена) — 1930.
«Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом...» (Джимми-пират) — 1935.
«Я знаю этих маленьких актрис...» (Маленькие актрисы) — 1945.
«Я люблю Вас, моя сероглазочка...» (Сероглазочка) — 1915.
«Я — маленькая балерина...» (Маленькая балерина). Стихи Н. Грушко и А. Вертинского. 1938.
«Я не знаю, зачем и кому это нужно...» (То, что я должен сказать) — 1917.
«Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы...» (Злые духи) — 1925.
«Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка...» (Попугай Флобер) — 1916.
«Я прячу письма от знакомых женщин...» (Шкатулка). Стихи В. Инбер. 1945.
«Я сегодня смеюсь над собой...» — 1915.
«Я так хочу, чтоб ты была со мною...» (О, жизнь моя!). Старинный романс.
«Я увидел Вас в летнем тире...» (Оловянное сердце) — 1928.

СОДЕРЖАНИЕ

Вертинский А.

В 31 За кулисами: Сб./ Сост. и вступит. статья Ю. Томашевского. — М.: Советский фонд культуры, 1991. — 304 с. (Б-ка авторской песни «Гитара и слово». Большая серия).

ISBN 5-853-02052-8

А. Н. Вертинскому (1889-1957) заслуженно принадлежит приоритет в жанре авторской песни. Он начал сочинять и исполнять свои произведения еще в начале века, задолго до современных бардов. Время показало, что его искусство не стареет, что его песенная поэзия, выражающая многообразие человеческих чувств, по-прежнему затрагивает сердца и души, по-прежнему привлекает к себе внимание.

Впервые песни А. Вертинского даны в единой композиции с его художественной прозой, интервью корреспондентам газет, письмами к жене Л. В. Вертинской, а также воспоминаниями о поэте, композиторе и артисте К. Паустовского, А. Гладкова, Н. Сац, Ю. Олеши и др. современников. В книге содержится более 60 документальных фотографий Вертинского разных лет.

Рассчитана на массового читателя.

ББК 8536

II

Нотное издание

Вертинский Александр Николаевич

За кулисами

Редактор Н. Беленькая
Музыкальный редактор С. Мага
Технический редактор Л. Беликов
Корректор Г. Егорова

Сдано в набор 22.05.90. Подписано к печати 20.07.90.
Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Печ. л. 19. Усл. кр.-отт. 57,
Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 105 000 экз. Заказ № 4693.
Цена 10 р.

Советский фонд культуры. 121019, Москва, Гоголевский б-р, 6.
Издание Центра авторской песни при Советском фонде культуры, Московского городского центрального туристского клуба и Малого предприятия «Останкино»

Отпечатано в ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР.
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Часть средств, полученных от реализации этой книги, пойдет на создание Всесоюзного центра авторской песни при Советском фонде культуры.

Киев — Родина нежная,
Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
~~Радость моя безбрежная,~~ —
Наконец, ты вернулась мне!

Я ~~целую~~ готов целовать твои улицы,
Прикасаться к твоим площадям,
Я уже постарел и ссутулился,
Потерял уже счет годам —

А твои каштаны ~~могучие~~ дремучие,
Паникадила Весны —
Все цветут, ~~и цветут~~ как и прежде могучие
~~[illegible] весной~~ Видят детские ~~[illegible]~~
И ~~зеленые видят~~ сны.

Я иду по ~~тебе~~ родному городу,
Как по кладбищу юных дней —
Каждый камень я помню смолоду,
Каждый куст — вырастал при мне.

Здесь когда ~~продавали~~ торговали мороженое
А ~~нынче~~ была канава!
Понимаешь мой Господи Боже мой
Догорают мои свечи!..

Вертинский



10 р.

Записано 20 Марта 1911 г.

ПЕЧАЛЬНЫЯ ПѢСЕНКИ А. Н. ВЕРТИНСКАГО.

1. Минуточка . . . . . Цѣна 1 р. 25 к.
2. Маленькій креольчикъ . . . . . " — " 90 "
3. Пѣсенка о трехъ пажахъ . . . . . " — " 90 "
4. Лиловый негръ . . . . . " — " 90 "
5. Колыбельная пѣсня . . . . . " — " 90 "
6. Jamais (Жамэ) Попугай флоберъ . . . . . " — " 90 "
7. Въ голубой далекой спаленкѣ . . . . . " 1 " 25 "
8. Кокаинетка . . . . . " 1 " 25 "
9. Оловянное сердце . . . . . Цѣна 1 р. 25 к.
10. Ваши пальцы пахнутъ ладаномъ . . . . . " — " 90 "
11. Балъ Господень . . . . . " 1 " 25 "
12. Я сегодня смѣюсь надъ собой . . . . . " 1 " 25 "
13. Безноженька . . . . . " 1 " 25 "
14. Песъ Дугласъ . . . . . " 1 " 25 "
15. То, что я долженъ сказать . . . . . " — " —

Кокаинетка.

Собственность издателя
„ПРОГРЕССИВНЫЯ НОВОСТИ"
Б. Л. АНДРЕЕВСКАГО.

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

ЗА КУЛИСАМИ




ГИТАРА И СЛОВО
А. ВЕРТИНСКИЙ